

СИБИРСКИЕ ОГНИ



**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей Российской Федерации,
Администрация Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Н.М. АХПАШЕВА
Б.Л. АЮШЕЕВ
А.Г. БАЙБОРОДИН
Ц.-Х. БАЛДОРЖИЕВ
Б.Я. БЕДЮРОВ
В.А. БЕРЯЗЕВ
Б.В. БУРМИСТРОВ
С.В. ВТОРУШИН
В.В. ДВОРЦОВ
Б.С. ДУГАРОВ
А.И. ИВАНТЕР
В.Н. КАЗАКОВ
Б.Н. КЛИМЫЧЕВ
Н.В. КОРНИЕНКО (член-корр. РАН)
В.М. ЛОМОВ
С.Г. МИХАЙЛОВ
А.М. РОДИОНОВ
Э.И. РУСАКОВ
Т.Г. ЧЕТВЕРИКОВА
А.Б. ШАЛИН
В.Н. ЯРАНЦЕВ

Главный редактор: В.А. БЕРЯЗЕВ

3 март 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Роман ШМАРАКОВ. Чужой сад. Рассказы.	3
Ким БАЛКОВ. Балалайка. Рассказ.	38
Денис ТИХИЙ. Умляуты. Рассказы.	56
Андрей ЦУНСКИЙ. Горячая вода. Главы из повести.	77
Анатолий КИРИЛИН. Нулевой километр. Маленькая повесть.	111
Илья КАБАНОВ. Дорогие россияне. Миниатюры.	140

ПОЭЗИЯ

Игорь ЦАРЬВ. Лихоборы. Стихи.	33
Владимир ШЕМШУЧЕНКО. На вселенском пути каравана. Стихи.	51
«На цветок медоносный летит пчела...» Ольга ШИЛОВА, Ольга АНИКИНА, Мария ДУБИКОВСКАЯ. Стихи.	69

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил ЩУКИН. «Белый фартук, белый бант...» Судьба гимназии и гимназисток.	143
---	-----

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА. Вознести сына человеческого: прощальная повесть Н.С. Лескова «Заячий ремиз».	160
Владимир БЕРЯЗЕВ. Языки стихающего шторма.	167
Станислав МИНАКОВ. Ярослав Смеляков: «Чугунный голос, нежный голос мой»	171

Книжная полка

Владимир ЯРАНЦЕВ. Хорошее дополнение.	179
Ольга ГРИГОРЬЕВА. Блок-пост Александра Лейфера.	184
Людмила АГЕЕВА. Волнует и объемлет.	186

О книгах 188

Авторы номера 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Главный редактор, руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни»» В.А. Берязев.

ЧУЖОЙ САД

Р а с с к а з ы

ЧУЖОЙ САД

Мой дядя звал меня к себе. На его первое письмо я ответил молчанием, частью развлеченный делами, частью настороженный той пылкостью новизны, с какою в нем выражались родственные чувства. Надеясь, что личные увещания будут сильнее письменных представлений, он отправил новое письмо со своим соседом по уезду, который выгодно то ли продавал, то ли покупал поташ в Архангельске и на которого мой дядя возложил приятельское поручение меня убедить. Он отыскал мою квартиру в Шестилавочной. Это был человек в синем фраке и гороховых панталонах, с печальной задумчивостью в глазах и с осторожными движениями пухлого тела, будто все время нащупывал стул в темноте. Я видал его в детстве, когда мать возила меня к дяде, где наше знакомство ограничилось тем, что он сажал меня к себе на колени и показывал чёрта очень похоже. Он передал мне новое дядино послание. Щекотливое предубеждение насчет важности своего посольства его стесняло; увидев на ковре у меня два висящих накрест ятагана, с затертым жемчугом на рукояти и азиатскими клеймами, купленных на Апраксином торгу из побуждений, которые я готов был назвать суетными уже в те минуты, когда развешивал клинки по ковра, он спросил: «Верно, отняты у турок?» — радуясь удачному предлогу для разговора. Уверенный, что в Петербурге даже младшие помощники сенатских секретарей имеют безнаказанный случай отнимать что-нибудь у турок, он не был глуп; его ум, спокойный и ясный, всегда выгадывающий в обстоятельствах, был, однако же, настолько свободен от самодовольства, чтобы признавать в мире множество вещей, мало похожих на ему известные; среди этих вещей *на земле и небе* одною из первых был Петербург, и если счастливое отдаление, в какое русские уезды поставлены ко множеству мировых загадок, избавляло его от бесцельного раздумья, то Петербург требовал от него исповедовать смирение по одному тому, что здесь он бывал проездом. Не утверждая ничего положительно, одним-двумя вескими намеками я почти убедил его в этой смелой догадке — не из столичного тщеславия, а лишь для того, чтобы, вернувшись в уезд, он успокоил дядю донесением, что и я занимаюсь чем-то полезным: ибо я не собирался приносить в жертву родственным связям нечто более весомое, чем репутация благонамеренного молодого человека. Разговор не вязался; я твердо намеревался отделаться от его околичностей и дядиных настояний одною вежливостью, и, возможно, успел бы в этом, если бы, перемежая сельских ново-



стей жалобами, как плохо теперь идет поташ, торговец не заставил меня неосторожно заметить, сколь моему сочувствию мешает то, что я не знаю, каков поташ из себя, и не знаком с обстоятельствами, кои мешают ему хорошо ходить. Лицо гостя моего загорелось, он всплеснул мягкими руками; речь его полилась — и получаса не прошло, как я, искренне проклиная себя до седьмого колена и недоумевающий, как можно было человеку, хвлящемуся любовью к семейству Шанди, так глупо оступить, — я знал о перекалке шадрика все, что мне не было нужно о ней знать, из неиссякаемых уст человека, заклинавшего поверить, что поташ именно таков, каким он его изображает. Письмо лежало на столе, измятое и промасленное с одного краю, видимо, от неосторожного соседства со съестным снарядом, который составляют у нас дорожный пирог и жареные куры в рогожном куле; сквозь масляную бумагу просвечивало справа налево несколько слов, из коих я, занявшись этим от скуки, разобрал только одно «почитая», коим дядя думал описать мои фамильные обязанности. Нечаянно разгоряченный взгляд оратора упал на письмо, и в его лице, когда он вспомнил, для чего был послан, выразилось почти отчаяние. Эта минута все решила; я вдруг живо представил моего дядю, его холодное, обидчивое обхождение и сардонические замечания, когда бедный ходатай, возвратившись, примется рассказывать о своей неудаче; я почувствовал жалость к человеку, попавшему не в свое дело, и поспешил успокоить его, говоря, что непременно поеду к дяде, как только выхлопочу себе отпуск, и он уходил от меня совершенно утешенный — благоденствие, о котором я тотчас усомнился, стоит ли оно моей поездки.

Вот причина, ради которой я в последних числах июня оказался посреди пыльной дороги в N-ской губернии, в тесном обществе сломавшегося экипажа, заимствованного мною у одного приятеля, и кучера, извергавшего неистощимую желчь на *перегоревшую* ось и равнодушных лошадей; прибавьте к этому, что мы стояли под солнцем, поднимавшимся к полудню, среди струящихся нив с пестрыми васильками, над коими, повиснув в воздухе, безмятежно распевал жаворонок, и вы поймете, что нельзя желать положения более идиллического; укоризны, обращаемые кучером к пристяжной, которые перемежал он приглашением «ешь ее зубом», делаемым на общее лицо, придавали картине фламандский колорит. Не знаю, долго ли бы мы стояли, но вдруг по дороге, скрывавшейся среди колосьев, потянулось какое-то громыханье, все приближавшееся (мы наострили уши), оказавшееся телегой с мужиком. Я спросил его, далеко ли деревня. Он ощупал нашу ось, осмотрел лошадей, хладнокровно отнесся к возобновленному предложению есть их зубом (я поздравил себя с тем, что мои лошади не возбуждают таких желаний) и, сочтя наше дело достаточно бедственным, сказал, что в двух верстах имение Ивана Никитича К., отставного полковника; что он едет сейчас к барину и, коли угодно, покажет мне дорогу в имение, где верно не откажут в помощи. Я согласился отправиться с ним. Кучер обещал шагом довести поврежденный экипаж до усадьбы: мужик сказал ему дорогу, состоявшую в том, чтоб никуда не сворачивать, и мы двинулись, оставив кучера за поправкой шлеи. Мужик звал меня в телегу, но, как Ланселот, я не решился и пошел подле нее, намеренный нагулять аппетит, который Иван Никитич К., конечно, не откажет удовлетворить. Дорогою я думал о моем дяде, перебирая в памяти предания нашего родства.

Он служил по молодости в гусарском полку; принятое в *собрании героев* соревнование, коему не мог он не подчиниться, истощая его скудные средства, не поднимало его, однако же, в общем мнении до тех счастливцев, чья неограниченная расточительность позволяла рассчитывать на уважение товарищей. Глядя на них, он ожесточался, и в самых его пороках, казалось, общепринятых, не было простодушия, которое дает им цену в глазах опытного наблюдателя. Он не видел к себе любви и не имел силы ни внушить ее, ни пренебречь ее поисками. Случай, не дающий никому отчета в своей благосклонности, помог ему: он выгодно женился. Его жена



была купеческой дочерью, которую из стен ее кряжистого терема водили ко всенощной; в храме она увидела молодого гусара, чья бледность выразительно говорила девическому сердцу, и поклонилась ему. Это решило ее судьбу. Он узнал о ее жительстве, ее семье и состоянии. Родители польщены были блестящим сватовством. У него были совместники: он умел победить их; слухи говорили о клевете, пущенной им не без успеха, и о скандальных обстоятельствах, последовавших, когда она открылась. Эта молва не стоила бы упоминания, если бы ей не поверили слишком охотно, и между тем как родные счастливого гусара возмущались его неразборчивостью, укоряя его древнею родословной, которую обесславить он соглашался с удивительным хладнокровием, его товарищи горели негодованием, рассказывая, что родня его невесты отнеслась к его ловкости едва ли не с одобрением — обстоятельство, чрезвычайно его компрометировавшее. Он вышел из службы поспешно и как-то неудачно, торопясь укрыться в деревне. Наследственное его имение лежало расстроенное. С хорошим приданым, взятым за красивую женою, он принялся хозяйствовать, выказав настойчивость и понимание, удивительные для вчерашнего гусара. Его крестьяне скоро почуяли на себе руку жесткую и внимательную. Он везде попевал и, всем обремененный, никому не давал себя обманывать. Распорядительность его была самая неумолимая. За всем тем, чуждый мучительства, он берег своих подданных, не ища во власти иных целей, кроме экономических. Когда его дела выправились, он начал строиться: меблировал дом отлично, увешал его люстрами, уставил фарфоровой посудой — и тут же завесил люстры и кресла чехлами, а поставцы запер на ключ. Тщеславие его молодости, получив средства для своего удовлетворения, из состязательного сделалось прижимистым; он никуда не выезжал; его обычный форейтор умер, исполненный долгою днью, не передав никому своего ремесла. Соблазненные славою его успеха, соседи искали случая в нем участвовать. Его гостеприимство, однако, было таково, что люди самые покладистые раздумывали, претерпеть ли его другой раз, а невинное намерение занять денег встречало у него отказ, причем дядя научился настолько не уважать людей, что не затруднял себя мнимыми объяснениями. Соседи обижались, звали его скаредом и с бескорыстным благоговением следили, как его имение процветает. Он мог испытывать стеснение перед женою, ставшею ему средством к независимости; но так заведено, что простота побуждений, движущих людьми, сопровождается совершенной неспособностью ее заметить, и человек, могущий служить хрестоматией страстей, благословен от неба неумением в ней читать. Это можно назвать счастьем своего рода; во всяком случае, если бы таковая пронизательность давалась внезапно и насильственно, мало кто бы снес ее; скажу, что если бы небо продлевало дни моего дяди, в надежде его образумить, он ласкался бы жить вечно. Бедная женщина, обольщению молодости заплатившая унынием долгого супружества, испытала все, что можно испытать при муже придирчивом, неблагодарном, которому самодовольство не принесло благодущия; не знаю, в чем она находила утешение, но думаю, источники его были скудны. В довершение ее бедствий, их брак оказался бездетен; супруг выходил из себя всякий раз, как думал об этом, раздраженный сознанием своей невинности — ибо в девичьей что ни месяц обнаруживались беременные, которых отдавали замуж в деревню, — и у него хватало простодущия прибегать к этому доводу в попреках, коими он неумолимо осыпал жену. Мать моя, сильно нуждавшаяся, однажды решилась к нему съездить, взяв меня с собою. Я эту поездку помню смутно. Он не вовсе отказал ей, но держал себя так, что больше она не искала его помощи. Между тем время шло, жена его болела — и хотя все кругом при его нахмуренном взоре принимало боязливый вид; хотя по-прежнему ходил он беспрекословным властелином в обширном и молчаливом доме, между зеркал, частию затянутых холстиной, частию исхоженных мухами; хотя общее почтение к нему было настолько прочно, что, пренебрегая им, он мог ласкать своему тщеславию безбоязненно: его самодовольство



чем дальше, тем более было отравляемо мыслию, что дни его клонятся к старости и что случай, подаривший ему богатство, не выключит его из обыкновений естества, велящих бросать нажитое при двери гроба. Утешение, доставляемое религией, было ему недоступно; сарказм делал его суеверным, и это свойство, давшее при нем ход самым диким поверьям, доставляемым дворней, привело к тому, что он начал видеть сны из «Русского песенника» и лишился возможности отдохнуть от себя хотя бы ночью. Тогда самолюбие его распространилось на родню. Он вспомнил обо мне и послал денег при письме, в котором неумело злоупотреблял доводами родства. Я не думал ему отвечать. Неприязнь к нему я воспринял как семейное предание и держался ее тем строже, что в моем наследстве она составляла важнейшую часть. Я достаточно знал об его обыкновениях, чтобы не уважать их; из семейных историй я почерпал нравственные заключения, коими рассчитывался с ним по-родственному; его принужденная щедрость не заставила меня быть благодарным, и дядя потратил бы и деньги, и увещания бесплодно, если бы тот же самый случай, что поставил его в круге почтеннейших лиц N-ской губернии, не вынудил меня совершить туда путешествие, утешительное одним удовольствием его описывать.

Мой вожатый оказался словоохотливым; предвещаемый тихой окрестности тележным громом, подобно деятельным полководцам древности, он повествовал о своем барине чрезвычайно почтительно и с какою-то гордостью, делая даже пренебрежительные сравнения насчет близлежащих хозяев, пока мы не оказались у въездной аллеи, в конце которой виднелся господский дом. Здесь мы распрощались: мужик свернул в сторону, пустившись греметь по разбитой дороге, а я пошел вдоль чреды высоких лип. Сквозь их благоуханные верхи дымными столпами падало солнце, в котором вились прилежные пчелы, принадлежащие Ивану Никитичу К. За древесными стволами блестела вдалеке справа колокольня между пышных ив. Я подошел к дому, украшенному выбеленными известью колоннами с классическим треугольником; вышедший на ступени человек, в сюртуке, застегнутом доверху, с табачной желтизной в седых усах и холерическим румянцем сухих щек, был здешний хозяин. Я назвалса и вручил себя его гостеприимству, а он обещал, что не даст мне в этом раскаяться. Парень в зеленом нанковом кафтане, отправлявший у него должность кофешенка, тотчас отправлен был с приказанием поставить прибор для гостя; с удовольствием я узнал, что прибыл к обеду. Полковник пригласил меня войти в дом. Его обращение было простое и приветливое. В доме я ощутил приятную прохладу. В гостиной часы с бронзовыми стрелками громко совершали свой ход над длинным диваном, подле которого стоял старинный столик с бронзовой решеткой; на нем из разноцветного дерева был набран идилический вид, с гуляющими стадами и могилой пастушки. Итальянское окно смотрело в обширный сад, непроницаемый план которого манил мое воображение.

Хозяин был лицом примечательным. Я узнал, что он служил не без славы и проделал кампанию 1799 года: сражался под начальством Багратиона при Лекко, праздновал Пасху в Милане, слышал обещание Суворова *научить Жуберта* и видел смерть сего последнего. По кончине князя Итальянского счел он свое поприще совершившимся и вышел в отставку, провожаемый тщетными уговорами товарищей. С той поры он жил в деревне безвыездно. В итальянских воспоминаниях заключилось для него все, что могло быть ему драгоценно: молодость, опасности военных приключений, честолюбие еще поэтическое, гений престарелого полководца и предприимчивой нации; я заметил, что, несколько раз возвращаясь к причинам, для коих он удалился из армии, он всякий раз приводил новую: это обличало чувства, доселе свежие. Жена его уже пять лет покоилась в ограде той церкви, которую видел я, подходя к его дому; взрослые дети от него разъехались. Соседи, уважая в нем опыт и рачительность строгого хозяина, съезжались к нему, привлекаемые его славой хлебосола и пользуясь его советами; кажется, его втихомолку считали гордецом, осуж-



дая в нем то, что было лишь следствием одиночества. Я, однако, застал его в спокойном обществе. Его сестра, жившая с мужем в соседнем уезде, посылала к Ивану Никитичу гостить своих детей; его племянница, лет пятнадцати, была первое лицо, круглое и живое, которое встретил я в столовой и которому представился со всеми церемониями сельского света. Кроме нее, к обеденному столу был приглашаем учитель, бывший француз, древле осевший в этих краях, где выучил сыновей полковника, а после них — всякого возраставшего в уезде дворянина; стойко выдержавший энергические нападки «Сына Отечества», в чем ему помогло счастливое незнание русских журналов, он пользовался неизменной приветливостью своего хозяина и совершенно приноровился к своему существованию: пил наливки, ходил на охоту, удил рыбу с деревенскими мальчишками и вел жизнь столько сообразную природе, сколь это возможно в нашем климате. За столом он молчал, но слушал необыкновенно внимательно, повременно произнося звуки, которые не были схожи с французскими вследствие долгого изгнания из отчизны, но и не вполне добрались до России, задержавшись на полдороге, где-нибудь в любекской гостинице, во втором этаже. Скворец, брызгавший водою в клетке, довершал собравшееся общество. Обед, на который я угодил, составлял домашний припас, в обилии подаваемый расторопными слугами и украшенный бутылкою бордо, которому учитель отдал честь из патриотизма, а мы с полковником — из национального соревнования.

Мы разговорились. Беседа полковника была самая интересная; миланскую область, пройденную тридцать лет назад, он, по старческому свойству, помнил яснее событий прошлого года; его впечатления, поверяемые Ливием, соединяли верность очевидца с основательностью образованного человека. Зашел наконец неизбежный разговор о нынешней войне. Мой брат служил в Нижегородском полку, откуда слал то эпиграммы на сослуживцев, то реляции об их славной кончине; давно не получая ни того, ни другого, я начинал сильно об нем беспокоиться. Мои суеверные похвалы графу Паскевичу оспариваемы были полковником. Отчаянное нападение Ахмет-Бека на покоренный Ахалцык, хотя отраженное неусыпным мужеством кн. Бебутова, казалось моему хозяину непростительною виною командования; при тех мерах осмотрительности, которые были взяты при начале кампании, чтобы склонить мнение мусульман на нашу сторону, общее волнение наших единоверцев грузин на Кавказе обличало неумение выбирать сообразные положению средства, а знаменитый ответ Ширванского полка об его потерях — «еще достанет на два штурма» — был, по его словам, лучшею и нечаянною критикою на действия командующего. Не чувствуя уверенности в военном деле, я ссылался на общее мнение; полковник спрашивал, сколько невежд надобно, чтобы его составить (учитель произнес любекский звук), и уверял меня, что и людей, и издержки можно было сберечь. Тут в наши споры вмешался скворец, который, скача боком по жердочке, завел было «Ты возвратился благодатный», но перервал бодрые звуки шелканьем бича, изображаемым очень искусно, и, наскучив сим пасквилем во вкусе Руссо, с облегчением вернулся к природному посвисту. Полковник следил за его сатирическими выходками с улыбкой благосклонности.

После обеда, немного отдохнув в отведенной мне комнате, с портретами архиереев и перинами до потолка, я вышел из дому. Розы благоухали в опрятных цветниках. Я миновал их и углубился в обширный сад. Высокие вязы бросали качающуюся тень на сырой песок. Скоро я свернул на тропку, вольно вьющуюся в пышных зарослях орешника. Не заботясь о том, как выбираться из этого обширного лабиринта, над которым трудилось не одно поколение владельцев, я следовал за кривою, ветвистую дорожку, пока она не вышла на большую прогалину. Я остановился. Птицы гулко пересвистывались. Предо мною высились слоистые руины кирпичной кладки. Повилика вилась в каменной пыли, украшая ее приятными белыми цветочками. Я оказался у стрельчатого окна, из которого глядел на меня *батюшка ракетов куст*;



под окном еще виднелась стершаяся каменная надпись: «O divum domus Pium et incluta bello moenia Dardanidum», — «Это были развалины Трои». Давно не видал я подобного. Я запрыгнул вверх по кирпичам и замер, покачиваясь, на самой вершине: тяжелая сорока, неудобно мостившаяся на обгорелой печной трубе Укалегона, при моем возникновении сухо кивнула хвостом и шумно поднялась с исторического насеста. Я осторожно пошел по узкому краю. Кирпичный хрящ осыпался из-под ноги в качающиеся листья лопуха. Быстро я дошел до светлой лестницы в итальянском вкусе, которая, преградив мою однообразную дорогу, поднималась подковою к исчезнувшей террасе, где, верно, некогда троянские старцы пронизательно спрашивали Елену о греческих вождах. С вершины лестницы, у основания которой в печальной симметрии из темного кустарника поднимались две порфиновые вазы, я заглянул вглубь, ухватившись за стеной зубец. Руины вились по берегу сухого оврага; в его зеленом сумраке подымался со дна широкий папоротник; остатки дозорной башни вырисовывались по склону далее, мирно осененные старою яблоней, на чьих отмерших, тронутых зеленым лишаем ветвях покачивалось покинутое и разрытое ветром гнездо горлиц. Я знал, что от меня требуется, и старался сохранять выражение, приличное мыслям о гибели царств. Протянув руку в сторону яблони, сонно лелеявшей на себе печальную эмблему разрушенной семьи, я громко сказал:

Я вем, придет час, когда падет Пергам,
Падут и граждане, и с чадами Приам.

Моя роль была выполнена со всем прилежанием, а больше ждать от меня было нечего; с потоком кирпичного крошева я осыпался вниз, в поджидавшую меня поросль крепкой крапивы, чья негостеприимная сень возросла на обильной крови поборников и противников Илиона, и двинулся дальше, очень довольный увиденным и полагая, что дремучий лабиринт моего хозяина готовит мне еще не одно поучительное зрелище.

Рябиновая аллея привела меня к невысокому гроту. Я заглянул в него. Обычная философическая шутка таких заведений, зеркало, здесь отсутствовало. Наклоня голову, я вошел под искусственный свод и обвел сумрак рукою. Зубчатые раковины выступали из влажных стен. Осторожно двинулся я вглубь. Где-то вода неслась со сладким лепетом. Пробился свет, мерцая на стене; я споткнулся и стал. Подле меня смутно обрисовывался сидевший на земле речной бог. Бронзовый камыш увязывал его большую голову; борода струистыми завитками лилась по груди. Его ритон, небрежно наклоненный десницею, ронял масляно блестящую воду в выбегающий из грота ручеек. Опершись на отставленную левую руку, которая преградила мне дорогу, бог недвижно глядел в светлую зелень аллеи, и в темноте я не решился угадать, какое чувство запечатлелось на его бронзовых чертах. Поглядев вслед за ним из сумерек вертепа, где он властвовал неисходно, я заметил белую женскую фигуру в конце аллеи. Мы видели склоненную голову и кудри, развившиеся по плечам; по ней бежала вспыхивающая тень от ветра, гулявшего на вершинах; кажется, улыбка лежала на ее губах. Заросли смородины не давали видеть ее всю. Я вышел из грота, отряхнулся и вдоль тонкого ручейка пошел в ее сторону. На полдороге ручеек сбивался и уходил в придорожные поросли. Я подошел к ней один. Это была, на невысоком основании, статуя Прокриды. Она полулежала на боку. Левая рука ее обхватывала стрелу, глубоко засевшую под грудь. Речному божеству суждено было вечно заблуждаться на ее счет. Полуулыбка ее приподнявшихся уст была выражением не кокетства, но последней судороги. Ноги вытянулись; ель, растущая у нее за спиною, казалась угрюмым вестником развязки, Тераменом этой драмы среди легкомысленного хора рябин. Что-то, вспугнутое мною, побежало прочь от статуи сквозь высокие колосья перекрестно качающейся травы. Я стоял подле изваяния, осыпанного порыжелой хвоей, думая о том, какое значение хотел придать художник сему распо-



ложению двух мифологических фигур в пустынной чаще. От изваяния Прокриды в перспективе недлинной аллеи открывался правильный сад из больших лип, высаженных по шнуру. Мне не хотелось навещать этот памятник старинной заносчивости, сгонявшей деревья на вахтпарад; я отыскал боковую тропинку, назначенную для задумчивых прогулок, и отдал ей должное, иногда присаживаясь на скамейке подле смородинного куста и глядя на широкую гладь пруда, мерцавшего между дерев, и на зимородка, качавшегося на низкой ветке подле почетной гробницы a la Ermenonville. Наконец голод дал мне понять, что я гуляю очень давно, а чтобы не смущать моей разборчивости, он притворился чувством приличия, сказавшим мне, что не следует так явно искать уединения в гостях. Отыскав солнце среди переплетшихся ветвей, я сделал попытку повернуть к дому, обошел некоторые места дважды, отмечая в них новые красоты, и наконец выбрался на широкую аллею, по которой доносился уже аромат резеды из партера. Поперек нее шла другая; на их перекрестке под ветвями стояла недвижная фигура. Я шагнул к ней с изумлением. Это была высокая, с двумя лицами, герма, выделявшаяся из всего встреченного мною в парке очевидной древностью. Жирный мох тянулся вверх по ее глубоким трещинам. Лицо, ко мне обращенное, было лицом Сократа; скульптор прекрасно передал его известные черты. Великий мудрец глядел в ту сторону, куда шла парадная аллея и откуда ветерок доносил звонкий смех племянницы и голос полковника, занятого хозяйственными распоряжениями. Я хотел обойти герму кругом, но к каменному столпу подступала дикая заросль разросшейся ежевики, из белых кистей которой я выгнал вереницу раздосадованных пчел. Я не знаю в русских садах ничего более колючего, чем ежевика; если мне скажут, что это свидетельствует о бедности моего опыта, я во всяком случае предпочту эту бедность познанию иных, более колючих вещей. Разводя цветущие стебли руками, как боязливый купальщик, я обогнул герму и обернулся ко второму ее лицу. Оно было ссечено. Время, ли, небрежение, исступление религиозной пылости или равнодушное могущество случая скололи его верхнюю часть так, что вместо лба, глаз и носа на куче ежевики, взволнованные моим вторжением, смотрел слепой камень с острыми краями; но можно было понять, что тот же резец исполнил здесь ту же работу и что в эту сторону также некогда взирали иронические черты, давшие Алквиаду повод к сравнению с маской Силена, за которой прячутся божественные лики. Не помню, чтобы я встречал что-то похожее. С волнением думал я о странном человеке, запечатленном на колонне, о глубоком замысле ваятеля, никого не нашедшего ему в пару, как благочестивый Данте, когда он решался рифмовать имя Христово, — наконец, о темном происшествии, из которого герма вышла навек изуродованной. Я надеялся, что это огорчительное событие произошло еще на какой-нибудь мантуанской вилле времен Цезарей или Сфорца, но не после того, как герма досталась полковнику, — иначе его гнев противу того, по чьему недосмотру старинная драгоценность впала в такое печальное состояние, был бы слишком тяжел. Я подумал о досаде, с какою хозяин, рассчитывавший украсить сад этой жемужиной к восхищению знатоков, вынужден был притулить ее, как нищего, в непосещаемом углу и обернуть обезображенным лицом в глухие заросли; подумал о том, как одинокое жительство в обществе своего характера, всегда неутешительном, омрачается горделивыми воспоминаниями молодости и славы, как приближающаяся немощь старости вынуждает его к печальным сравнениям — и устыдился своих догадок: упражнять пронизательность на счет моего радушного хозяина показалось мне неблагодарностью. Я вздохнул и начал выбиратья сквозь кусты.

Племянница, ловившая в цветнике бабочек из желания убедиться, что она красивее, довела мне, что я прогулял чай (я просил прощения) и что до ужина мне нечего ждать. Мы разговорились; она оказалась очень милою, без всякого жеманства. Она немного скучала; в первый день по приезде с восторгом обежала знакомые места — назавтра они казались ей глупыми; попечение полковника было ей



слишком мелочным, хотя вызываемое глубокой привязанностью; но она ожидала приезда матери и своего младшего брата, думая с ними найти развлечение. Я занял ее рассказами из столичной жизни, беззаботно привирая на каждом шагу. Мы расстались совершенными друзьями; она обещала писать мне письма, а я обещал их читать; мы скрепили это взаимное обязательство клятвой. Появился полковник, где-то неподалеку выговаривавший старосте. Я рассыпался перед ним в искренних похвалах его саду. Самый умный человек находит что-нибудь в лести о себе; чтобы довершить впечатление, он провел меня в библиотеку. Ее тихое окно смотрело в качающийся сад. Смею сказать, его книжное собрание нашло во мне благодарного посетителя. С изумлением следил я на длинных полках деятельность упорного и неутомимого вкуса, в глубине России собирающего лучшие плоды европейской учености и гения. На столе лежал развернутый недавний номер «Московского Телеграфа». Журналист называл лорда Байрона *солнцем всемирной поэзии, протекающим по великой идее человечества*, и судил о гении нынешних поэтов по их тяготению к поэзии байронической. На полях при этой фразе твердый карандаш полковника оставил саркастическое примечание. Я улыбнулся его выходке. До ужина оставался я в библиотеке, перелистывая то одну, то другую книгу и везде находя пометы, оставленные полковником, к которому все более проникался уважением.

За ужином я навел разговор на состояние нашей литературы. Полковник сказал, что старая ее чопорность нравилась ему больше нынешних *sans-facon* и что милее следить за тем, что кажется смешно, нежели за тем, что кажется гнусно, — мнение (оговорился он), конечно, порожденное стариковскими пристрастиями. О журналах наших отзывался он с большою резкостью, говоря о бесстыдстве триумфов, какие устраиваются для лиц, *лишенных чести и имени*, с тех пор как тем посчастливилось сделаться лицами *поэтическими* — суди Бог Байрону за это одолжение нашей словесности — и об упоении производить *всемирную славу*, не имеющую надежды пережить усилия пера, коим она обязана своим бытием. Мне это напомнило одну мысль Ларошфуко о простых побуждениях, на которых, может быть, основываются исторические дела, — именно, о ревности, вызвавшей войну Августа с Антонием. Я сказал об этом полковнику; слыша его резкие апофегмы, я думал, что он должен любить меланхолического автора «*Riflexions*» и что сие напоминание не будет ему неприятно. Полковник пожал плечами.

— Мы так приучены нашими преданиями, нашим воспитанием к его словарю, что он составляет одежду нашей мысли, без которой ее в обществе не признают, — сказал он. — Грешно быть неблагодарным: я люблю Ларошфуко; а все же думаю, что он был бы лучше, если бы меньше занимался другими и имел мужество и терпение подметить в себе что-нибудь кроме среднего роста и волос вьющихся.

Это показалось мне несправедливым; я принялся защищать бедного герцога, говоря о его долгом одиночестве, лучшем судье человеческой души, о взыскательности его ума, отнюдь не любящего ни упиваться своей горечью, ни делать из нее ремесло. Полковник отвечал, что тот спешит делать заключения из обстоятельств слишком частных; что мысль моралиста сохраняет в нем всю пристрастность человека партии и подвержена упрекам в мелочной горячности. Лица эпохи Фронды и кардинала Мазарини принуждены им заново разыгрывать свою историю, небрежно переодетые в аллегорическое платье, и мы с разочарованием узнаем за прозрачную ткань избранных наблюдений то усы герцога Бофора, то румяна г-жи де Шеврез. Его вынужденная праздность, делающая невыносимым воспоминание о допущенных ошибках, и тайное ожесточение, питаемое противу неверных союзников и малодушных повелителей, не позволяют ему довериться, когда он принимает вид человека, ставшего над страстями, в то время как он лишь иногда поворачивается к ним спиною. Разгорячение почти заставляло моего хозяина нарушать светскую должность уступчивого собеседника.



— Его распоряжения и описания, — сказал он, — обличают военного человека, но склонность заниматься пустяками, подобными битве за хлебный обоз, портит его записки. Впрочем, в судьбе его, как и его сотоварищей, видно, что увлечение интригами не оставляло им времени на брезгливость. Несчастливая война за Бордо, начатая ради утраченных дворянами вольностей, перенесла в провинцию все те бедствия, коим с горькою усмешкою посвящали они в праздности страницы важных размышлений: прихотливая ярость растревоженного народа, боязливое вольнодумство Парламента, неблагоприятные переговоры с Испанией, коих сами виновники тяготились мыслию о государственной измене, — стоило ли для этого покидать Париж? Замысел связать равнодушных горожан казнью несчастного Канюля обличает изощренность макиавеллическую; самая мысль явиться перед публикой и в плаще философа, и в тоге политика доказывает неразборчивость в желании нравиться, а неумение помешать им компрометировать друг друга свидетельствует о чрезмерной надежде либо на свою удачливость, либо на читательское простодушие.

Тут уже я взмолился не приписывать совести Ларошфуко то, что принадлежало в его поступках более его веку, нежели его склонностям, или хотя бы не обвинять его разом в вещах, противоречащих друг другу. Полковник заметил, что порыв задавить Кoadьютора обличает в герцоге бешеную гневливость, после которой поди верь его бесстрастию моралиста.

— И я, — прибавил он, — больше доверяю жалобам жертвы, уверяющей, что этот позорный замысел не был поддержан ее устыдившимися врагами, нежели запальчивым оправданиям убийцы, не имеющего себе других защитников. Человеку, столько заботливому о своей репутации в потомстве, стоило чаще напоминать себе истину, им самим выведенную: «Il est plus facile de paraître digne des emplois qu'on n'a pas que de seux que l'on exerce».

— Это напоминает известное замечание Тацита о Гальбе: «Сапах imperii nisi imperasset», — подхватил я. — И, думаю, вы обращали внимание...

Но тут племянница разразилась бурными попреками, из которых следовало, что ей не доводилось есть более скучно с тех пор, как ее за обедом заставляли говорить по-немецки, и что если перебирать все то, на что в этом доме обращали внимание, не хватит жизни, о которой ее все время учат, что она слишком коротка. С комическим усердием унимал полковник избалованного ребенка. Учитель глядел на все с терпеливостью своего ремесла; я наслаждался.

После ужина мы вышли из дому. Вечер был замечательный. В дремлющем воздухе издали долетали кличи пастухов, привычно ругавших привычное стадо. Задумчивый месяц плыл сквозь меркнущие клубы облаков. От реки тянуло туманом. Роскошный аромат цветников мешался с запахами кухни, откуда слышался оживленный голос моего кучера, быстро сдружившегося со здешнею дворней: он повествовал о петербургской жизни, приписывая себе слишком много заслуг в ее течении. Какие-то птицы пели в саду: я представлял, как они перепархивают во тьме над белеющей Прокридой. Первая летучая мышь начертала свой готический полет над тихою листвою. Мне было грустно. Полковник не препятствовал мне удалиться в библиотеку. Снова посетил я собрание друзей, бывшее единственной отрадою для умного хозяина в его сельском одиночестве. Огонь свечи падал то на тома римских историков, то на сочинения итальянских поэтов. Среди этого избранного богатства не сразу заметил я старинный том Ларошфуко, переплетенный вместе с мемуарами Лашатра. Наш разговор за ужином пришел мне на память; я бережно снял книгу с полки. Знакомые мысли пробежали перед глазами, не столь волнуя мою душу, как бывало; я слишком свыкся с ним, чтобы испытывать что-либо более сильное, нежели память прежних увлечений. Вдруг рассеянный бег мой прервался. На широких полях я увидел сделанное пером примечание: рука, чьи шуточки над «Телеграфом» читал я давеча, приписала имя одной дамы, известное среди здешнего дворянства. Подле этого имени Ларошфуко говорил об *удовольствии говорить о себе* (l'extrême



plaisir), по силе которого должно подозревать, что оно не разделяется нашими собеседниками. Г-жа ***, которую при этом случае вспомнил полковник, прославилась страстью давать фейерверки, на которые изводила она большую долю семейных доходов и о которых препиралась с супругом, решавшимся возвысить голос осторожности, если очередное празднование русской славы приходилось на особенную засуху. Но и угроза доживать век на пожарище мало препятствовала ее усердию: пышно загорались картуши, затейливые фигуры колесили в ночных облаках, Россия, по печалях паки обрадованная, поднималась на Олимп рассказать о новом торжестве своего оружия, наполняя куртины и аллеи острыми пороховыми куреньями, и между тем как растревоженные поселяне, задрав головы к горящему небу, молили его обратить сии знаменья на добро, разборчивые знатоки, загодя приглашаемые со всей губернии в дом ***, делали замечания на аллегорическое зрелище. Кавелин, знакомый её по уезду, рассказал о ней государю. На каком-то балу тот сказал ей: «On dit, Madame, que vous donnez de grandes fêtes». — «Oh, pas de grandes choses, Sire, — отвечала она: — j'ai entendu parler que c'est chez vous qu'on invente tant d'amusements a Noll». Это сказано было года два назад. Муж рассудил за благо увезти ее обратно в деревню.

Неожиданное применение, сделанное полковником, показалось мне метким и смешным, хотя не без желчи. Я начал смотреть внимательней — и не ошибся: имена, чуждые французскому уху, являлись на полях то здесь, то там, выведенные рукою полковника, всегда ровной, всегда неумолимою. Среди сего подневольного хоровода губернских лиц, обвиняемых кто в жеманстве, кто в глупости, кто в целомудрии от неумения его лишиться, нашел я и моего старинного знакомого, изобразителя чертей, чей поташный промысел заставил меня покинуть Петербург и привел в эту библиотеку: полковник приписал его имя при изречении, гласящем, что наше благоразумие и наше имущество равно обязаны случаю; это показалось мне слишком сурово, и я вступился бы за своего гостя в Шестилавочной, если бы спорить на полях казалось мне уместным. С каждою страницей сего язвительного синодика, куда, в одинокой тишине библиотеки, полковник вписывал примечания на ум и нравственность своей долговременной обители, находил я новые имена, из которых иные были мне знакомы; я не уставал дивиться: при том радушии, с каким хозяин мой предлагал любому охотнику в распоряжение свою библиотеку, лишь небольшая любовь его сограждан к чтению могла быть причиною, что он доселе сохранял добрые отношения со всей губернией.

Тут мелькнула новая пометка: я ждал встретить нового уездного честолюбца или скрягу — и с удивлением увидел, что ошибся. Ларошфуко говорил о том, что, предпочитая наших друзей нам самим, мы только следуем своему вкусу и желанию — но сие предпочтение делает дружбу подлинною и совершенною (мысль, над которою я много тревожился, когда еще имел вкус испытывать свои побуждения). Полковник спрашивал, в сем самолюбии дружества должно ли ему видеть свой портрет. Тут, увлекаемый новым любопытством, я взялся смотреть все сызнова, но нигде более не обнаружил помет, касающихся до личности их автора. Немного задумался я над странным занятием моего хозяина, а потом зевнул и пошел спать.

Поутру я проснулся поздно, разнежась на сельских перинах. Солнце было высоко, и птицы, заливаемые янтарным светом, пели свои беспечные гимны. Меня звали к завтраку. После него я простился с радушным хозяином, извиняясь неотложностию своих дел; полковник меня не удерживал. Назавтра надеялся я быть у дяди. С сожалением я покидал дом столь гостеприимный. Нам собрали еды в дорогу; кучер, придерживая что-то под полою, угнезвился на починенном экипаже, приглашительно щелкнул бичом, и мы покатались между липами, стройная чреда которых напомнила мне, что среди забот сегодняшнего утра я все же успел с бокалом бордо уйти в садовые аллеи и, вытерпев ожидаемые неудобства, совершить почтительное возлиянье пред безликим столпом, глядящим в дремучую зыбь ежевичной поросли.

КАМЕРИСТКА КИСТИ КЛОТАРА

Юлии Шартовой

ЧУЖОЙ САД



РОМАН ШМАРАКОВ

В ту пору я не был известен и жил в той части города, куда теперь не захожу, чтобы не возмущать ни воспоминаний своих, ни тщеславия. Загнанный бедностью на чердак, где среди скудной обстановки я пытался уместить мольберт, и обреченный бояться квартирной хозяйки, которая являлась с попреками и угрозами или насылала квартального, приходившего, бывало, четырежды на дню, я не видел оснований надеяться на будущее, даже если под надеждою понимать самое смелое пренебрежение насущными условиями, — и давно задумался бы о добровольной смерти, если бы влияньем моей матери во времена благословенного детства мне не был привит неискоренимый страх к этому роду преступлений, как слишком бесповоротному. Некогда увлекавшийся речами почтенного моего учителя о самоотвержении, необходимом художнику, я ныне должен был признаться, что ни одного из соблазнов столичной жизни не выдержал, хотя они и не были мне по карману. Идя по блестящим улицам мимо правительственных зданий, я глядел вокруг себя с таким озлобленьем, что сам себе дивился; не уважая людей, которых толпы кипели на мостах и обтекали памятники, я никогда не мог довольно забытья, чтоб не представлять в своем сердце их обеспеченного существования. Успокоившись, я делал себе внушения, которые оставались бесплодными. Чувство мое огрубело, вращаясь в скудном кругу двух-трех переживаний самых безотрадных, возбуждаемых худшим из надмений, мелочным надмением образованного нищего. Истощный дух жареной рыбы, поднимавшийся из хозяйской квартиры, казался единственным приношеньем небу от нашего дома; внезапное чудо оставалось единственным, на что мне можно было надеяться, но я его слишком не заслуживал.

Однажды хозяйка явилась ко мне решительней обычного. Я просил ее обождать с деньгами до понедельника. Она отвечала, что довольно я морочил ей голову и что впредь она заречется и других честных людей остережет иметь дело с такими как я, а что до денег, то если их завтра к полудню не будет у нее в руках, вот в этих (она их, поднявши к самому потолку, показала, будто у нее в запасе оставлены были еще другие, в которые я мог бы ошибкою вложить деньги), этих руках, то она, слава богу, найдет кого просить, чтоб меня с вещами выкинули на улицу и предали окончательному правосудию. Позади нее в дверях показывалось потертое платье ее мужа; распорядительностью супруги лишенный средств посещать публичные увеселения, он удовлетворял своей страсти к аналогическим балетам, присутствуя при подобных сценах. Мне казаться начинало, что ее апелляции к окончательному правосудию на этот раз меня погубят, а меж тем я не имел средств, кроме унижительных заискиваний, уже не ласкавших ее привычного слуха. Тут новое лицо явилось между нами. С лестницы послышалось осторожное движенье человека, выбирающего, как шагнуть, и позади вдруг умолкшей хозяйки, пригнувшись у притолки, встала фигура ливрейного лакея, совершенно отгеснившая в тень верного супруга. Он спросил, может ли видеть живописца такого-то. В том театральном тоне, из которого, разгорячась, никак не мог выйти, я отвечал ему, что полагаю, никто более из присутствующих не станет притязать на это имя, с коим ничего, кроме неудобств, не связано. С невозмутимостию он продолжал, что граф *** желал бы меня видеть немедленно, если у меня нет неотложных дел; экипаж, им присланный, стоит у ворот. Признаюсь, в эту минуту я готов был написать его портрет в рост, с хозяйкою в облике раздраженной Мельпомены обок. Я отвечал, что у меня нет спешных дел, и мы всем ворохом скатились вниз по лестнице в расплесканном супе, вдоль которой высовывались из дверей растревоженные любопытством головки, иные в лысынях, иные в папильотках.

Графский экипаж в самом деле ждал у ворот. По дороге вспоминал я то немногое, что было мне известно о графе ***. Наследник богатого состояния и имени



предков, счастливо воевавших в истекшем столетии под началом Ласси, Миниха и Румянцева, несколько лет назад, путешествуя с молодой женой, он совершил за границу одну-две поразительные выходки, которые, разгласившись, могли дать повод к политическим применениям. В обстоятельствах, когда наши польские дела и несчастные следствия распространившейся холеры обращали на нас неблагоприятное внимание европейских газет и кабинетов, вызвать досаду занятого правительства значило пренебрегать своей судьбой. Испуганные родственники, которые стояли к правительству слишком близко, чтобы не уважать легчайших перемен на его лице, письменно умоляли графа вернуться, и он проявил достаточно благоразумия, последовав их советам; однако в Венеции, откуда он собирался в обратный путь, неожиданно скончалась его жена — дело, которое, кажется, осталось неразъясненным, после того как он без дальнейших следствий вернулся на родину. Это было в те поры, когда мне был досуг следить за сплетнями, получавшимися из Европы, где на вранье пошлости легче; потом я ничего не слышал о графе — отчасти потому что вообще немного стал слышать, отчасти потому что его жизнь и служба не давали поводов к особливому вниманию. Видеть его никогда мне не доводилось, и оказавшиеся у него причины искать меня сильно меня занимали; но от слуги, меня сопровождавшего, ничего нельзя было добиться — он хранил тайну графских намерений как добросовестный рассказчик, ни словом не выдающий будущей развязки.

Граф ожидал в своем кабинете. Не стану описывать ни подъезда, ни внутренних видов его дома, думая, что при наилучших побуждениях не смогу удовлетворить охотников до таких описаний; однако способность жить в покоях, обитых фиолетовым, была для меня удивительной. Граф был мужчиной лет тридцати пяти, очень красивым; наследственное высокомерие смягчалось в нем странным простодушием рассеянности, а беспокойство в движениях обличало человека, глубоко озабоченного. Я ему назвался. Он запер кабинет и отдернул бархатное покрывало с картины, стоявшей в углу, спросив, знакома ли мне она. Я глянул на нее с удивлением. Это была известная Kammermädchen Клотара. Граф, так же пристально глядя на меня, как я на молодую камеристку, стоящую в профиль ко мне, с серебряною посудиною в обнаженных до середины локтя руках, спросил, знакома ли мне эта работа.

— Да, — отвечал я ему с сомнением, — знакома; это, сколько могу понять, копия, мною сделанная, лет семь тому. Нескоро привелось свидеться.

Тут только я заметил, что ни единой картины не попало мне на глаза ни в самом кабинете, ни по пути к нему. В иных обстоятельствах это соображение мне бы польстило.

— Отчего вы сомневаетесь? — спросил он, глаз с меня не сводя.

— Свою работу узнать нетрудно, — сказал я, обращаясь наконец лицом к нему, — но, кажется, кто-то после меня приложил к ней руку; есть перемены против оригинала.

— Что именно изменено? — подхватил он.

— Боюсь, не упущу ли чего... картины Клотаровой я с той поры не видал, как вернулся из-за границы... но художник изобразил ее в чепце: тут, однако, чепец записан... Клотар славен был умением писать белокурые женские головки, коим открытое окно, помещаемое на заднем плане, придавало нечто вроде тонкого, воздушного сияния; Грез добивался узнать его секреты, и сам он, смеясь, говорил, что нашел бы себя в изображении святых, если бы они вошли в парижскую моду; но в сем случае он не мог не ограничить своей способности наблюдениями приличия — должно быть, какой-то живописец романтический решил сделать ему одолжение, сняв у ней чепец, и, надо сказать, не зря — кудри ее выписаны отменно, точно сам старый мастер воскрес ради этой проказы... Да, еще, я вижу, полотенце — через левую руку висело у нее перекинутое полотенце, без которого она уж конечно не принесла бы



лохани с водою... Характер ее, видимо, переменился — она пренебрегает должностью, — заключил я смеясь.

Но граф ничем не отвечал моей шутке, так что я пожалел, не поторопился ли, решив, что проникнул в его нрав.

— Я долго вас искал, — вымолвил он наконец, глядя на меня с выражением, описать которое я не могу, и едва не трогая меня за руку, — да, мне это много стоило... Когда выяснилось, что вы русский, что мы который уж год как живем в одном городе... Не странно ли? По одной этой работе видно, что у вас должны быть способности, — отчего же вас не знают?

Я развел руками.

— Вот что, — сказал он новым тоном, тряхнув головою, — я намерен заказать вам работу, — для начала неблагодарную, но не терпящую отлагательства. Готовы ли вы восстановить те утраты, что вами замечены? можете ли вы сделать это по памяти, не видя Клотарова оригинала? У меня есть с него недурная гравюра, она несколько вам поможет.

Я отвечал, что готов попробовать с большими надеждами на успех.

— Сколько времени на это уйдет?

Я вымолвил, что если его сиятельству надобна срочность, я предложил бы взять картину к себе, однако мои условия — темнота моей комнаты — опасение за картину...

— Работать вы будете здесь, — сказал он, — нынче уж поздно: завтра около двенадцати я пришлю за вами; вот вам задаток; теперь я ваш постоянный заказчик.

С кружащейся головою и горящим лицом вышел я на ночной воздух. Лакей, с тонкою насмешливостию поглядывавший на мое смущение, отнесенное им на счет княжеского великолепия, проводил меня до нанятого извозчика.

Возвращение мое на квартиру было самое торжественное. Слава человека, за которым посылают высокие боги, мгновенно заполнила самые дальние уголки наемных квартир. Хозяйка не смела предо мною показываться; я сам явился к ней и отдал деньги в те трагические руки, что давеча воздымались в моей комнате. Съезжать от нее, впрочем, я пока не думал, недоверчивый к переменам своего счастья. Два-три раза забегала от нее испуганная прислуга узнать, не надобно ли чего; я давал мелкие поручения для удовольствия распорядиться. Оставшись один, я пытался, ходя взад и вперед по своей тесноте, рассудить, что со мной приключилось, и вынужден был честно признать, что с того мгновенья, как графский лакей явился на моем пороге, все было для меня кромешной загадкою. Деньги одни остались залогом, что я не во сне это видел. Следовало ими воспользоваться. На задаток, полученный за Клотаровый чепец и полотенце, я купил свежих кистей и красок, обновил свой износившийся гардероб и расплатился по прежним счетам с трактирщиком, восстановив у него свой кредит купно с беседами, коих содержание почерпалось из «Северной пчелы». Я шел от него, обремененный судками с горячим супом и доверительными сведениями, кто ныне помогает египтянам противу турок, как у ворот моего дома встретил меня графский экипаж: время подошло.

Через длинную анфиладу меня проводили в комнату, хорошо освещенную и почти пустую, украшенную лишь бюстом Каракаллы, посреди которой поставлена была моя картина. Я взялся за работу, которая подвигалась, на мое удивление, очень хорошо: рука точно все помнила, выписывая белоснежные кружева, которые я с сожалением надел на милую головку. Станным мне показалось, что никаких следов, противу ожидания, чужих лассировок я не находил: написанного мною чепца словно отродясь не бывало. Граф вошел, не замечаемый мною, когда я, отложив кисть, насвистывал какую-то арию, с удовлетворением глядя на свою старую знакомую, которую насильно возвратил к былой опрятности.

— Да у вас уж все готово, — сказал он. Я обернулся: он прошел вдоль холста, глядя на него с веселостью. — Отлично! Вы достойны всяческих похвал. Разочтемся.



На мой взгляд, за мною остается... — он назвал сумму, за которую Клотар в лучшую пору своей славы, не торгуясь, отдал бы оригинал.

У меня не стало духу сказать графу, что таких денег не заслуживает самое жаркое усердие копииста; мое лицо, впрочем, обличало для него все.

— Это отчасти аванс, — сказал он. — Я хотел бы, чтобы вы без промедления переменили жилье. Если помните, я обещал быть вашим заказчиком; есть и другие люди, для которых мой вкус кое-что значит, но для них рекомендацией служит также и ваша лестница. Надеюсь, вы тотчас сообщите мне свой новый адрес.

Я только мог вымолвить, что сообщу непременно. Граф довольно понимал мои чувства, чтоб ждать красноречивых благодарностей. Он позвонил и распорядился меня проводить; я выходил уже из комнаты, как он с неожиданной силою выражения, напомнившей мне о вчерашнем, сказал:

— Хотел бы я, чтоб вы ни на миг не отлучались из города. Но вы, к несчастью, человек свободный.

Я отвечал с улыбкою, что, грешен, иной раз малодушно мечтал об обеспеченной неволе, сидя у себя на чердаке, продуваемом всеми дуновениями, с горькими мыслями и пустым желудком. На этом мы расстались.

Назавтра я приискал себе квартиру на Галерной и простился с присмирившею хозяйкою без сожаления; возможно, мне следовало бы испытывать странную привязанность к своей длительной тюрьме, когда я перешагивал через ее порог, но нужда и безнадежность избавили меня от изысканности чувствований. Ничего, кроме радости, я не испытывал, когда мой скудный скарб вольно размещался на новом месте; я выпил кофе и последними каплями совершил признательное возлияние Фортуне, одновременно спрашивая себя, не с ума ли я схожу. Я купил несколько гипсовых бюстов и нанял слугу, который начал с того, что хватил одним из них об пол; поскольку это был, кажется, Перриандр, я утешил малого тем, что он того заслужил, но с остальными настрою заказал обходиться внимательней. По моему поручению он сбегал к графу сообщить мой адрес и доставил от него записку с пожеланием удачи. День-два прошли в обустройстве, лишь к ночи удавалось мне добраться до задуманного в чердачную романтическую пору большого холста, и, усталый от суеты, я имел мало успеха, — а потом к нам пожаловал первый заказчик. Он вошел отдуваясь с лестницы ко мне в мастерскую и сказал, что он действительный статский советник такой-то, директор департамента в том-то министерстве; что граф ***, чей разборчивый вкус известен, весьма похвалит мои способности, что он вследствие этого... Я принял его с возможным угождением. Он хотел большой работы, для которой мне следовало посетить его дом. Явившись к нему, я застал жену его и дочь; супруг извинялся внезапными обязанностями в австрийском посольстве и препоручал жене изложить их пожелания. Оказалось, что муж хотел заказать портрет их обеих, в идиллическом окружении, на лоне их дачных угодий; сколько можно было уловить из ее полунамеков, это намерение было призвано скрепить семейный мир после какой-то бывшей тяжелой ссоры; ей он доверил обсудить со мною детали, а также сообщить, что, если я возьмусь за эту работу, мне предложат провести с ними время на даче, чтобы дать портрету воздух, свет и трепет листьев. Услышав мое согласие, супруга пригласила меня в знак единодушия, по ее выражению, выпить с ними чаю. Она, лет на двадцать моложе супруга, была удивительно хороша, с выражением безмятежной насмешливости; дочь ее, лет четырнадцати, с блестящими черными кудрями и замечательными итальянскими глазами, улучала мгновенье со мной кокетничать. Когда пришла пора откланяться, я возвращался домой в приятной уверенности, что первый выход в свет не покрыл меня бесславием.

На третий день я был доставлен в их загородный дом. Август был в исходе; мне отвели комнату окнами в сад, хранившую остатки чьей-то библиотеки; муж был в каких-то хлопотах; супруга занимала меня разговорами, оставляя меня свободным,



когда мне того хотелось. Вечером горничная под рукою передала мне записку от дочки; писанная по-французски, она содержала признания в страшной любви; в ожидании ответа к записке прилагались разрозненные тома татищевского лексикона. Я хотел было взбеситься, но рассмеялся, сел и написал ей на итальянском суровую отповедь, говорящую о разности наших положений, о том, что честь и спокойствие ее семейства вынуждают меня отказаться от видов на наше счастье; к ответу я присовокупил растрепанный том Петрарки, сыскавшийся в моей комнате, и переправил с тою же горничною, надеясь, что опыт обучил ее невозмутимости. Я решил написать хозяйку верхом на ее англизированной кобыле и дочь, глядящую на нее с высокого крыльца, а по всей сцене и темным деревьям, склонявшимся над ними еще обильною листвою, разлить умиротворенье, как того желал заказчик. Время текло легко, при ясной погоде и на приволье. За разговором *del piú e del meno* супруг начал жаловаться на демократическое презрение к живописным аллегориям: искусство, уверял он, много потеряло, отказавшись от их многозначительного великолепия; под веселым взором его жены я соглашался с ним, хваля аллегории за возможность видеть в них каждый раз новизну замышления, в чем, впрочем, хозяин со мною не соглашался, находя в этом нечто предосудительное.

— *Lei ha tradito la fede romantica*, — смеясь, сказала хозяйка, когда муж ее удался.

— *Per la serenita del Suo coniuge sono pronto a sacrificare di piú*, — отвечал я ей.

Я проводил время в таком тоне, который казался мне приятнейшим на земле, не переставая однако же заниматься работой; когда она продвинулась настолько, что могла быть довершена в мастерской, я объявил о намерении уехать, дабы посвятить себя тщательной отделке. Меня удерживали не слишком, и вскоре я был дома, занятый мыслями о косвенном свете и выражении лиц.

Мой малый известил меня, что присылали от графа ***, еще третьего дня, а давеча снова, с особливою просьбою тотчас сообщить, как я появлюсь. Удивленный, я отправил его с извозчиком; он воротился на запятках графской кареты. Меня просили ехать, захватив все потребное для моей работы.

Граф встречал меня, выйдя к широкой своей лестнице. Он был бледен и едва отвечал моим приветствиям. Быстрым шагом ввел он меня в комнату с бронзовым Каракаллою и велел слугам внести света. Я стоял ошеломленный.

В раме передо мною, освещенная двумя шандалами, была моя камеристка: двух недель не прошло, что я поправлял ее, думая, что виделся с нею впоследствии: что сделалось с нею! Сардоническая кисть прошла по ней, насмеявшись и над моим ученическим прилежанием, и над благочестием старого мастера. Темный бархатный лиф, вместе с косынкой, укрывавшей ее грудь, был кем-то снят с нее; она осталась в рубашке, отороченной кружевами, которая волнистой линией сползала с ее левого плеча; нижняя юбка освещалась утренним солнцем из окна; роговой гребень из головы ее выпал и валялся у ног на полу, отпустив ее чудные локоны, кои рассыпались и «вияся бежали струей золотой», как говорит Жуковский, по белой шее и обнаженным ее плечам. Прежняя поза, все еще ею хранимая, добросовестной служанки, ожидающей с водою в руках, как понадобятся хозяйке ее услуги, с потупленными прекрасными ресницами и свежим, простодушным румянцем во всю щеку, — это выглядело теперь какой-то мефистофельской насмешкой. Вдруг и странная переделка, и мое детское смущение показались мне комичными; счастье мое, что я не успел этого выразить, оглянувшись на графа: он ничего забавного в том не находил. Его выражение было судорожное. Наконец он резко вымолвил:

— Начинайте, прошу вас, немедленно, — и вышел.

Я взялся за работу.

Минут десять я с осторожностью осматривал преображение горничной, а потом принялся смешивать краски. Тут чьи-то шаги отвлекли меня; я обернулся: два



медленных лакея внесли железную кровать, на которой кто-то из предков графа проводил чуткие ночи в походах.

— Что это? — спросил я.

— Его сиятельство велели вас тут положить, — отвечал один из них, с семью бакенбардами.

Я не стал возмущаться распоряжениями графа на счет моей свободы, махнув рукою на щепетильность: из всех странностей, которые мне встречались в этом доме, сия была еще безобиднейшею, а я слишком был обязан графу, чтобы осуждать его действия. В самом деле, уже смеркалось, и работать было нельзя, да я и устал. Мне подали ужин в комнату, по окончании которого я выслал всех слуг, нехотя предлагавших помочь мне раздеться, и завалился в кровать, благословляя судьбу, избавившую меня от военной славы, если с нею связано спанье на железе. Спал я, впрочем, дурно, несмотря на усталость, и думаю, что присутствие картины меня смущало: не раз приподымался я, глядя, как смутно белеется круглое ее плечо, и помню, что в полусне хотелось мне измерить, не является ли оно срединной точкой Клотарова холста, что так притягивает к себе взоры. Поднялся я рано и, посмотрев на серенькое утро, от которого медный сын Септимиев, со своей подставки глядевший, как и я, во двор, где брела бурая лошадь, а из-под копыт у ней отпрыгивала галка, казался еще неприветливее, принялся поскорее за работу. Странное чувство испытывал я, будто мне довелось одевать живую женщину; это было совсем не то, что списывать с Клотарова оригинала. Дело шло медленно, прерываемое сначала завтраком, а потом беспрестанными заглядываньями слуг, спрашивавших по графскому наказу, не надобно ли мне чего, покамест, потеряв от них терпение, я велел не соваться до вызова, рассудив, что имею все основания не церемониться с графской дворней, если ночью в его фамильной постели и надзираю за его камеристками. Темную юбку, из-под которой чуть выставлялся башмак, я надел на нее, поминутно останавливаясь и сверяясь с гравюрой, а потом решил собрать ей волосы под гребень. Нужно ли говорить, что, как и в прежнем случае, ни находил я, как ни вглядывался, никакого следа чужой кисти поверх моей, словно это была новая картина, хотя в неповрежденных местах явственно узнавался мой пошиб? Я устал думать об этом и лишь водил кистию. Если граф пожелает объясниться, его воля. Роскошные кудри ее, славу Клотаровой кисти, я с величайшим тщанием уложил как прежде и скрепил их гребнем, от всей души надеясь, что наперед они не высвободятся, а потом решил написать дощатый пол поверх того гребня, что остался валяться у нее под ножкой. Как изобразить мое изумление?.. Гребня там не было. Я стоял остолбенелый, не веря своим глазам, помня лишь, что, когда я взялся поправлять ей волосы, гребень был на полу, выписанный со старомодною тщательностию и положенным на него светом совершенно во вкусе Клотара, — но мог ли я доверять своей памяти, художническим призванием обязанный слушаться своих глаз? Когда я поймал себя на желании глянуть себе под ноги, то плюнул в сердцах и принялся за ее лиф.

Весь день не тревоживший меня, граф появился к вечеру. Настроение его, видимо, было иное. У него словно отлегло на душе; он шутил и рассказывал мне светские происшествия, не заботясь, что лица, в них участвовавшие, все были мне неизвестны. Я держался с осторожностью, внушенной мне диковинами его дома.

— К Клотару у нас семейственное влечение, — сказал он между прочим, — он писал дядю моего в его детстве, а потом отдал портрет его родителям, отказавшись брать деньги. (Я вспомнил эту работу, одно из лучших произведений Клотара и самое трогательное.) Дядя относился к нему без церемоний, звал просто Домиником, а старик рад был с ним дурачиться и кормил его конфетами. Услышав в каком-то разговоре, по случайности, что Доминик изобрел инквизицию, дядя прибежал к нему в слезах и с укоризнами, для чего тот изобрел инквизицию, и бедный Клотар, отложив все занятия, принужден был битый час успокаивать расстроенного ребенка



убежденьями, что это не он ее изобрел — истощил все доводы, привел наконец соседей, и те клятвенно заверили дядю, что это не он; насилие успокоили. А отчего вы взялись за него?

Я отвечал, что мой учитель, которым я слишком был захвачен, чтоб не воспринять его вкусов, питал к Клотару давнее пристрастие, казавшееся, конечно, устаревшим для нас, бурных школьников, с ума сходявших от Корреджия и Сальватора Розы; когда мы с ним оказались за границей, он настоял, чтоб я занялся этим полотном, сулящим мне постижение таинств славной кисти, и в награду за мое согласие — должен признаться, неохотное — рассказывал, как они были знакомы с Клотаром, лет пятьдесят тому, в те последние времена его старости, когда, устав от столичной жизни, печальной и для его кроткой серьезности, и для его увядающей славы, он перебрался доживать в Лион. Мой учитель, еще молодой человек, состоял тогда наставником в одном русском семействе, отправившем сына своего в Grand Tour. В Лионе они задержались, и учитель мой, узнав, что великий Клотар живет в соседней улице, явился к нему с визитом. Великий Клотар принял его запросто. Он жил в идиллической компании рыжего кота, с которым совещался по всем важным вопросам домостроения; кухарка, валявшая ему споллагоря еду, к коей он был равнодушен, питала к нему благоговение, не мешавшее ее плутовству. Дома у него висела одна его небольшая картина, «Книга, забытая в беседке», которую он любил более всего из своих; не последней причиной его отъезда из столицы, как уверяли, была обида, что за сие полотно не предлагали ему довольно, чтобы отказ продать его славился как героический. Несколько лет минуло, как он не брался за кисть; в Лионе отстроили присутствие, и городской совет решил просить знаменитого согражданина украсить здание приличными росписями. В этом заседании, непривычно кипучем, прославилась фраза городского казначея, искусного расточителя и горячего поклонника Салюстия: «Самая его неудача, — величественно сказал он сомневающимся, — станет нашей славой». Все согласились призвать старика к работе. Славолюбие было удивительного его слабостию; неукоснительно являлся он на столичные приемы, когда был везде принят, и выстаивал их, как торжественную мессу, с религиозным одушевлением; кроткий ум его бывал способен к неожиданной остроте, и его беседа не оказывалась незанимательною. Он принял предложение; кот ему то же советовал. Учитель мой видался с художником в те минуты, когда, устав от скучной работы во дворце правосудия, он выходил греться на солнышке. С удивленьем спрашивал он Клотара, как отважился тот расписывать казенные стены правосудием Людовика Святого и пышными иносказаньями; как еще прежде, в столичные времена, брался он за медальоны и плафоны, грозившие ему не так ревностию собратьев, как пренебрежением знатоков? Вздохнув, старый художник отвечал ему стихом из Расина: «Je croyais sans rîgil pouvoir ktre sincige».

Граф расхохотался.

— Не удивительно, что за стенами Лиона не слышали об этой работе, — заметил он. — Искренность хороша на исповеди, а les secrets du confessionnal на холсте неуместны, — странно, что заблуждение это столь влиятельно.

Заметив, что вечер уже склонился, он предложил мне завершить работу завтра, прося смириться еще на одну ночь с его принудительным гостеприимством.

На сей раз я выпался на славу и поднялся со спокойной душой. Дела оставалось немного, и я ленился — рассматривал эстампы, валявшиеся на столе, гляделся в зеркало, думая, не взяться ли за свой портрет, и на правах отеческого попечения беседовал с безответной камеристкой, делая ей внушения самые решительные. Граф застал меня, когда я корпел над косынкою на ее шее, и приветствовал мое похвальное занятие фразой «Couvrez ce sein que je ne saurais voir», продекламированной с комическим негодованьем.

— Впрочем, не должно винить бедную девушку в распущенности, — сказал он, — оставим эту забаву ее хозяевам: не находите ли вы, что ее характер читается по



ней, как по книге? Клотар много дал аббату Пернетти, почерпавшему свои выводы о *познании нравственного человека* из наблюдений над его меланхолическими картинами вроде «Девушки перед мраморным фавном». Говорят, они были в дружбе; кажется мне, они невольно обманывали друг друга: один — извлекая из произведений художника свою благонамеренную систему, другой — думая в ней найти философскую опору своим вкусам. Давно ли это было? Разбойник, зарезавший Лафатера, уничтожил не физиогномику, без него упавшую до салонных пошлостей, но самое искусство портрета: невозможно более ему доверяться.

Я спросил, вызвано ли это мнение собственным опытом.

— Нет, — отвечал он, — я никогда не думал заказывать свой портрет и закажу разве лишь вам; но если бы я собрался, я подумал бы не о портрете в обычном духе, но скорее о полотне в пару этой камеристке. Представьте себе нечто в роде Гогартова «Тщеславия»: молодой человек, не успевший переодеться по возвращении с бала или званого вечера, сидит, вытянув ноги; кругом него разнообразные безделушки, пестрящие стену или валяющиеся на полу; левая его рука лежит на рукояти кресла, правая подпирает подбородок, а приподнятое лицо глядит с насмешливой внимательностью на кого-то за пределами изображения...

Тут он остановился. По недолгом молчании я обратился к нему — замечая, что расположение его переменилось, — с вопросом, когда довелось ему купить мою бедную копию, с которой, давно ее продав, думал я, что распрощался.

— В Венеции, — отвечал он, — у одного известного торговца древностями (граф назвал имя: я знавал этого человека), когда копался в его подвалах, с их застоявшейся сыростью от канала Orfano. Это было на другой день, как умерла моя жена.

Я смутился и не знал, как отвечать.

— Говорят, что я виноват в ее смерти, — вдруг прибавил он с нечаянной прямо-той, — вы слышали, должно быть.

Я пожал плечами, говоря, что невнимателен к молве. После этого было уж не воскресить разговора; граф сказал что-то незначительное и скоро вышел. Я перел дух.

Работа шла к концу. Явился графский управитель, сухощавый старик с неприязненным лицом, и торжественно сказал мне, что граф прислал его с расчетом — сумма, не показавшаяся мне в другой раз слишком огромною. Меня с почтеньем проводили до порога, а дома ждал меня бедный мой слуга, насмерть перепуганный трехдневным моим отсутствием и встретивший меня как восставшего из мертвых. Я увещевал его привыкать к подобным вещам, ибо с живописцами они случаются сплошь да рядом.

Подозревая, что за выходкой откровенности должно последовать охлаждение, я рад был это проверить, когда на другой день заметил, что позабыл в графском доме все кисти. У его ворот мне отвечали, что их сиятельство нынче больны и не принимают; швейцар вынес мне ворох кистей, завернутых в газетную хроникку. Я вышел на набережную. «Ты его сиятельству не свой брат, — сказал я себе. — Ваша близость, порожденная его причудой, не могла не казаться ему вынужденной; подобие власти, приобретенное тобою над ним, делало вашу фамильярность для него нестерпимую. Не думай, что ради тебя он примется воевать с сословным предрассуждением: довольствуйся его благодеяньями и не жди новых».

Я отнесся к этому тем спокойней, что самолюбие мое было чувствительно затронуто необходимостью в начале карьеры, которая мечталась мне блистательною, раз за разом доделывать ученическую работу, давно позабытую, — эта ироническая проделка случая начинала мне приедаться. Совсем утешило меня появление действительного статского советника со всей семьей и болонкой. Я с гордостью выставил перед ними законченную работу. Мать с дочерью были в восторге, обрачаемом лишь, сколько я мог уловить, небольшою ревностью каждой из них к той



красоте, с какою изображена была другая — чувство, впрочем, мимолетное и не омрачившее их похвал. Болонка одна облаяла мой труд, но на нее нечего было оглядываться. Действительный статский советник, погруженный в важное рассмотрение, с просветлевшим челом разделил наконец удовольствие семьи и лишь сделал мне небольшую просьбу, нельзя ли довершить это мастерское изображение помещенную где-либо не на самом виду, но явственной эмблемою посрамленного недоброжелательства. На это желание я отвечал с совершенною серьезностью, что таковою эмблемою служит обыкновенно сова, приколоченная гвоздями к воротам, и вызвался тотчас прибавить ворота и прибить к ним сову, чтобы ни у кого не оставалось сомнения, что в семье г-на NN справляют нешуточный триумф над недоброжелательством; он торопливо отказался, а я награжден был смеющимся взглядом прекрасных глаз его супруги.

Разговоры обо мне, начатые в этом семействе, скоро распространились; мне сделано было несколько почетных посещений и выгодных заказов; я чувствовал, что вхожу в силу, — юношеская беспечность меня захватила. Я постигал науку спать до полудня, обедаться на дипломатических обедах и острить на счет Рафаэля. Недели проходили в рассеянье. К неотложной работе я возвращался с неохотою, восхищенный новой жизнью. Случай заставил меня отрезвиться. Одним моим посетителем был статский советник (мне пошла черед на статских советников), желавший заказать свой портрет, «в таком виде, как вам будет угодно», отвечал он на вопрос о его пожеланиях: «Я совершенно доверяюсь вашему вкусу». Тут впервые стало мне стыдно моей ветрености — я принялся прилежно обсуждать с посетителем подробности будущего портрета, глядя на его сухощавое лицо и с наслаждением слушая его осторожные, внимательные суждения. Осуждая ревнивое попеченье иметь свой портрет, сию всеместную черту светского обыкновения, он с усмешкою сравнил свой взгляд на вещи с высокомерием испанских грандов, немало благопритествовавшим развитию у художников ужасного беспристрастия — искусства *нелицеприятного*, как он выразился. Сославшись на какую-то книгу, с которой я не был знаком, он предложил мне пользоваться его библиотекой.

Назавтра я был у него дома — зарылся в его богатой библиотеке и от усталости незаметно задремал там, среди рассыпанных книг, вовсе не думая непочтительности украсить карьеру модного портретиста; хозяин, впрочем, отнесся к этому равнодушно, дав распоряжения слугам о моем ночлеге. Оставив его поутру, я, чтобы освежиться, прохаживался на Шукином дворе и собирался было зайти в книжную лавку, как вдруг воздух огласили заунывные трели, первобытной дикостью напоминающие об Оссиане, и зазвучали призывы поглядеть и послушать. Вняв им, я оглянулся и увидел картину, всем известную, — шарманщика, притоптывавшего разбитым сапогом и ведшего остроумный диалог с танцующею собакой, покамест его машина гудела и свистала на все лады, а гарусный шарф, намотанный на тощую его шею, плескался по ветру, как боевой стяг на бастионе. Давно я не испытывал удовольствий такого рода. Подошел ближе, я попался ему на глаза — поскольку любителей на него нашлось мало — и часть остроумия, доселе падавшего безраздельно на долю его собаки, досталась мне. Я не удержался и стал ему отвечать. Чрез несколько минут мы почувствовали себя товарищами, и я пригласил его выпить. Какое-то самодовольство ремесла обличалось в его ухватках и ко всему прибавляемому замечанию, что прошли те времена, как на базарах показывал он тюленя из ящика: теперь его дела не чета прежним! Он сказывал мне чудовищные сплетни высшего света, сообщавшиеся в лакейских всего города; среди прочего я узнал самого себя в чародее с Васильевского острова, который загоняет на место адову пасть, вылезавшую на графа *** из картины Страшного суда. Во хмелю он хвастался и тиранил собаку, заставляя ее вальсировать без остановки, пока она не падала в изнеможении на загаженный пол.



Я пристал к нему — и бродил с ним по городу несколько дней, делая с него наброски, оживившие мою старую мечту написать Саула, запрещающего воинам есть до вечера. Я представлял себе на самом краю полотна, в безопасном удалении от распаленного битвой гневного царя, повернутое *alla gibalta* с каким-то сказочным плутовством лицо старого воина, который все проклятия и обеты, для чего-то запрещающие ему есть, уж конечно сочтет ребяческой игрушкой. С первой нашей остановки я послал трактирного слугу к себе на квартиру с наказом моему слуге быть почтительну, принимать от посетителей карточки и говорить им, что барин нынче для важных дел в отсутствии, но по возвращении немедля их известит.

Странствие наше было бурное. Не стану исчислять проказ наших, ни живописать нашего промысла. Через несколько дней, провождаемый целою стаей разительных друзей моего шарманщика, довольных к изображению всех подвигов Св. Антония, я, опомнившись, потихоньку бросил их, уснувших вповалку на очередном постое в каком-то переулке близ Сенной, с видом на известное здание холерной больницы, и в вечерних сумерках под начинающимся дождем добрался до дома. Слуга дал отменный отчет во всех визитах; оставленный впервые на дипломатической должности, он, как оказалось, нахватавшись слов у гостинодворских приказчиков, отвечал всем, что барин-де нынче в экзальтации, но как воротится, тотчас даст о себе знать. Тронутый сим скромным приношением моей славе, я подарил ему рубль и спросил оставленные карточки. Разбирая их, среди прочих заметил я графа ***. Слуга сказал, что от него присылали два дня кряду с вопросом, когда воротится хозяин, а вчера граф приезжал справиться сам, нет ли способа меня сыскать. Это меня изумило. На карточке его была приписана просьба быть к нему непременно, тотчас как возвращусь. Я, делать нечего, переменял платье и собрался ехать. Дорогою я бесплодно гадал о причинах таковой настоятельности. Сгибаясь под припущившим дождем, я выскочил из экипажа и тут же натолкнулся на графа, ждавшего у подъезда. Лицо его, освещенное зеленым огнем фонаря, имело выражение фантастическое. Он схватил меня за рукав и повлек за собою; промелькнул тяжело приподнявшийся со стула швейцар; мы миновали чреду пышных комнат и оказались в той, где доводилось мне ночевать. Тут граф бросил мою руку и опустил в кресло.

В той же раме, что и прежде, камеристка снова была передо мной — и что же? — я видел ее совершенно обнаженною, оставшеюся без единого, самого легкого покрова на теле, без той условной дымки, что призвана не укрывать, но увлекать беспокойное воображение. С тяжелым изумленьем следил я соблазнительные изгибы ее нагих очертаний, замечая, как грудь ее, живот и колена, тронутые солнцем, светятся перламутровым сияньем во вкусе нескромного Буше. Самое лицо ее точно переменялось: ее скромность теперь дышала затаенным коварством. Не самая нагота производила ужасное впечатленье — изучение живописи европейской давно отучило меня от грубого жеманства, — но эта женщина, остановившаяся в бесстыдной прямоте с водою в протянутых руках, еще оставалась прежнею — еще узнавалась в неразрушенных местах прелестная простота, свежесть краски и верность рисовки старого Клотара.

Совладав с собою, я пробормотал, что могу взяться за нее немедленно, однако мне надобно послать за всем нужным, поскольку я не предполагал...

— Нет, — отвечал граф, закрывший рукою лицо; во всей позе его и голосе слышалось совершенное изнеможение, — нет, теперь не нужно... ей удалось... теперь ее воля... Оставьте; не надобно.

Я начал извиняться за промедленье...

— Нужды нет, — сказал он, — для чего мне пенять на вас; вам я обязан двумя месяцами жизни; но вы, конечно, вправе располагать собою, как почитаете должным... Мне кажется, я нездоров, — прибавил он с некоторым уже спокойствием. — Уж без четверти одиннадцать: винюся, что зря нынче обеспокоил вас; но ежели бы



вы нашли время заехать ко мне завтра поутру — это не займет вас надолго, — я был бы вам признателен.

Вышел из комнаты, я слышал, как он запирается за мною. Грешен — я покидал его с неизъяснимым облегчением на душе, не понимая причины его страдания, в котором сомневаться невозможно было, но лишь радуясь уйти из этого нестерпимого дома. Не замечая дождя, я шел вдоль набережной, с волнением в мыслях и чувствах, покамест какой-то извозчик не напомнил мне, что погода не майская; тут я опомнился и запрыгнул в его кибитку.

Утром я был у графа. Бог надоумил меня не подъезжать прямо к дому; от угла я шел пешком, издавек завидев непривычную толпу у графской ограды, за коей виделись растрепанные лица графской челяди и запахнутые шинели *начал и властей*. Ветер поднимался. Протиснувшись в толпе, я начал спрашивать налево и направо, отчего собрались; словоохотливый, но бестолковый парень отвечал мне, что у графа *** *нынче дело*. С нетерпением добивался я, что это значит.

— С вечера, сказывают, заперся, — отвечали мне. — Утром не достучались и давай дверь ломать.

По разбитии дверей оказалось, что графа нет в запертой комнате.

— Вот ты, к примеру, умеешь ходить затворенными дверьми?

Я отвечал, что не умею.

Поднялся шум; явился квартальный, за ним два жандармских офицера; графа искали тщетно; пало подозрение на кое-кого из дворни, но противу их доводов не было. Тайнственное несчастье придавило дом. Толки в толпе стояли самые разные; затесавшийся гаер начал немилосердно высвистывать на флейте ланнеровский вальс; с трудом выдрался я наружу, оглядываясь, уехал ли извозчик, привезший меня.

О графе все не получалось известий. Общество было сильно занято его исчезновением; разговоры о нем ослабели лишь пред обручением герцога Лейхтенбергского. Я работал и жил спокойно. Недели через три графский управитель, некогда расплачивавшийся со мною, неожиданно явился ко мне на Галерную. Внешность его заметно изменилась, он одряхлел. Он известил меня, что графом — по всему судя, накануне того, как он исчез, — написано было распоряжение передать в собственность живописцу NN одну картину, находящуюся в его доме. В скорбных суетах последнего времени старик промедлил с этою волей, и наконец, взявши указанную картину, привез ее мне на извозчике. Это полотно, сколько можно судить, было славного живописца прошлого столетия Клотара или кого-либо из его учеников. На нем изображалась покинутая комната с окном, через которое взошедшее солнце освещало внутренность богатого дома; на низкой скамье у стены поставлена полная лохань с водою и подле нее небрежно брошено полотенце. Его край попал в лохань и намочает.

ЛОШАДЬ

To Rofer

К похоронам отца я не успел. Известие о его кончине запоздало, и дела задержали меня в Москве. Я испытал облегчение, когда понял, что приеду в город после того как все будет кончено. Мне стыдно было лицемерить среди обрядов последнего прощанья. Что в этих обстоятельствах мной могли руководствовать лишь соображения благопристойности, не делало мне чести, но я отложил пустое попечение, ища лишь пощады для себя. Я не испытывал уважения к человеку, чьей душе испрашивал сейчас небесного снисхождения приходской священник в клубах ладана, и скорбь, возникавшая во мне помимо воспоминаний о временах нашего общежития, не столько меня занимала, чтобы я рисковал быть искренним там, где этого не



ждали: ни славиться его бесчестьем, ни оплакивать его добродетели мне не было охоты.

Когда-то он был не без образования и человеком, испытавшим всю притягательность беспокойного идеализма, так щедро разлитого и так жадно впитывавшегося молодыми людьми в атмосфере сороковых годов. Беспечность не позволила ему заметить, когда и как исподвольное омертвление тех заповедей и чувств, утрату которых с таким ужасом оплакивает Гоголь, взирая на ожесточение и хлад неумолимой старости, превратило его в соннехion четырех-пяти односложных отзывов на однообразные раздражения, совершавшихся в нем каждодневно с исправностью неповрежденного поместного организма. Возможно, мои знакомства небогаты, но я не видал человека, в меньшей степени располагающего тактом действительности, — а меж тем на нем лежали обязанности отца семейства и поместного владыки, о которых он был уверен, что блюдет их в безупречности, достойной всяких похвал. В детстве он приучил меня к тому болезненному энтузиазму, который для него самого сделался обрядом нервов; мои рыдания, мой восторг возвращали его к *возвышенному*, к струне в тумане, к благородству юношеской дружбы, к шиллеровским цитатам (никогда не длиннее полутора стихов), ко всем тем мистериям отечественной сентиментальности, с которыми он давно разлучился; я имел для него ценность воспоминания. Смерть моей матери была сильным для него потрясением; растерянность скоро сменилась забвением: он принялся пить, и девичья начала испытывать на себе пароксизмы его любезности. Он не дошел до учреждения гарема (отчасти потому, что от души считал себя порядочным человеком и смутно чувствовал, что, допустив в свой быт эту институцию, он не сможет более быть совершенно уверен в этом смысле), но его фаворитки были на виду и кроме материальных выгод познавали все удовольствие быть в глазах дворни предметом соревнования. С удивлением и унынием я сознавал, что не люблю его. Отлучки из имения бывали для меня отпуском на волю; и с каким подавленным чувством возвращался я домой, где меня ожидали старческая сварливость, сладострастие и отвратительный цинизм человека, растерявшего все, что можно, и не имевшего ни мгновенья трезвости, чтобы ужаснуться при самых значительных потерях, но созерцавшего их с оступелым самодовольством. Смотреть спокойно на его одичание было невозможно; отчаяние охватывало меня. А между тем любое прекословие побуждало его, как всякого слабовольного человека, с удвоенным ожесточением практиковать привычные утехы, осуждение которых он считал мятежом и кошунством, или же, когда он хотел насладиться вполне, то обустроить их тайно и с уловками самыми постыдными. Мои наследственные черты не способствовали нашему сближению: где можно было взять необоримой, ежедневной кротостью, обезоруживающею (как говорят) самую закоснелую черствость, я раздражался укоризнами; усвоив силу рассчитанного сарказма, я заставлял отца задыхаться от злобы и находил в этом удовлетворение: не считая его достойным снисхождения, я не был приучен и к справедливости. При первой возможности я уехал из имения. Слухи, доходившие до меня, показывали, что при видимой бесцельности моего присутствия и вызываемых им взрывов обоюдной неприязни мой отъезд позволил ему ничем более не стесняться.

Не знаю, как он встретил рескрипт генерал-губернатору Западного края (после обеда он обыкновенно дремал под благонамеренной сенью «Московских ведомостей»). В деятелях эмансипации, графе Ланском, Ростовцеве, Милютине и прочих, он нашел озорников, от лица государства поставивших под сомнение его способность быть неподотчетным благодетелем, кои не только вступились в его привилегию сиять на злыя и благия, но именно выказали намерение сиять за него, между тем как он свое сияние почитал неотчуждаемым. Когда манифест 19 февраля пригласил его осенить себя крестным знаменем, он уклонился; навлеченные реформой, нарушения его власти завершились тем, что, уладив раздел с мужиками, при котором он



всюду вредил себе в сладостном ожесточении обиды, он отдал имение арендатору и переехал в уездный город, верстах в сорока от поместья, где его жизнь пустилась в прежнем русле, умеряемая лишь подорожанием привычных сластей в отсутствие крепостного ресурса и высокими упованиями, обращаемыми ныне на дворянское сословие. За несколько недель до смерти он заболел и слег в постель, из которой его переложили уже на стол и в гроб; какие чувства, какие воспоминания и соображения сопровождали его длительное стоянье на той грани, подле которой любой самообман должен спадать, как ветхое платье, я не знаю; самое известие о его кончине я получил почти случайно.

Я приехал в город под вечер и долго искал жилье, где обитал отец, пока не обнаружил его на задах кладбищенской Никольской церкви: это был старый мещанский дом, третий или четвертый от обозначавшего городскую межу оврага, в который съезжали кривые огороды с капустой и репой. Под окнами располагался палисадник, где меж двух скудных акаций, распоряженных в казенной симметрии, качались баканные головки татарского мыла. Полный штат составляли наемная кухарка, служившая также в ближайшем трактире, откуда она принесла профессиональный фатализм и неумение готовить мясо, и дворовый, остальны с крепостных времен, Аким (я помнил его по усадьбе), вышедший мне во сретенье в серых нанковых штанах и сюртуке с прожженным рукавом, дабы сдать мне, с поклоном, снизу ключей, хранившихся у отца.

Я вошел в дом. Его комнаты, выказывавшие безразличие не только к понятиям удобства, но к простой чистоте, сочетали длительное бесстыдство с внезапным запустением. Отсырелые, заслякощенные обои отставали от стен, а понизу истлели в белесые лохмотья. Шаги мои гулко стучали по доскам пола, вытершимся до вицмундирного лоска. Посреди кабинета, служившего также спальней, стояли, носками в противоположные стороны, два сапога и пахли ворванью. Я велел вынести их и растворить окна; но дух более крепкий, ввевшийся во все складки комнаты, — застоющейся скверны, смешанной с запахом нечистого и больного тела, — встречал меня при каждом повороте. В окно глядел разросшийся куст желтой малины, за которым виднелась конюшня с темными оконцами над стойлами. Из аккуратного расположения мертвых мух, завязнувших в паутине вдоль подоконника, явствовало, что их ловля и водворение на места поселения согласно решению суда были *pars magna* неистощимого досуга, каким пользовался хозяин кабинета. Я отпер ящик стола; в нем лежала пачка разномастных ассигнаций вперемешку с выкупными свидетельствами, перехваченная розовой завязкой с бахромой. Рядом лежала россыпью значительная коллекция французских фотографических карточек, из сорта «необыкновенных по жизненности и движению»; к некоторым пристал засохлый изюм, прибавлявший к жизненным позам и движениям еще и положительную достоверность в смысле объемов. В отхожем месте на угрюмом гвозде были прищиплены несколько раздранных страниц немецкого лексикона; своей очереди покорно дожидалось слово *Menschenleere* и ему соседственные, из чего можно было заключить, что такие насущные формулы общественной мысли, как *Staatshaushalt*, *Volksbewußtsein* и другие, дондсь избегали общей участи, с тем, чтобы в дальнейшем, отдав свой долг природе, лечь в основу необычайного плодородия местных суглинков, когда по прошествии веков на месте наших жилищ раскинутся поля, где пшеница будет давать урожаи сам-девять и сам-десять, а образцовый поселянин будет дивиться открытым в земле гигантским костям наших современников, пристойно укрытым «Московскими ведомостями». От всего этого мне захотелось знать, остался ли после отца живой инвентарь, чьи ноги способны носить что-то, кроме себя самих.

— Как же, есть лошадь, — отвечал Аким, — куда без них жить; вона, в стойле проклажается.

— Как она? — спросил я.



— Десятый только годок, еще тянет. Только, барин, прикусывает она, вот что.

Я заглянул в двери конюшни. Когда глаза привыкли, я увидел лошадь: она стояла, мерно раскачиваясь из стороны в сторону; доски стойла перед ней, сильно изгрызенные, белели щепой. В паху у ней я разглядел глубокую впадину. В довершение всего она была чубарой масти, словно забрызганная жидкой грязью, особенно щедро испятнавшей ее голову; эта масть совершенно сходствовала со стенами конюшни, измызанными в такую же крапину, так что если природа в этом случае преимущественно преследовала цель создать существо, способное прятаться в конюшне, она могла праздновать успех.

— Скучает, должно, — пояснил Аким, видимо испытывавший к лошади сочувствие. — Оттого и дерево ест.

Я пожал плечами и обернулся к дверям, положив в сердце своем продать эту скучающую лошадь в самое ближайшее время. Что значило это *особое* намерение, притом что продавать я собирался все и непромедлительно, — бог весть; но жалость пополам с отвращением, которые она умела мне внушить, не были для нее счастливыми рекомендациями.

— Он что же, верхом ездил?

— Как же, — сказал Аким, с обидой на такое предположение, — не такого звания-то: коляска в каретном сарае.

Коляску я не пошел смотреть. Та ее часть, что видна была в открытых воротах сарая, который Аким, по воспоминаниям поместного роскошества, нравилось звать каретным, давала гораздо больше поводов острить, чем соблазнов путешествовать. Лошади покамест было мне довольно, а в коляске нужды не предвиделось.

По случаю моей внезапности мой голод был не столько удовлетворен, сколько напуган слоеными пирожками на прогорком масле, споровенными нашей благоумной стряпухой к первым сумеркам. Посылать в трактир я не стал, успев узнать, что наша баба действовала и на его кухне, и, следовательно, искать там лучшей доли значило бы сравнивать, у какого берега вода слаще. На новом месте я спал отвратительно. Часы издавали такой звук, словно ползли по стене, цепляясь за нее когтями; где-то мышь с остервенением скоблила сухую корку, и в ночной тишине эта изнурительная трапеза отдавалась на весь дом. За отставшими обоями неумоимо шуршали какие-то насекомые, сваливаясь до полу и снова взбираясь под влиянием того, что наша печать называет «вековечным инстинктом неразумных наций». Клопы тоже не тянули вручить верительные грамоты, хотя некоторая чопорность с их стороны ни в коем случае не вызвала бы моих укоров; я ворочался, стонал и, потеряв наконец терпение, приподнялся и крикнул Аким, ночевавшему, по рабской привычке, у дверей, чтоб утром же вынес диван на двор и обварил кипятком, на что Аким отвечал сонным кряхтением.

Ночи были холодные, а печь с вечера не топили; под утро мне стало зябко под бедным одеялом — я нашарил старую шинель отца и укрылся; что-то высыпалось из нее и дробно раскатилось по полу, но я, разумеется, не стал интересоваться. В довершение всего тот кислый дух умирания, что стоял во всей комнате, имел источником диван, на котором я улегся спать и на котором протягивал последние недели отец. Когда он ел лежа, держа тарелку на коленях, неопрятной, слабеющей рукой, что-то все время проливалось и заваливалось в щели дивана, спеклось в бургистые потеки и при каждом движении дышало на меня таким тоскливым смрадом, что сердце мое заходило.

Поднялся я, раздраженный и с больной головой, в десятом часу. Переступая по холодному полу, я обнаружил, что из кармана ночью рассыпались каштаны. Бог весть, для чего они попали туда и с каких пор там лежали; я вспомнил старую каштановую аллею при въезде в наше имение и подумал: что, цела ли она? и не заваялись ли эти бурые, сморщенные желуди в отцовском кармане с тех времен, когда мы гуляли под широкими кронами и он нес за мною в руках каштаны, которые я бегал



собирать, чтоб любоваться их глянцевою чернотою? Я сложил их обратно в карман. После обедни, от которой доносилось дрожащее гуденье небольшого колокола, к нам пришел кладбищенский священник, о. Николай, соборовавший и отпевавший отца, человек печального и кроткого вида. Прослышав о моем появлении, он счел себя обязанным повествованием о христианской кончине покойного. От чаю и бутербродов с мешерским сыром он не отказался. В окно виден был Аким, который выволок диван на двор и, водворив его в крапиве под старой сливой, охаживал кипятком, весь в крутых клубах пара. Между прочим в своем повествовании о. Николай дважды употребил оборот, который, как мне помнилось по университетским годам, называется «дательный независимый» и на который в грамматике Буслаева приводился пример «ходящу мне в пустыне, показался зверь ужасный», с соболезнованием, что это больше не в употреблении. За это грамматическое возобновление я дал ему красненькую ассигнацию, поняв по выражению его лица и упоминанию многообразных загробных воздаяний, среди коих были даже неожиданные, что это показалось ему много.

Моим намереньем было как можно быстрее вступить в наследование, с тем чтобы продать все движимое и недвижимое и покинуть этот город, где я доселе не был и надеялся более не оказаться. Но для этой цели надобно было, кроме прочего, ехать в губернский город, о чем я думал с привычным фатализмом русского человека, приступающего к той черте, за которой совершаются интимные отправления закона. Аким решил мои колебания, сказавши:

— Надобно бы, барин, в Селитвино съездить.

Выяснилось, что в Селитвине, большом селе, лежащем от города верстах в пятнадцати, у отца были торговые дела, которые обычно вел он через некоего Трешилова, состоявшего его приятелем и доверенным лицом, и что по смерти отца какие-то дела остались неулаженными, и он, Трешилов, встретивши на той неделе Акима в Селитвине в базарный день, всячески просил, чтобы молодой барин не преминул, заехал к нему, когда окажется, потому, дескать, что от покойника остались обязательства и чуть ли не долги. Я решил наперед разделаться с мелочами и назначил завтра, если не будет дождя, ехать в Селитвино.

Утром не было ни облачка. Я вышел из дому и велел подать лошадь. Аким мялся возле меня, словно не решаясь на что-то, пока я не спросил, чего ему.

— Только вот что, барин, — вымолвил он наконец, — она, это... встает она.

Я его не понял.

— Покойный барин-то, когда на ней ездили, — начал он, — то все больше в одни и те же места... по обыкновению, значит. Ну и ждала она их там. И теперь, коли ее мимо водишь, так она... что ни раз, то и потрафит. Привычка-то чего с человеком не делает, — пояснил он. — По привычке живется, а отвыкнешь — помрешь, вот оно как говорится! — прибавил он, чрезвычайно довольный тем, что под то дурацкое положение, о котором меня осведомлял, прибрал прецедент того же разбору.

Поздно было искать другую лошадь; я надеялся, что обойдется. Велев ждать меня к вечеру, я выехал со двора. Пустив ее шагом, я миновал небогатую вереницу городских улиц и уже проезжал мимо последнего на выезде кабака, украшенного рыжими елками, как вдруг лошадь подо мной споткнулась и стала, понурившись и не отвечая на мои понукания. Из дверей заведения, сопровождаемый затейливыми звуками брани, выкатился малый в красной рубахе, с медного цвета физиономией, на которой застыло выражение, заслуживающее называться заборным. Строго глядя в невидимую точку, он тронулся в пространство, кружащееся перед ним, и по недолгом скитанье уперся носом в мою лошадь, фыркнувшую от знакомого духа. Малый поотпрянул, и шутовская важность показалась в его осоловелых глазах.

— Николай Егорычу наше-с, — сказал он, отвешивая осторожный, впрочем, поклон лошади. — С визитацией пожаловали, милости вашей неотменно просим. Что ни раз, так не мимо нас. Завсегда приятно.



— Митрий! — орала ему баба, высунясь с крыльца. — Ты чего там, черт, колыхаешься?

— С Николай Егорычем приятную беседу завел, — наставительно отвечал он, поворачиваясь к ней всем корпусом. — Когда еще барского-то разговору сподобишься.

— Ну поклон ему зефирный! — отзывалась баба.

И т. д.

Мало-помалу на его юродства стеклась толпа; я высился над нею, сгорая от стыда и бешенства; кто-то драл гармонику над ухом у моей лошади, которая крупно вздрагивала, не двигаясь с места; какой-то мещанин, с барвинком, заложенным за ухо, сновал в толчее между бабами, гласно назначая им свидания «у энтото знаменитого монумента, назавтрее, в сей же час»; веселье было общее. Четверть часа я терпел это, пока наконец лошадь, неуверенно переступив с ноги на ногу, не тронулась помаленьку сквозь расступающуюся перед ней сутолоку. Вслед нам неслись пожеланья доброго пути; кто-то пустил в нее обкусанным пряником. Не буду говорить, что я чувствовал и к этим рожам, и к тому, чьим привычкам я был обязан этим позором. Продать лошадь я решил завтра же и за любые деньги.

Понемногу я успокоился. За заставой я пустил рысью лошадь, шедшую неплохо. По обеим сторонам тянулись поля, в низине темные ивы указывали на речку. Солнце было уже высоко. По левую руку начиналась разрозненная деревушка и вот уж подступала к дороге. Лошадь запнулась пред воротами, поставленными на серых, расщелившихся сверху донизу столбах. По ржавому гвоздю, торчащему из одного столба, ползала пчела. Теперь я не стал ждать, понуждаемый и свежим опытом, и любопытством: я спрыгнул с лошади и заглянул в ворота, громко спрашивая, не дадут ли напиток. На траве валялось тележное колесо, в котором прыгал цыпленок. Маленькая собака гремела цепью, скача возле дома. Старческий кашель перебил ее лай. Из амбара, осененного яблонью, выходил сутулый старик с плетеной корзиной в дрожащих руках.

— Трезорка! Угому на тя нет! — укорил он собаку, просунув руку сквозь заплесневелое дно корзины и с сомнением глядя на свои узловатые пальцы, которыми он для чего-то шевелил. — Улита! — позвал он, обратясь в дом. — Молока утрешнего поди достань с погреба! А вы, барин, — добрался он теперь до меня, — никак, у нас впервой?

Я назвался.

— Батюшки! это не Николая ли Егорыча сынок?

— Он самый, — отвечал я.

— Вот бог навел! А ведь ваш-то батюшка... Улита! Скоро ли ты?... Николай-то Егорыч у меня часто бывал, медком разжиться... Мед у меня... поговорить любил, обстоятельный был человек... Улита! — снова прокричал он.

Дверь отворилась, и из сеней на свет вышла молодая женщина, в холщовой рубаше и юбке, шуря большие черные глаза. Она была очень хороша собой. Стройная, с высокой грудью, четко обозначенными ключицами, с правильными чертами смуглого лица, она несла на себе отчетливую печать какого-то спокойного бесстыдства, с которым, не переменяя позы, окинула меня взглядом. Мне стало скучно.

— Дочь моя, — сообщил шевелящий пальцами старец, — помогает; вдвая она. Ну да перемогаемся, с божьей помощью! И люди не оставляют! Вишь, Улита, — Николай Егорыча покойного сынок! Помнишь Николай Егорыча-то? Он, бывало, любил с тобой разговаривать... Какие, глядишь, случаи-то бывают!

— Милости просим дорогих гостей, — лениво вымолвила Улита грудным голосом.

Ветхий отец ее пригласил меня в избу и, пока Улита ходила за молоком, повествовал о своей жизни, жаловался на пчел, которые жалили, как до реформы, а меду



давали не в пример меньше, на начальство, которое он плохо различал, на плохой в этом году липовый цвет, на то, что бог не дал дочери и ее покойнику Ваньке детей, и звал меня заезжать еще. За окном в перспективе виднелся разнообразно покосившийся забор, за которым открывались длинные гряды ульев, того цвета плотвичной чешуи, какой дает любая краска через пять лет дождя и снега.

В сених я столкнулся с Улитой, все еще стоявшей с подойником. Она не сделала движения пропустить меня, так что мы расходились вплотную.

— А вы не в Николай Егорыча выдались, — тихо, с расстановкой вымолвила она. — Он-то, не в обиду сказать, неважного сложения был, а вы — как есть кирасир.

В полутьме я видел влажное движенье ее глаз, капли пота на высокой шее, слышал ее острый запах. Я сделал над собой усилие и вышел. Солнце ударило в лицо. Краткий срок, проведенный мною в доме, моей лошади, надо полагать, казался достаточным для того, чтобы выказать деятельное отношение к женской привлекательности, поэтому она тронулась в путь без принуждения.

Селитвино было уже недалеко, и я мог надеяться, что прекрасная дочь пасечника была последним из старческих пристрастий, в кои я был насильственно посвящен, как вдруг моя лошадь снова начала замедляться и остановилась. Кругом лежало чистое поле. Я озирался с недоумением, не видя потребных орудий для скольконбудь примечательной неблагопристойности.

По левую руку от дороги была обширная промоина, грозившая разъестся в овраг; ржавый щавель и борщевик венчали ее осыпающиеся края; одно старое дерево, половиной мертвое, росло здесь, видно, не столько мешая полевым работам, чтобы его добрались срубить; остановившись на нем, я вдруг заметил, что широкое дупло, в обрамлении трещин и оплывов старой коры, имеет несомненное сходство с человеческим лицом, чудовищно и карикатурно искаженным: зажмуря глаза, поставленные горкой, как на трагической маске, оно разевало трухлявый рот, резко очерченный шелушащимися морщинами. Обломленный сук, вздетый, точно жест не то мольбы, не то угрозы навеки проклясть и лишить средств к существованию, довершал угрюмую картину. Глядя на эту мертвую и отчего-то постыдную жалобу, залитую солнцем, в тиши сельского полдня, я старался не думать о том, каким склонностям должно было удовлетворять это созерцание, отправляемое с таким постоянством, что лошадь успела с ним свыкнуться. Я сильно ударил ее, и она пошла.

Без дальнейших препятствий мы достигли Селитвина, где я нашел трешиловский дом недалеко от базарной площади. Хозяина я застиг во дворе, под сенью акации, примостившего на коленях тарелку размокших вишен из наливки, в которой он инспектировал двумя пальцами со служебным вдохновением (в прошлом он был канцелярский чиновник уездного суда). Заметив меня, он подскочил, вытирая руки о халат, несший на себе, как записки Дюма, обстоятельную роспись местных заедок, и выказал такую суетливость, что в иные моменты, казалось, бегал уже вокруг самого себя. Не успели рассыпанные им вишни скатиться в пыль и упокоиться среди куриного помета, как он уже горячо пожал мне руку, передав ощутительную часть своей липкости, и довел до меня, что я вылитый отец, что годы летят и еще несколько неожиданностей того же рода, которые оправдывали мое путешествие в Селитвино по крайней мере тем этнографическим выводом, что неоспоримые истины имеют чрезвычайное распространение и того гляди, что восторжествуют над всяким заблуждением. Я спросил его о делах, оставшихся от отца, но он с возмущеньем сказал, что до обеда ни слова, ни полслова со мной о делах ни перемолвит и что «тут у них не по новым заведениям, а чтят обычаи-то».

— У меня-то ведь, Андрей Николаич, наперед обеда еще... угощенье у меня! — восклицал он, увлекая меня в приземистую внутренность своего жилья.



Мы прошли мимо широкой печи, из которой в полной силе ударило отечественной капустой; тяня за рукав, он ввел меня в горницу, где с торжествующей улыбкой остановился. Думая удивить приезжего, он вполне мог торжествовать: угадать его сюрприза никто бы не сумел. Окна выходили на улицу, где стояла крутая пыль столбом, имевшая служить значительной приправой к нашему обеду; у окна на столе располагался поместительный аквариум с выпуклыми боками, за которыми проплывали по улице противоестественной формы кони и мужики, отливающие несколько бутылочным стеклом. В пространном объеме сновала одна, впрочем, довольно увесистая (из тех, что «любят, чтобы их жарили в сметане», как утверждают поваренные книги, склонные приписывать своим ингредиентам вычурные прихоти), золотая рыба, за которой далеко тянулся кисейный хвост, вроде занавеси от комаров, при каждом повороте взметающий со дна клубы тяжелой мути. Несмотря на свое байроническое одиночество, рыба имела такой вид, будто вот сейчас оботрет усы и скажет: «Хорош чай-то ваш! куда копорскому! Эж, отцы мои, ажно пот прошиб!» Тут заметил я, что на стекле, у самого верха, выдавлен был государственный герб, то ли предохраняющий рыбу от беспочвенных поползновений, то ли указывающий на то, что эти воды в юридической силе суть исконные российские.

Трешилов наслаждался произведенным впечатлением, посылая в аквариум умильные взоры со слезой, какие адресуют просвещенные купцы канарейкам, словно говоря: мамочка! херувимскую! Рыба, однако, на его взглядыванья отвечала чрезвычайной сухостью, никаким ангажементам себя связывать не желая.

— Как же вы ее тут держите? — невольно спросил я, — у вас, верно, есть какие-то пособия?

— По всем указаниям господина Россмесслера-с! — самодовольно отвечал Трешилов. — Первейший ученый. Не изволили читать?

Я вынужден был сознаться, что не читал, но полюбозытствовал, откуда такая литература доступна селитвинскому любителю; оказалось, что Трешилов, промышляя где-то немецкие рекомендации, оказал в их осаде несравненную предприимчивость: именно, узнал у протопопа о. Сергия, что его сын в семинарии обучался тому языку, на котором природа обрекла писать г-на Россмесслера, и до того простер свое пристрастие, что заплатил семинаристу, глаголющему языки, синенькую и куль муки за перевод в точном разуме подлинника.

Я спросил, отчего рыба всего одна. Взгляд хозяина затуманился, и он кратко отвечал, что прочие *вымерли*. Я удержался от вопроса, не было ли беглых, но подумал, не была ли прискорбная лень протопопова наследника при грамматических штудиях причиною, отчего все общество золотой рыбы составляет ее хозяин, пагубно заблуждающийся в том, как именно г-н Россмесслер велел редижировать пресноводными, да чудовищные отражения проходящих баб со связками бурых баранок. Тут Трешилов хлопнул в ладоши, приговорив:

— А что, пора и обеду!

Стряпуха подала на стол, мы уселись; я давно был голоден, а г-н Трешилов избавил меня от необходимости идти в трактир. По окончании обеда я вновь приступил с вопросом о делах, ради которых приехал. Он начал ужимками и обвиняками; наконец всплыло, что некогда мой отец, будучи по делам, а более для забавы в Селитвине и проигравши ему в карты некоторую сумму, не отдал ее тотчас, оставив, однако, в залог (жест вроде классического «Qu'il tougьt», на котором, как я догадывался, отец настоял сам, по притязанию быть порядочным) некоторую фамильную художественную ценность (Трешилов так и сказал: «фамильную художественную ценность»). Это было что-то за полгода до его смерти, и во все это время отец за недосугом не рассчитался с Трешиловым, так что ценность доселе пребывала у сего последнего, который присовокуплял, что она соблюдается как зеница ока и что ежели мне изволится видеть, он ее сей же час представит. Я просил его о том, и он, для чего-то



пригибаясь, выбежал в соседний покой, откуда интригующий предмет тотчас дал о себе знать глухим гремением переставляемой тяжести. Я оборотился к дверям, чтобы встретиться с фамильной тайной по возможности скорее.

Это была, в одутловатой раме с тесаными розанами по углам, картина, изображающая какую-то «Красавицу с бокалом», того пошиба, какой хорошо известен ценителю русского лубка. Красавица, с нещадно вывернутым локтем и злокачественной лимфой в бокале, расположение которой смеялось над самыми скромными притязаниями физики, изображалась облеченной в какую-то багряницу, с которой краска отставала чешуйками. Фигура ее была выписана сообразно тому ложному представлению о роскоши женских форм, что ограничивает живописца лишь наличным запасом сурика и «Уставом о благочинии», а человека, долго вращавшегося в круге таких галлюцинаций, заставляет с презрением взирать на смиренную действительность, которая не в состоянии предъявить ему ничего среди своих произрастений, чтобы удовлетворить его придирчивости. В довершение эффекта Трешилов задвинул картину отчасти за аквариум, так что вода в нем обагрилась, как при гонителе фараоне, а благоприобретенное имение красавицы выказало уже такие объемы и поползновенья, что рыба заметалась в чрезвычайном волнении, видимо, вспомнив вольное житье в океанских таинственных глубинах, где, по словам опытных мореплавателей, водится еще много чудес, доселе избегающих отлова, засолки и классификации. Покамест я глядел на эту фантазмагорию, из Трешилова неостановимо извергались приказные околичности, откуда я уловил, что, хотя об их условии не было никаких бумаг, как оно водится между друзьями, я, безусловно, не подвергну сомнению (я не подверг) и как наследник, без сомнения, приму на себя обязательства; что, однако же, он оставляет на мое благоусмотрение — забрать ли картину, заплативши сумму, ради которой она здесь оказалась, или оставить ее Трешилову взамен требуемых денег. Тут только, с изумленьем переведа на него глаза, я понял, что он дорожит этой ярославской сагурналией и, чего доброго, считает ее чрезвычайно выгодным приобретеньем, стоящим неизмеримо больше того пустяшного карточного долга, благодаря которому оно ему досталось.

Не беря даже в расчет мелькнувшей передо мною чрезвычайно выразительной картины, как я на своей лошади с произвольными станциями везу этот срам в розанах за пятнадцать верст, внимая суждению знатоков на каждом перекрестке, куда им заблагорассудится выбрести, — я не хотел никаким образом вступать в тесное сообщество любителей художества, коих это полотно связало связью столь крепкой, что и гробовая дверь ее не перерезала. Чтобы убедиться в своей догадке, я начал, что ежели речь идет о *долге чести*, я, несомненно, принимаю на себя все наследственные обязательства и готов теперь же... Почти ужас, выразившийся на его лице при этих словах, заставил меня свернуть на то, что ежели память дружбы (тут он утвердительно закивал головою) внушает ему, etc., то я, конечно, поступлюсь, etc., etc.; в завершение речи, которой внимал он с умиленьем, заставлявшим ревновать золотую рыбу, я с живейшим выраженьем признательности втер ему в подставленную ладонь красненькую ассигнацию (ей положительно суждено было быть ценой моих родственных связей), и сия последняя в нее впиталась, растворенная канцелярской секрецией.

Оставались еще некоторые незначительные дела; одни мы с ним решили, другие требовали участия лиц, отсутствовавших в этот день в селе; во всяком случае, это было не к спеху; лошадь отдохнула и была накормлена, и я тоже, насытившись этою гостьюю сполна, готов был ехать. Хозяин звал меня остаться на ужин, однако ж свидетельства радушия, им при этом оказываемые, подтолкнули меня убираться скорее: именно, он ухватил из граненой сахарницы порядочный кусок колотого сахара и, подлетев к аквариуму, булькнул его туда; привычная, как мне показалось, к этой методе дрессировки рыба брызгливо следила, как сахар растворяется в ее мутных

пажитях, придавая им сладость неизъяснимую, меж тем как Трешилов с приличным выраженьем помешивал в аквариуме мизинцем, чтобы ощущение во все углы разошлось. На мое недоумение (я не удержался) он отвечал с печальною улыбкою и несколько нараспев:

— Жизнь-то ведь у нас, Андрей Николаич, какая была! Ведь все своим трудом, своим хребтом, своим рачением! Уж коли не нам, так хоть им (он обращался к рыбе во множественном числе, присчитывая, видимо, и тех, что украсили своими латинскими названиями его ихтиологический синодик), хоть им пусть будет утешение!

Спрашивать его, заключается ли это в немецких рекомендациях или диктуется отечественным опытом поощрения пресноводных, я не стал, но постарался уехать от Трешилова прежде, нежели он начнет сбывать в аквариум оставшиеся щи. Я устал и был раздражен; в моей поездке было больше усилий, нежели смысла, а от сознания, что не все, пусть мелкие, дела завершены и что придется при случае ехать сюда снова, у меня совсем испортилось настроение. Я простился с Трешиловым и содержимым его остроумного жилища и выехал со двора. Базарная площадь уже опустела; две бабы лениво ругались там, но так издалека, что им приходилось все время переспрашивать друг друга. Утомленный этим бестолковым днем, я намерен был попасть домой без промедления. Все те места, куда могла по обычаю заезжать моя лошадь, закрылись на ночь и насчет греха никаких попущений не предоставляли.

Я ехал в безлюдных полях. Солнце садилось. Вдруг с удивлением я почувствовал, что лошадь снова замедляет рысь против того дерева, которое заставила меня созерцать по дороге в Селитвино. Я приударил ее, но она мотнула пестрой гривой и стала. Я смотрел на тлеющую при дороге руину, в сумерках ничего не потерявшую из своего безобразия. В нетерпении я понукал лошадь, но она словно чего-то ждала, досадливо отмахиваясь от меня ушами. Несколько минут кануло в безмолвии, нарушаемом лишь ее фырканьем, и вот в недрах дерева что-то завозилось, подпрыгнуло, и из сардонически кривящегося рта, которым обращался к нам омертвельный ствол, выскочил какой-то пернатый ком, доселе скрывавшийся в гнилых глубинах, растворил широкие крылья и тяжело поднялся на воздух, устремившись в пустынные поля, откуда его присутствие возвестилось уснувшему пространству высоким, унылым клетком.

Я соскочил с лошади и, задыхаясь от злости и волнения, быстро пошел, спотыкаясь в темноте на неровной дороге, в ту сторону, где был наш дом и где на потемневшем горизонте замерцала уже показавшаяся Венера. Вскоре услышал я позади тяжелый топот. Лошадь меня нагоняла.



Игорь ЦАРЬВ

ЛИХОБОРЫ

* * *

... Так важно иногда, так нужно,
Подошвы оторвав натужно
От повседневной шелухи,
Недужной ночью с другом лепшим
Под фонарем полуослепшим
Читать мятежные стихи,
Хмелея и сжигая глотку,
Катать во рту, как злую водку,
Слова, что тем и хороши,
Что в них — ни фальши, ни апломба,
Лишь сердца сорванная пломба
С неуспокоенной души...

ТОБОЛ

На Тоболе край соболий, а не купишь воротник.
Заболоченное поле, заколоченный рудник...
Но, гляди-ка, выживают, лиху воли не дают,
Бабы что-то вышивают, мужики на что-то пьют.

Допотопная дрезина. Керосиновый дымок.
На пробое магазина зацелованный замок.
У крыльца в кирзовых чунях три угрюмых варнака —
Два праправнука Кучума и потомок Ермака.

Без копеечки в кармане ждут завмага чуть дыша:
Иногда ведь тетя Маня похмеляет без гроша!
Кто рискнет такую веру развенчать и низвести,
Тот не мерил эту меру и не пробовал нести.

Вымыл дождь со дна овражка всю историю к ногам:
Комиссарскую фуражку да колчаковский наган...
А поодаль ржавой цацкой — арестантская баржа,
Что еще при власти царской не дошла до Иртыша...



Ну, и хватит о Тоболе и сибирском кураже.
Кто наелся здешней воли, не изменится уже.
Вот и снова стыннут реки, осыпается листва
Даже в двадцать первом веке от Христова Рождества.

ГОРОД

Этот стреляный город, ученый, крученный, копченный,
Всякой краскою мазан — и красной, и белой, и черной,
И на веки веков обрученный с надеждой небесной,
Он и бездна сама, и спасительный мостик над бездной.

Здесь живут мудрецы и купцы, и глупцы и схоласты,
И мы тоже однажды явились — юны и скуласты.
И смеялся над нашим нахальством сиятельный город,
Леденящую змейкой дождя заползая за ворот.

Сколько раз мы его проклинали и снова прощали,
Сообща с ним нищали и вновь обрастали вещами,
И топтали его, горделиво задрав подбородок,
И душой прикипали к асфальту его сковородок...

Но слепая судьба по живому безжалостно режет,
И мелодии века все больше похожи на скрежет,
И все громче ночные вороны горланят картаво,
Подводя на соседнем погосте итоги квартала...

Ах, какая компания снова сошлась за рекою,
И с туманного берега весело машет рукою...
Закупить бы «пивка для рывка» и с земными дарами
Оторваться к ушедшим друзьям проходными дворами...

Этот стреляный город бессмертен, а значит, бесстрашен.
И двуглавые тени с высот государевых башен
Снисходительно смотрят, как говором дальних провинций
Прорастают в столице другие певцы и провидцы.

КЕРОСИНОВАЯ ЛАМПА

День вчерашний за спиною, как соседи за стеною.
То ли тучи надо мною, то ли дым под потолком...
А душа саднит и ноет непонятною виною
И чернеет, словно ноготь, перебитый молотком.
Я лафитничком граненым муху пьяную накрою —
Пусть крылатая подруга отсыпается пока.
И ореховую трубку с мелкорубленной махрою
Для душевного настроения раскурю от фитилька.
Мне ночная непогода бьет в окно еловой лапой.
Двадцать первый век, а в доме электричество чудит!
Слава Богу, Ее Светлость Керосиновая Лампа,
Как наследство родовое, добросовестно чадит.
Ах, бывшее удалое, гужевое, дрожжевое,
Столько страхов претерпело, столько бед перемогло,
А, гляди-ка, ретивое, до сих пор еще живое
И следит за мною через закопченное стекло.



И смиряются ненастья перед связью роковой.
Три минуты до рассвета. Воздух влажен и свинцов.
Старый дом плывет по лету над землею и травюю.
И росинки, как кровинки, тихо катятся с венцов.

БРОДЯГА И БРОДСКИЙ

Вида серого, мятого и неброского,
Проходя вагоны походкой шаткою,
Попрошайка шпарит на память Бродского,
Утирая губы дырявой шапкою.

В нем стихов, наверное, тонны, залежи,
Да, ему студентов учить бы в Принстоне!
Но мажором станешь не при вокзале же,
Не отчалишь в Принстон от этой пристани.

Бог послал за день только хвостик ливерной,
И в глаза тоску вперемешку с немочью...
Свой карман ему на ладони вывернув,
Я нашел всего-то с червонец мелочью.

Он с утра, конечно же, принял лишнего,
И небрит, и профиля не медального...
Возлюби, попробуй, такого ближнего,
И пойми, пожалуй, такого дальнего!

Вот идет он, пьяненький, в драном валенке,
Намешав ерша, словно ртути к олову,
Но при всем при том не такой и маленький,
Если целый мир уместился в голову.

Электричка мчится, качая креслица,
Контролеры лают, но не кусаются,
И вослед бродяге старухи крестятся:
Ты гляди, он пола-то не касается!..

АНГЕЛИЗ ЧЕРТАНОВО

Солнце злилось и билось оземь,
Никого не щадя в запале.
А когда объявилась осень,
У планеты бока запали,
Птицы к югу подбили клинья,
Откричали им вслед подранки,
И за мной по раскисшей глине
Увязался ничейный ангел.

Для других и не виден вроде,
Полсловца не сказав за месяц,
Он повсюду за мною бродит,
Грязь босыми ногами месит.
А в груди его хрип да комья —
Так простыл на земном граните...
И кошу на него зрачком я:
Поберег бы себя, Хранитель!



Что забыл ты в чужих пределах?
 Что тебе не леталось в стае?
 Или ты для какого дела
 Небесами ко мне приставлен?
 Не ходил бы за мной пока ты,
 Без того на ногах короста,
 И бока у Земли покаты,
 Оступиться на ней так просто.

Приготовит зима опару,
 Напечет ледяных оладий,
 И тогда нас уже на пару
 Твой начальник к себе наладит...
 А пока подходи поближе,
 Вот скамейка — садись да пей-ка!
 Это все, если хочешь выжить —
 Весь секрет как одна копейка.

И не думай, что ты особый,
 Подкопченный в святом кадиле.
 Тут покруче тебя особы
 Под терновым венцом ходили.
 Мир устроен не так нелепо,
 Как нам чудится в дни печали,
 Ведь земля — это то же небо,
 Только в самом его начале.

СКРИПАЧКА

Две чашки кофе, булка с джемом —
 За целый вечер весь навар,
 Но в состоянии блаженном
 У входа на Цветной бульвар,
 Повидлом губы перепачкав
 И не смущенная ничуть,
 Зеленоглазая скрипачка
 Склонила голову к плечу.

Потертый гриф не от Гварнери,
 Но так хозяйка хороша,
 Что и в мосторговской фанере
 Вдруг просыпается душа,
 И огоньком ее прелюдий
 Так освещается житье,
 Что не толпа уже, а люди
 Стоят и слушают её...

Хиппушка, рыжая пацанка,
 Еще незрелая лоза,
 Но эта гордая осанка,
 Но эти чертики в глазах!
 Куриный бог на тонкой нитке
 У сердца отбивает такт,
 И музыка Альфреда Шнитке
 Пугающе бездонна так...

ИЕРОНИМ

Съели сумерки резьбу, украшавшую избу.
Звезды выступили в небе, как испарина на лбу.
Здесь живет Иероним — и наивен, и раним.
Деревенский сочинитель... Боже, смилуйся над ним!
Бьется строф ночная рать... Сколько силы ни потрать,
Все равно родня отправит на растоп его тетрадь.
Все награда для творца — синяки на пол-лица,
Но словцо к словцу приладит и на сердце звон-ни-ца...
На печи поет сверчок, у свечи оплыл бочок —
Все детали подмечает деревенский дурачок:
Он своих чернильных пчел прочим пчелам предпочел,
Пишет — будто горьким медом... Кто б еще его прочел.

ЛИХОБОРЫ

В Лихоборах, в Лихоборах
Тополиный пух как порох —
Искру высеки!
Но проходят дни негромко,
Словно здесь у жизни кромка
Или выселки.
И деревья за домами —
Будто долго их ломали
Или комкали...
И старухи из оконцев
Сверлят взглядом незнакомцев
С незнакомками...
Всё под боком или рядом,
Под надзором и приглядом —
Во спасение!
Лишь качнется где-то ветка,
А уже несет разведка
Донесение.
Знает каждый в Лихоборах
С кем гуляет дядя Борух,
Нос горбинкою.
Он у фельдшера ночует,
А она его врачует
Аскорбинкою.
Он приходит пьяный в стельку,
А она его в постельку —
Пух да перышки.
Все перины и подушки
Её сирой комнатухи
Лишь для Борухи!
Столько боли на подоле...
Не скупа ты, бабья доля,
Непогожая!
Опустила руки грузно
И глядит с иконки грустно
Матерь Божия.

Ким БАЛКОВ

БАЛАЛАЙКА

Р а с с к а з

Что там ни говори, а балалайка по нынешним временам — вещь крайне редкая. Это вам не гитара, бренчать на которой дозволено даже тем, кому в младенческом возрасте медведь наступил на ухо. Ну не могут они спокойно пройти мимо того места, где лежит гитара, им надо непременно взять ее в руки и с маху ударить по струнам. А там — хоть трава не расти!

У Платоши Загорулькина была балалайка. Осталась от отца. А было так. Лежал Загорулкин-старший в люльке, малец мальцом, и кричал не приведи как люто, на дальних подворьях слышно было. Сие звонкоголосье не унималось и день, и два... На поселье люди пришли в смущение: «С чего бы ребенок так разорался?.. Что как нутряным зреньем углядел худое, напасть какую?..» Многие в те поры, поддавшись опаске, украдливо крестясь, стороной обходили избу, откуда доносился младенческий крик. Не знаю, чем бы все кончилось, но через седмицу детский плач пошел на убыль, а потом и вовсе затих. Ребенок успокоился, когда в его изголовье положили балалайку, невесть кем принесенную в избу Парфена Загорулькина. Одно было ясно: не кем-то из соседей и не духом моря — Байкал-батюшка в те поры покрылся толстым льдом, а каждому живущему в Подлесье ведомо, что дух его в это время года отлетает на Ушканьи острова, там и подремывает всю зиму. Тогда кто же, если не Байкал-батюшка? Может статься, леший... Он любит почудить, выкинуть такую разъедрень. Но старики не согласились; поразмышляв, решили:

— Кому ишо и расстараться, как не божьему ангелу? Видать, поглядел-поглядел на пацаненка, да и сварганил из воздушных нитей легкую, как пушинка, розовощекую балалайку.

Мальцу по душе пришлась балалайка, и он все смотрел на нее, смотрел, а то и норовил дотянуться до нее пухлой ручкой. И уж не кричал, если даже что-то не глянулось. Теперь уж и родители могли оставить свое чадо без присмотра в избе, не боясь, что тот изойдет криком: клали ему в изголовье балалайку и шли по делам. Надо сказать, они сразу поверили, что балалайку принес в избу ангел. Непонятно только, для чего... В их роду никто не увлекался игрой на музыкальных инструментах. Надо быть, тут произошла ошибка. По первости так и подумали, но время годя начисто запамятовали про это. И уж не удивлялись, не спрашивали друг у друга, с какой прыги пацан, подросши, стал бренчать на балалайке... И, видать, что-то получалось, отчего, когда вошел в лета, его начали зазывать на молодежные ли вечеринки, а те и теперь изредка случались в неотопливаемом клубе, иль на гулеванья в деревенские



избы. Бывало, отца Платоши приглашали в райцентр — и там он умел показать себя. Он будто бы сроднился с балалайкой, — такие концерты закатывал, мама родная!.. Плохо только, через эти концерты дюже пристрастился к водочке. Надо быть, она-то и свела его в могилу. Ну да у каждого своя судьба. И самому сноровистому не поменять в ней. . .

Платоша принял из отцовых рук балалайку, когда тот возлежал на смертном одре, и не то чтоб с большой охотой. Но как было отказать родному человеку, ежели тот на последнем издыхании сказал чуть слышно, *дроглым* голосом, с мольбой в искряно-синих глазах, уже тронутых смертной стыльостью, глядя на вихрастого рыже-голового сына, склонившегося над ним:

— То и передаю, что у меня есть. Другого ничего не нашол, сам знаешь.

Как не знать!.. Спасибо и за балалайку. Да и за избу. . . Есть куда голову преклонить. Впрочем, избу-то в свое время дед сварганил. Он тоже был человек веселого нрава. Почитай, почти всю жизнь провел в одноосной телеге, управляя гнедым ли, вороным ли конем, переезжая с пацанвой из одного поселья в другое. Не умел нигде обосноваться, да, кажется, и не стремился. Но годам к пятидесяти у него начали отказывать ноги. Это и вынудило осесть в Пыловке. Долго мучался бедолага, утратив возможность переезжать с места на место. Ну да что поделаешь, коль сил хватало чуть только повозиться на подворье, где к тому времени уже стояла старенькая изба, перенесенная с верхней улицы. Избу уступил председатель рыболовецкого колхоза, давний приятель Загорулькина, по бросовой цене. В свое время оба они в одной церковно-приходской школе учились, а потом воевали под началом Рокоссовского. При встрече толковали об этом и о многом другом, запавшем в душу. Глянулись друг другу, хотя и были не сходны характерами. Председатель-то был человек основательный, а Платошин дед мог бы про себя сказать: «А че я?.. Я как перекасти-поле: оно вроде бы никому не надобно, ан нет, худо в степу без ейного. Тоскливо. Как ежели б чего-то не хватат».

Платоша, хотя и не сразу, приловчился к балалайке, но мог извлечь из нее только что-то грустное, нечаянно и для него самого выплеснувшееся из души. Все прочее, разудалое и лихое, не давалось, хотя и пытался поменять в себе. За это Платошу поругивали, говорили недовольно:

— Да на кой нам твоя тягомотина, от которой выть хочется? Не можешь подладиться под настроенье, передай балалайку другому. Иль не сыщутся умельцы? — И прибавляли, досадливо покачивая головами: — Далеко те до батяни. Куды там!.. Вот уж кто умел выдать на-гора — ноги сами рвались в пляс.

Платоша не спорил, хотя и был не согласен с теми, кто ловчил сбить его с притыку. Уж потом, приходя домой, отводил душу, жалуясь рыжему одряхлевшему псу со слезящимися глазами:

— Понимаешь, Шурик. . . — Пса так батяня назвал. С чего бы?.. Надо полагать, из-за веселого, любящего шутку, нрава. Кликуха закрепилась за собакой. — Понимаешь, Шурик, все думают, что на балалайке можно отчебучить чего угодно. Видать, батяня приучил их к этому. И как ему удавалось выделывать разные коленца, ума не приложу!.. Я так не умею, да и считаю, балалайка не для того дадена, а чтоб сказывать про то, что гнетет душу иль манит в дали смутные. Иль я не прав?..

Платоша и на это раз не обошел вниманием старого пса, так посмотрел на него, точно бы ждал ответа. Не дождавшись, потрепал по загривку, и тот, довольный лаской, тихонько заскулил и преданно, с какой-то даже жалостью, про которую, наверно, и сам едва догадывался, поглядел на хозяина. Тому это было в жилу, он как бы даже взбодрился и попытался отогнать душевную колготу. А она случилась оттого что в очередной раз не нашел общего языка с жителями Подлеморья. И все почему?.. Не успел Платоша выйти на улочку с балалайкой в руках, теперь уже крепко сбитый, коренастый мужик лет сорока пяти с длинным смуглым лицом и со слегка поседелой кучерявой головой, тут же к нему подступили сверстники, а чуть погодя и длинноногие юнцы с круглыми бычачьими глазами, и сходу потребовали:



— А ну-ка, Платоша, сбациай чего ни то!..

Он грустно вздохнул и сказал устало:

— А ну вас! Отчепитесь!.. Балалайка не для гулеваний, ей чего-то другого хочется. А чего — сам пока не пойму.

Но его не захотели слушать, наверное, еще и потому, что не умел он наводить тень на плетень, во всякую пору как бы смущенный нечаянной удачей — еще бы, ведь он с балалайкой, она и подсобляет в тяжелые для него минуты; у других и того нету, не с кем им отвести душу, — ну как сердиться на них...

Кое-кто считал, что это у Платоши не от отца и не от матери, те умели постоять за себя. Коль выпадала нужда, могли послать и самого настырного куда подальше, из-за чего случались нелады с соседями. Но Загорулькиным все прощали. Стоило Платошиному отцу появляться на улочке с балалайкой да об руку с супружницей, как тут же подле них собиралась толпа. Знали, Загорулькин не подкачает, заставит посмотреть на мир легко и без обиды даже сомневающегося. Веселый был человек! Тож и супружница его, жила как птаха, ни о чем не печалась, уверовав: будет день — будет пища. Но после смерти мужа заскучала и через пару лет отошла в мир иной. Напоследок сказала:

— А ты живи, малой. И бога радуй!.. Не вгоняй себя в печаль. Худо, грешно — предаваться унынию!

Но где там! После смерти родителей Платоша места себе не находил, неприкаянно слонялся по улочкам ли, по дому ли, вдруг ставшему большим и холодным, вздрагивал, коль скоро во дворе скрипнула калитка, прилипал к оконному стеклу длинным плоским носом. Все-то мнилось: «А может, то батяня с матушкой вернулись? Не поглянулось на том свете, скучно больно, — вот и решились на такой шаг». Понимал, смешно думать так, однако долго пребывал не в своей тарелке. Может статья, Платоша еще не скоро взял бы себя в руки, когда б однажды на подгнившем порожке избы, поставленной в изножье высоченного черного гольца, не появился худой и рослый человек в желтом халате и в стоптанных ичихах и не постучал бы в дверь... У него были узкие черные глаза, глядевшие внимательно и строго. Платоша смущенно крикнул, пропуская гостя в избу, намеревался сказать что-то, но ничего не сказал: слова, едва родившись, застряли в горле, и никаким макарон не было заставить их подчиниться. Платоша разом обессилел. Стоило немалого труда проводить гостя в горницу, а потом пойти на кухню и заварить чаю.

Что же с ним стряслось?.. Наваждение какое-то, да не из тех, что, однажды возникнув, тут же пропадает, — это наваждение имело другое свойство, жесткое и колючее, напоминающее тень белоглового орлана, зависшую над морской гладью. Тень маячила перед ним и не проявляла желаний отступить, раствориться в пространстве. К тому ж сердито нашептывала что-то. Впрочем, не сказать, что именно...

Платоша через какое-то время заглянул в горницу, пребывая в прежнем смятении, но теперь уже не угнетающем, а вроде бы подталкивающим к чему-то в себе самом. Гость меж тем прошел в передний угол, где на широкой подставе стояли слегка посеребренные образа, а чуть поодаль от них на тонком изжелта-белом ремешке висела балалайка, слегка помедлив, взял ее в руки и, что-то тихонько пробормотав, тронул струны длинными желтыми пальцами. Платоше почему-то сделалось неприятно. Подумал: «Ишь ты, сразу потянулся к чужой вещице, не испросив дозволения. Тоже мне... Кто он такой?»

Нежданный гость, точно бы уловив ход мыслей хозяина избы, обернулся к нему и сказал легко и неупористо, как если бы о чем-то свычном с его натурой:

— Я буддистский монах. С Тибета. Враг пришел на нашу землю, разорил монастырь, а служителей истины разогнал. Многие из них покинули страну. Вот и я теперь хожу по чужбине, желая понять что-то и в ней. Но, правду сказать, мало чего понял.

Помедлил и с пушей грустью глянул на Платошу, обронив, заметно понизив голос и все так же бережно кончиками пальцев держа балалайку:



— Может, учитель прав, и не во все, что встречается на пути, надобно вникать?.. Иль сознание, живущее во мне, беспредельно? Да нет, пожалуй. Ему не вместить всего-то...

Платоша со слабым, едва ощутимым напрягом, который вроде бы даже шел не от него самого, а откуда-то свыше, выслушал монаха и хотел что-то сказать, но опять не смог исполнить своего намерения, досадливо поморщившись. Монах, видать, почувствовал неуют в душе у Загорулькина и, чтобы не смущать его, опустил глаза; и долго стоял так, а потом, не подымая глаз, с легкой хрипотцой в голосе спросил:

— Твоя? Играешь на ней?.. Я еще не видел такого инструмента. Похожа на хур... Что это?

— Балалайка, — почему-то заволновавшись, сказал Платоша. Но уже через минуту он почувствовал, как что-то сдвинулось в нем. Обрадовался перемене, которая совершилась, как ни странно, независимо от него и позволила ощутить некую уверенность. Он еще о чем-то сказал, но монах, сосредоточив внимание на диковинном для него музыкальном инструменте, не услышал, а чуть погодя внешне вяло повторял следом за Платошей:

— Балалайка... — и легонько коснулся ее струн.

Послышался тихий и мягкий, точно бы едва очнувшийся от долгой дремоты звук. Чуть погодя еще один. И еще... И уж когда тот, последний, пребывал на угасании, ни для кого не оскорбительном, в том числе и для балалайки, как бы обретшей живую плоть, во всяком случае, так помнилось Платоше, приспел черед чему-то и вовсе не свойственному для балалаечного звучанию. В том уловилось нечто сладостное и томительное, влекущее, может статься, в те миры, где никто еще не был, но желал бы там быть и самый слабый на земле. Может, как раз он-то — в первую очередь...

Платоша опять сделался неспокоен и со все возрастающим волнением следил за движением рук монаха, нечаянно (как же еще-то?) забредшего в его избу. Седоголовый, с тщательно выбритыми желтыми щеками, длинноногий монах по-прежнему стоял в переднем углу подле иконостаса и чуть только дотрагивался пальцами до туго натянутых тонких струн. «Чудно, однако, — подумал Платоша. — Он вроде бы не прилагает усилий, а балалайка послушно и даже с удовольствием отзывается на зов его рук. Что бы это значило?..» Мог бы спросить у монаха, но не захотел обламывать хрупкости в его душе. Почувствовал, тот нынче далеко отсюда... и ему вовсе не хочется возвращаться в ближний мир.

— Ты прав, я теперь нахожусь на распутье, — время спустя сказал монах. — И не знаю, что будет со мной уже завтра: обрету утраченный покой и сделаюсь нужным хотя бы малым птицам иль так и пребуду никому не надобный, не сумею сойти с тропы страданий.

— Ты забрел в мою избу по какой-то надобности? — чуть погодя спросил Платоша.

— Не знаю, — вздохнул монах. — Я нынче многого, что совершается возле меня, да и во мне самом, не знаю. Хотя, наверно, мог бы зайти куда-то еще. А может, и не мог. Иль происходящее с человеком подвластно его воле?.. Я так не считаю. Все, что было во мне, когда меня не было на земле, проснувшись, подвело к какой-то черте. А что если она оставила метину и в твоём жилище?..

Все было смутно, ни в какую сторону не подталкиваемо чувствами, словно бы те застыли в глухом недвижении. Платоша не понимал, отчего на сердце то захолонет, то опустит, то повлечет к чему-то дальнему, о чем он в прежние леты и не помышлял даже, а вот теперь, глядя на буддистского монаха, который сбился с тропы и вряд ли снова ступит на нее, задумался — и уже в который раз ощутил на сердце беспокойство. Ему стало жаль нежданного гостя, захотелось сказать ему что-то ласковое, но надобные слова подзатерялись, не давались даже те, что приходили в голову. И тут он услышал, как монах сказал:



— Не надо слов. Зачем?.. Они непостоянны и поверхностны, не подчиняемы никому в мире.

И только теперь до Платоши дошло, что гость читает чужие мысли. И что-то сходное со смущением обозначилось в его сердечном состоянии, но не так, чтобы потревожить, напротив, ему сделалось приятно, что такой, с какой стороны ни глянь, удивительный человек посетил его.

Платоша скипятил чайник и позвал гостя, и тот долго не мешкал.

Они сидели за круглым кухонным столом и пили курильский чай, настоящий на пахучих таежных травах, когда послышалась мягкая и дивно прозрачная мелодия, как если бы она была одного корня с родниковой водой, днями пробившейся из-под ближней к поселю скалы, и еще не остудила в себе нутряного земного тепла, томив своей невысказанностью.

— Вот-вот, — сказал монах, слегка отодвинув чашку с недопитым чаем. — Я потому и забрел в твое жилище, а не в чье-то еще, что уловил эту мелодию.

Платоша, заволновавшись, спросил не сразу:

— Ты думаешь, моя балалайка издавала ту мелодию?

— Не думаю — знаю.

— Но ведь я давно не прикасался к струнам, — медленно, постепенно обретая в душе нечто сладостное, а с ним вместе и томительное, сказал Платоша.

— И в балалайке есть душа, она поет и притягивает к себе. Вот и меня приманила. Помогла встретить человека, не потерявшего ясности в мыслях и неподверженности злу, в изобилии бродящему по земле.

Он помолчал, закрыв глаза, и, как бы прислушиваясь к себе, сказал:

— Я увидел тебя, когда молился в монастырской келье. Тогда же решил, что обязательно отыщу твое жилище. Ты доволен, что я пришел?..

— Еще как!.. — поспешно выдохнул Платоша. — Только не пойму, как можно увидеть того, с кем ни разу не встречался?..

— Все в мире взаимосвязано. Промеж живых существ, будь то лесные птахи иль люди, протянуто множество нитей, на которых держится жизнь. Оборви их — и ничего на земле не останется, засохнет и слабая, ни к чему не обращенная травка.

Платоша почувствовал, как в нем что-то стронулось, уступая дорогу чему-то прежде не знакомому, скорбному, облитому дивным светом, невесть откуда сошедшим и все в нем обогревшим. Господи, как хорошо!.. Как хорошо, что он не один на здешней земле! А ведь совсем недавно, когда ушла жена, сказав напоследок, что ей не по пути с ним, безродным и ни к чему не приспособленным: «Надо полагать, кончишь ты, как и твои непутевые родители», — ему было ужасно плохо, все-то валилось из рук, измучивала мысль, что он и впрямь никому не нужен. Да и неправду ль про родителей сказала она? Конечно же, правду... Родители Платоши были непутевыми. Жили, ни о чем не заботясь и удовлетворяясь тем малым, что имели, не прилагая и слабого усилия, чтоб поменять свою жизнь. Потому и оставили сыну лишь хилое, мало на что пригодное подворье, где разве что картошку и посадишь на камнях... да балалайку, про которую жена говорила, что у нее нет голоса. «Не здря, — говорила она, — тебя нынче и на погулянки перестали зазывать».

Верно, перестали, но не потому что балалайка потеряла голос. Нет, конечно. Тут Платоша сам виноват. Не захотел идти на поводу у загулявшего люда, который всякий раз требовал развеселой музыки, чтоб ноги сами в пляс пускались. «А ежели мне не хочется? Ежели у меня на сердце тоскливо?.. Что же, ломать в себе? Да сколько ж можно!.. От этого у кого хошь крыша поедет». Надо быть, поехала она и у Платоши. А иначе почему бы расхотелось ему равняться на родимого папаню, кого не однажды ставили в пример: «Пошто ты кислый такой?.. Вона, батяня-то твой...»

Платоша не всегда умел постоять за себя, а тут уперся, и всякого рода зазывалы вынуждены были поворачивать оглобли, столкнувшись с его упрямством. Сие упрямство, надо сказать, дорого обошлось Загорулькину: через день-другой со стола у него исчез даже черный хлеб. Да и откуда бы ему взяться — уже давненько Платоша



сидел без работы. Раньше-то тем и пробавлялся, что приносил с погулянок. Правда, иногда приглашали и на обережные работы — это в те поры, когда приходили сетевые лодки, изрядно нагруженные рыбой. Он тогда с утра до ночи возился с сетями, зачищал их и ставил на просушку...

Платоша не знал, что ждет его впереди, сумеет ли уцепиться за жизнь... А если нет?.. Хотя и был легкомыслен, а и он нет-нет да и задавался этим вопросом. И не находил ответа, но не больно-то огорчался. Иль он один такой?.. Много нынче бродит по Подлеморью людей, ни к чему не приставленных. Может, кто-нибудь однажды вспомнит и про них... и подсобит. А тогда приспееет и его черед... Но сказать, что он верил в кого-то, хотя бы в ту же власть — сказать неправду. Его надежда не имела ничего общего с жизнью. Она представляла собой нечто сотканное из видений. Впрочем, не угадать было, о чем те говорили ему. Но, скорее, ни о чем таком, что можно взять в руки и потрогать.

Ближе к полудню Платоша и монах пошли к морю. Долго сидели на берегу у горбоносого Черного камня на мягком мелком песке и говорили, разом утратив опаску, привычную при встрече с незнакомым человеком. А Байкал-батюшка пошумливал, и круторогие волны легко и весело накатывали на берег, и заполошно кричали белогрудые чайки, и светило подслеповатое солнце, синюшное в предосеннюю пору, словно бы даже слегка поостывшее. Случалось, монах легонько прикасался к струнам балалайки, которую не захотел оставить в избе, и тогда звучала тихая, чуть только соприкасаемая с ближним пространством мелодия. Казалось, ее слушали не только эти двое, но и чахлые березки, с трудом уцепившиеся за каменистую землю, и хотя бы на время утрачивали отчетливо зримую в них обреченность, взбодрялись, живой тянулись к высокому небу, уже вызывая у Платоши не жалость, а что-то другое, лишь внешне сходное с нею, что-то притягательное и нежное. Все вокруг озарялось бледно-синим нездешним светом, который не был рождаем солнцем, а точно бы существовал рядом с ним, независимый и гордый. Даже гомонливые чайки заметно попритихли, не желая поломать дивную мелодию; спокойней и неторопливей сделалось их кружение над присмирившим морем. То же произошло и с белоголовым орланом — он уже не рассекал воздух длинными сильными крыльями, а распустил их и бесшумно парил в небесном пространстве.

Платоше никогда не было так легко на сердце, как нынче. А может, он чего-то не помнил... Ведь забывалось не только худое, но и хорошее. Казалось бы, ему-то куда поспешать?.. И ладно было бы, когда б сохранялось в сердце. Ан нет, и хорошее уходило со временем.

Уж когда густой вечерний сумерек, опустившись с длинной зеленоглавой скалы, затянул ближний лесной околоток, монах поднялся с земли, после чего, нагнувшись, зачем-то оглядел свои худые длинные ноги и сказал, выпрямившись, не то с огорчением, не то с пониманием того, что иначе и не может быть:

— Не все одобряют твою встречу со мной. Иные скажут: «Зачем ты открыл перед ним сердце, ведь он другой веры...» И ты окунешься в смущение. Но оно будет недолгим. Нечто живущее в тебе подтолкнет к мысли: «Да, вера у нас разная. Но ведь вера — это только оболочка. А бог един для всех».

Низкорослая, обильно заселенная мелкими деревцами, густо-коричневая рошица пересекла тропу. Рошица протянулась версты на три в ту и другую сторону. И ее надо было пройти, чтоб оказаться на околице поселя, где стояла невидная, чуть скособоченная Платошина изба. Тропу тут сплошь завалило опавшими, хрустящими под ногами желтокрылыми листьями. И Платоша, чтоб не сбиться с нее, часто останавливался, со вниманием осматривал землю, бывало, раздвигал руками сухожильные листья, порою едва ли помня про гостя. К тому же в голове проносились чудные мысли, прежде и вовсе не волновавшие, а теперь крепко взявшие в полон, от которого не хотелось избавиться. И даже больше, он страсть как боялся, что так случится, — и как же тогда жить?.. В какой-то момент он обратил внимание на то, что балалайка висит у него на плече. Странно, он не помнил, когда взял ее у монаха.



Оглянулся в поисках гостя — не увидел его... и растерялся. Вроде бы только что тот был рядом, а теперь нет. «Неужто приотстал и сбился с тропы?.. Как же так... Я ведь слышал спокойное и ровное дыхание гостя, ощущал его слегка запинаящийся шаг. Куда же он подевался?..»

Платоша недолго пребывал в недоумении. Собравшись с духом, крикнул:

— Эй, ты где?!..

Огорченно подумал, что не узнал, как зовут монаха. И опять крикнул:

— Эй, ты где?!..

Никто не ответил, тогда Платоша повернул назад. Обратного пути было легче. Он подошел к морю. Теперь, когда сумерек загустел, а с узкого змеевидного распадка потянуло хлестким занозистым ветром, море взволновалось, покрылось розово-лилой морщью. Платоша спустился к тому месту, где сидел с монахом на теплом песке. Но и там никого не было. И только тоскливо поскрипывали хилые березки, утратившие недавнюю легкость и безмятежную обращенность к высокому небу. И странная — а какая же еще? — мысль посетила Загоруйкина. Вдруг вспомнилось, что никто не заходил к нему в избу ранним утром, и он придумал, будто де некий монах, отвлекшись от странствий по Подлеморью, гостевал на отчем подворье, но тут же оборвал себя: «Гю, померещится же!.. Иль я вовсе не в своем уме?..»

Платоша до глубокой ночи бродил по зернисто-желтому морскому берегу, надеясь повстречать монаха. Но так и не встретил. И напряг все в себе, стараясь понять, куда подевался гость? Не мог же он вознестись на небо иль опуститься на дно Байкала. Отчего бы вдруг?.. Но тогда где же он?..

Не день и не два Платоша ждал, что откроется дверь и на пороге вырастет худая и долговязая фигура буддистского монаха. А когда устал ждать, взял в руки балалайку и коснулся туго натянутых серебряных струн тяжелыми с утра, вяловатыми пальцами. И тотчас раздался звук, удивительно сходный с теми, которые умел извлечь из балалайки буддистский монах. Платоша приободрился, откинул назад ершистую копну рыжих волос, обнажая высокий, в мелких щербатинах, слегка загорелый лоб. Давно собирался сходить к соседу, который наострил стричь мужиков, да как-то не вышло: то желания не было, то мешало что-то.

Платоша вышел на низенькое крыльцо, с непонятной для него робостью держа в руках балалайку, боясь неловким движением потревожить дух, который жил в ней. И откуда приспела такая уверенность, но она приспела и не выказывала желания покинуть его.

Платоша присел на скрипнувшую под ним крылечную приступку, чуть тронул балалаечные струны и прислушался, чувствуя напряг в теле. Но опасения оказались напрасны: балалайка зазвучала так, как и хотел бы, чтоб зазвучала.

Платоша, увлекшись мелодией, которая рождалась под руками, начисто запамятовал про все на свете, даже и про то, что надо бы, как делал всю последнюю седмицу, нынче сходить в березовую рощицу и поискать следы пребывания буддистского монаха, не понимая даже, для чего это надо. И малого напоминания о монахе не осталось, как если бы он никогда и не был там. Но почему же? Почему?.. Как же запутано — и не только в мыслях, а и в том, к чему прикасался руками или видел собственными глазами. Взять, к примеру, балалайку, которая будто бы поменялась, сделалась на удивление податлива: стоило только провести рукой по струнам, как рождалась дивная мелодия, про которую хотел бы думать, что принадлежит она ему. Но ведь это не так. Сознание подсказывало, что не так. И принадлежала она, может стать, даже не самой балалайке, а душе, что отыскала в ней пристанище, и теперь была вполне довольна своим существованием. Платоша почувствовал это по легкому, едва ли не прозрачному трепету, который отвеивался от струн, выстраивающих мелодию. И то еще удивительно, что ее и запоминать не надо: она словно бы рождена и в твоей душе тоже... Так-то!.. Точно бы диковинная мелодия исходила от двух существ. Платоша так и сказал, порадовавшись не новизне слова, сорвавшегося с уст, а тому, что задумался про нечто такое, к чему раньше не испытывал и малой



тяги. Чудно!.. Он вроде бы тот же, каким был и в прошлогодье, не больно-то укладный, все ж не последний в мужеском ряду, кое о чем смыслящий, хотя это еще никому не понадобилось, как и ему самому. Но в чем-то уже не тот: что-то стронулось в душе, отчего та стала пуще прежнего восприимчива к тому, что зависало над нею, подобно небесной благодати, зримой людьми. Но, может, вовсе не ими, а кем-то еще, невидимым, но создаваемым теми, кто открыт божьему миру. И да воссияет в их душах и подвинет к свету!..

После того как Платоша перестал ходить на погулянки, отказывая даже симпатичным ему людям, он все больше пропадал на берегу моря. Отыскивал утайное местечко в затишке, подальше от стороннего глаза, и просиживал тут с утра до позднего вечера, передергивая балалаечные струны и блаженно улыбаясь. Жизнь его изрядно победняла. Теперь на кухонном столе редко когда появлялось что-то кроме буханки серого хлеба. Вот именно, не белого и не черного, а серого, купленного у проводников «Матани» за двадцать четыре рубля. Правда, изредка на Платошином столе можно было увидеть и кое-что по мелочи: редиску или пучок зеленого лука. Огородец-то какой-никакой имелся, шибко заросший жестким кустарником. Платоша пробовал бороться с ним, но тот оказался настырен: его в одном месте выдерешь, а он через день-другой проклянется по соседству. Беда как живуч!

Да, туговато жилось Платоше, но он не унывал, говоря легко: «Кому-то, может, еще хуже... Ниче, потерпим!..» Плохо только, все чаще стал вспоминать про хлеб, что пекали на колхозной пекарне. Мягкий да пахучий, сам в рот просился. Не то что нынешний, который через день делался чурка чуркой, ставленной на попа возле поленицы, — сладишь с ним, лишь прибегнув к помощи топора. Казалось бы, откуда в рыболовецком колхозе взяться муке, чтоб печь хлеб хотя бы и для собственных нужд?.. Ан нет, мужики умудрялись засеять полоску-другую на байкальском побережье, дивно заселенном чепурой.

Не унывал Платоша, успокаивало и то, что кое-кто в поселье помнил о нем, звал подсобить в каком-либо деле и по-людски, где рыбкой, а где и спелыми огурцами или желтобокими помидорами, расплачивался с ним.

Платоша думал, что жить теперь можно еще и потому, что отцовская балалайка, приученная лишь издавать шальные, сумасшедшие звуки, настрополяя слушателей к еще пушему гулеванью, вдруг (хотя... почему же вдруг, — Платоша уже давно ждал от нее чего-то незнаемого, радующего сердце) обрела другой голос. И он так прикипел к нему, что иной раз, проснувшись посреди ночи, не мешкая, брал в руки балалайку. А потом долго не мог заснуть, дав волю воображению, которое рисовало картины, одну диковиннее другой. И не беда, что те ни к чему не приводили, исчезали так же неожиданно, как и появлялись. После них на сердце оставалось что-то умиротворяющее и грустное. Наверное, потому и грустное, что было неспособно поменять в жизни, подвинуть к чему-то светлому и чистому. Наверное, так оно и было, хотя Платоша ни к чему и не стремился, не чувствуя себя обойденным. Да и почто бы стал ломать в душе, коль скоро глянулось жить так, а не иначе?.. Правда, иной раз, когда приходил бывший однокашник Федька Пафнугтьев, косопалый и мордатый, во всякую пору лениво и как бы нехотя передвигающий толстые ноги, и говорил привычно вяло: «А ты все маешься дурью? Здря... Ить кое-кто приноровился к жизни и отхватил немалый кусок, теперь в ус не дует. Данька Хапенков уж кирзовые сапоги за обувку не примат, в ненастье ходит в лакированных туфлях», — на сердце у Платоши появлялась щемота и долго не оставляла. Он, конечно, мог бы сказать старому знакомцу: «Чего ж сам-то не отхватишь кусок? Кишка тонка или ловкости не хватает?..» — но не говорил. Знал, Федька только с виду такой, точно бы ему все трын-трава, а человек он совестливый и в чужой огород ни за какие шиши не полезет. И жена у него такая же... Маленькая, круглая. Днями копошится в огороде, а ежели сладит с зелеными, тут же бежит в ближнее прилесье, где, по слухам, нынче малина поднялась бойко. И там носится она, краснолицый колобок с каштановыми распу-



щенными волосами, промеж сухоногих деревьев, перекачивается с места на место, редко когда не наберет кошелку спелой ягоды.

У них с Пафнутьевым долгое время не было детей. И вдруг (ах, опять вдруг! И что за страсть за каждым движением мысли углядывать неожиданность, точно бы ничего другого и нету?) забеременела Пафнутыха. Случилось это, когда ей стукнуло сорок лет. Родила мальчишку. И через год родила. И еще через год... Федька от такой бабьей скорости чуть ума не лишился, но время годя взял себя в руки и сделался дюже проворен в делах и в движениях побойчей. У него, кажется, прибавилось уважения к себе. И, если какая бабенка при встрече с ним морщила нос и говорила с досадой, когда тот нечаянно задевал ее плечом: «Тю, неповоротливый!» — нередко добавляя и чего похлеще, он не покрывался, как раньше, ровным румянцем, а отвечал не без дерзости в сипловатом голосе:

— Дура ты! Дура!.. Опять же, че с тебя взять, коль скоро не блюдешь свою интересу. Ить какой мужик дотронулся до тебя!.. Не чета тем, что в телевизоре кувыркаются. Тьфу на них!..

С недавних пор понравилось Федьке слушать, как Платоша играл на балалайке, извлекая из нее чудные звуки. Зачастил к нему. А ведь раньше не тянуло к музыке. Но после того, как в отчей избе появились пацанята, что-то стронулось в нем. Он уж и на жену, хотя и нечасто и как бы даже робея, стал поглядывать с нежностью в мутных поросычьих глазках, над которыми подковками зависали толстые рыжие брови, а то устраивал возню с ребятенками на чистом, скобленном избяном полу.

Правду сказать, Платоша выделял Федьку среди знакомцев. Было в нем такое, чего не сыскать в других: вроде бы доброты побольше, ласковости даже к самой малой птахе. В последние годы он не брал в руки ружья, говоря: «Неча губить таежную животину. Обойдуся без зверьего мяса. Ну его!.. Не пропихнешь чрез горло-то, застреват в самой середке».

Было дело, Платоша поведал Пафнутьеву о буддистском монахе, что приходил к нему и научил по-новому играть на балалайке, а еще сказал, что в инструменте этом есть душа, только не каждый может породниться с ним, лишь тот, у кого сердце не запятнано грязными помыслами.

— Монах, надо думать, после встречи со мной вознесся на небо: на земле-то и слабого следа от его пребывания не сыскалось. Я уж всю рощицу подле ручья облазил и ничего не нашел, даже малой о нем памятки.

Федька внимательно выслушал и не поверил, и сказал об этом, но так, чтоб не обидеть Платошу. А тот и не думал обижаться, вздохнул:

— Отчего бы тогда балалайка зазвучала по-новому? Скажи на милость, а?..

Федьке нечего было ответить.

— Пожалуй, в руках у монаха сила какая-то утаивалась. Надо быть, небесная. Она и передалась балалайке.

Платоша с несвойственным ему душевным напряжением посмотрел на Пафнутьева. Тот почувствовал этот напряг — и не захотел разубеждать Загорюлькина.

А время бежало торопко. Вот уж и деревья поменяли окрас и посмурали, и малые зеленыя утратили прежнюю стойкость и легко обвисали, стоило прикоснуться к ним. И небо было не то, не прежнее, словно бы сузилось, зацепившись белесыми закрайками за ближние скалы, зависшие над морем, теперь не бледно-синим, а точно бы почернелым. И Верховик уже не приносил веселой искрящейся прохлады, а норовил сорвать с деревьев остатние листья. Но Платоша не замечал ничего, увлекшись чувствами, которые рождались в нем, когда, уйдя в таежную неблизь иль просто спустившись к тонкому, острому урезу байкальской воды, прикасался нервными пальцами к балалаечным струнам. Плохо только, на сердце нет-нет да и начинало ныть, стоило подумать о том, что все в земном мире преходяще. Что же будет-то, если балалайка разучится воспроизводить поглянувшуюся мелодию, которая сродни сибирской осени, — дрогнет и осыплет, подобно пожелтевшим листьям, неров-



ные, задыхающиеся звуки и не сразу соберет их воедино? А если выдохнется и вовсе завянет, что же тогда станет с ним?.. Пропадет!

И надо ж такому случиться, что однажды, когда приспела зима и ближний лес сделался белым-белым, а серое небо, зависшее над избой, и вовсе приблизилось к земле, — будто еще немного, и опустится оно на морской берег, слившись с ним, — Платоша взял в руки балалайку, коснулся струн и не услышал привычной мелодии. И разом захолонуло на сердце, а руки стали слабыми-слабыми. Напрягшись, Платоша дотянул до кровати и завернул балалайку в покрывальце, после чего, пошатываясь, будто спьяну, прошел на кухню и сел за стол, а потом положил на мутно-желтую поверхность свои изрядно посиневшие руки. Долго сидел, прислушиваясь к себе и не умея понять, отчего еще не тронулся умом и способен что-то исходящее из души слышать?.. Но лучше бы встал из-за стола и вышел в улочку, заглянул бы хотя б на Федькино подворье, пожаловался бы хозяину на то, что приключилось с ним... Впрочем, тут же он подумал: «А зачем?.. Иль помогло бы? Да нет, конечно. Никто уже не поможет...» Странно, он почему-то сразу уверовал в невозможность другого исхода.

В узкое кухонное оконце пробивался дневной свет. Был он слаб и неровен, от него падали на пол короткие тени. Платоша медленно поднялся с табурета, но не для того чтобы выйти на крыльцо и подышать свежим воздухом, как не раз делал, коль скоро становилось не по себе, а для того, чтоб пройти в горницу и понять, отчего балалайка утратила прежнее дивногосье? Может, все дело в том, что в ее древесном теле появилась трещина... иль меж струн затесалась какая-то упорина?..

Он взял в руки балалайку, внимательно оглядев ее и не отыскав и малюсенького слома, снова провел пальцами по струнам. Нет, ничего не изменилось, она и впрямь утратила голос. Горько!.. Он долго, прижимая к груди балалайку, слонялся по избе, а когда сделалось невмоготу, вышел на низенькое крылечко. Постоял, вытянув шею и норовя заглянуть через слабую, тонко повизгивающую на ветру жердевую загородку на ладно прибранное соседское подворье, — у самого-то подворья буйно заросло дурнотравьем... Когда увидел Федьку с напильником в руках, занес балалайку в избу и положил ее на прежнее место, но через минуту-другую уже стоял возле пафнутьевского дома и, чуть приоткрыв калитку, звал Федьку. Тот не сразу услышал, но потом подошел и спросил не без досады:

— Че тебе?..

— Балалайка лишилась голоса, — тихо сказал Платоша. — И отчего бы, а?..

Федька смущенно посмотрел на него:

— Да ты че?..

Широкое дряблое лицо вытянулось, в глазах обозначилось нечто такое, что подтолкнуло Загоруйкина к еще большей растерянности.

Вздохнув, Платоша закрыл калитку и ступил на тропу, которая вела в ближнее прилесье. Тут-то и повстречал мужичков, вернувшихся с моря не с пустыми руками. Нынче такое случалось редко. Куда-то подевалась рыба, но, может статься, ее потравили: комбинат-то, зараза, и по сей день дымит, хотя уж сколько раз намеревались снести его. Видать, не хватает духу...

Мужички сидели на песчаном берегу у бойкого костерка, жарили рыбу на рожне, баловались водочкой... Увидав Платошу, позвали к себе. Знали, однопоселец равнодушен к спиртным напиткам, но все ж кто-то предложил, — надо ж уважить, мужик-то свой, не с городского возу упал:

— Может, выпьешь?..

И предлагающий был удивлен, когда Платоша не отказался от стакана с водкой и выпил, поморщившись, и рыбьим хвостом закусил...

Рыбаки аж рты пораскрывали, наперебой спрашивать начали:

— Ты, чай, не приболел?..

— А может, че стряслось, пошто ты потянулся к рюмке-то?..



— Сказывай, сказывай, не молчи... Так-то лучше. На миру и боль тупеет, и обида истачивается быстрее.

И Платоша много о чем говорил в тот день, а пуще того — о напасти, что не обошла его и наступила аж на самое горло: как только и вовсе не задушила, окаянная. Но, надо быть, у нее все впереди, она еще возьмет свое. Мужички, понятное дело, не приняли всерьез Платошиной озабоченности: «И впрямь, чего в ней есть-то, окромя дурости?..» — и уже на другой день запамятовали про балалайку. «Эка невидаль, потеряла голос!.. Тут чего надо-то, чтоб очухалась? Покруче да похлеще оглаживать струны, а не абы как... Глядишь, забренчит балалайка, заскулит на все лады. Иль не так?.. Да кто бы говорил-то, кто бы говорил-то!..»

Наутро у Платоши раскальвалась голова, и настроение было... надо б хуже, да куда уж хуже... Пришел Федька, подтолкнул под себя табурет, усаживаясь, смурной, лобастой своей половиной почти лег на кухонный стол, сказал ворчливо:

— Тяжело тебе, да?.. А мне легко?.. Но я ж не нажрался вчера до черных соплей, не плел разную хрень. Че молчишь?..

— А че говорить?..

— Стало быть, неча?.. — глянул на приятеля исподлобья, пьющего уже чай из круглой фарфоровой чашки, сказал, пуще прежнего набычась: — Стало быть, чайком балуешься? Думаешь, спасет от похмелья? И не мечтай. Через час-другой хуже станет. — Помедлил, собрал широкие, изъеденные оспой морщины на лбу, размышляя о чем-то, спросил не без настырности в голосе: — С чего загулял-то?.. Ить на удивление честному люду надрался. Да и мне... Иль не мог по-другому избыть тоску-печаль? Покликал бы меня, мы бы на пару, без чужого глазу... Долго ли...

Платоша принял эти слова за приглашение продолжить то, чем занимался вчера, и, хотя на душе было противно и ничего не хотелось, сказал вяловато, с трудом пропуская через пересохшее горло слова-камушки:

— Можно и продолжить. У меня кое-чего есть, запаса...

И уж так получилось, что оказались они на берегу Байкала у Черных камней, в затишке, куда не однажды хаживали и раньше, только по другой надобности. Нынче они прихватили с собой пару бутылок араки, бурятской водки, те долгое время простояли в закутье у Пафнутьева. Он, кажется, и думать забыл про них, а вот теперь вспомнил... Сидели до глубокой ночи, захмелели изрядно. Под утро угомонились и, кинув наземь брезентовые куртки, завалились спать. Федька спал беспокойно, разметавшись во сне, то и дело вскрикивая, как если бы с перепугу. Не лучше чувствовал себя и Платоша. Невесть какие диковинки проносились перед ним. И они так быстро сменяли друг друга, что он не успевал разглядеть их. В какой-то момент увидел, что находится в своей избе, в горнице, вроде бы стоит в переднем углу, где под иконкой Божьей матери висела на деревянном гвозде балалайка. Он хотел взять ее в руки, да она не далась, увернулась. «Что за ерунда!.. — подумал. — Этого еще не хватало!» Заболела голова, да так надсадно и хлестко, что уж ничего не хотелось, к тому ж руки сделались вялые и слабые, вовсе не подчиняемые ему. Чужие стали руки-то... Однако он был упрям и не оставлял попыток снять с гвоздя балалайку. Когда потянулся к ней в очередной раз, из балалаечного нутра выскочил крохотный человечек, сел на струну, с неприязнью в маленьких блестящих глазках посмотрел на него и спросил тонким писклявым голосом:

— Ну и чего тебе надо?..

— Да я бы... того самого... Сам знаешь.

— Ежели не отстанешь, худо будет. И не только на этом, а и на том свете. Вот заставят тебя чистить нужники, запоешь тогда Лазаря! Взял моду пьяными руками прикасаться к балалайке.

Платоша хотел возразить: мол, какие могут быть нужники на том свете?.. И не успел, другое привиделось. Будто-де лежал вконец исхудавший, про кого уж точно можно сказать, что остались от него кожа да кости, с обожженным красноскулым лицом, еще не шибко старый человек на застеленной побитой молью армейской



шинелью узкой койке и смотрел длинными серыми глазами на помутневшее от долгожития оконное стекло. Был он при смерти. Сам знал, что при смерти, но не и испытывал и малого огорчения, давно уже решив, что на том свете хуже, чем здесь, не будет. Впрочем, он мало интересовался тем, что ожидало его дух после того, когда исхудавшее тело, про которое, если бы представилась возможность увидеть, не сказал бы, что это его тело, свезут на дальнее посельское кладбище. Теперь человека интересовало другое. На узком, в толстых шербинах, оконном стекле он заметил муху и удивился: откуда бы ей здесь взяться, да не дохлой, живой, вон как копошится, перелезая с места на место: ведь на дворе-то поздняя осень, и деревце возле окошка, которое человек в свое время посадил, начисто оголилось, И разные букашки впали в спячку, и ни одна из них не потревожит мирно жующую во дворе прелое сено комолую корову, а большая и малая птица уже давно сорвалась с водяной кромки и утянулась к югу. Теперь, поди, плещется в теплом море. А муха... Чего ж ей-то неймется?..

Человек досадливо покрутил головой, но, может, так только показалось, и ничто в нем не стронулось, не поменяло положения. Вдруг пришло на ум, что муха в свое время обиделась на него, а теперь решила отомстить. «Наверно, так и есть, — промелькнуло в голове. — Ить я раньше люто расправлялся с имя. Норовил и вовсе изгнать из дому. Видать, муха уцелела в те поры и теперь явилась ко мне, когда я и рукой пошевелить не могу?.. Ежели так, чего ж, делай свое дело. Сполняй то, для чего подзадержалась, прячась по темным углам. Я на все нынче согласный...»

Муха то ли услышала умирающего, то ли еще почему сорвалась с оконного стекла и, тихонько жужжа, закружилась над его головой. Но в ее полете не чувствовалось уверенности, как если бы она и не хотела причинять никому неудобства. Человек почувствовал это и с недоумением мысленно спросил у нее: «Неужто не обижаешься на меня?.. Да пошто бы?..» А когда муха села на отброшенную в сторону, зависшую над выскобленным до тусклого блеска полом исхудавшую тонкую руку, в лице у человека обозначилось нечто, сходное с умиротворенностью: «Во как! Стало быть, прощаешь меня?..»

Когда пришли соседи, человек был мертв. Муха тоже не подавала признаков жизни, легши в его узкую, распахнутую ладонь, покрытую густой морщью. Соседи принесли из кухни пару табуреток, положили на них доски, а поверх — усопшего, вместе с мухой, которая не захотела расставаться с ним, и накрыли белой простыней.

...Проснувшись на берегу Байкала от неожиданно налетевшего студеного северного ветра, в здешних местах именуемого «бургузином», который, казалось бы, насквозь продирал (что для него легкая осенняя курточка... Так, пустяшная затычка в сквозной дыре: до того был хлесток и настырен), — Платоша не сразу мог понять, что произошло и отчего он нынче не в своей избе; а когда понял, сделалось не по себе: «Че со мной?.. Иль я и впрямь вовсе сошел с рельсов?» Вспомнилось то, что привиделось во сне, и беспокойно стало на сердце, и совестно, и стыдно... Растолкал Пафнутьева. Тот, ежась от знобящей утрянки, как старожилы называли зоревую погоду, спросил:

— Где мы?.. Пошто!.. — он испуганно передернул плечами. — А ежели моя баба спрашивать зачнет, где я был да че делал, рази смогу ответить?..

— А я деда своего видел, — сказал негромко Платоша, подымаясь с земли.

— Да ты че... иль не в себе?.. — с трудом одолевая накотившую на него торопь, спросил Пафнутьев.

— Правда... Во сне.

Федька успокоился:

— Не-е, не может быть. Ить когда он помер, ты токо родился. — Помедлив, добавил вроде бы со смущением: — И я... Да нет, я годом раньше... В школу-то я с восьми пошел.

— Видел, — упрямо сказал Платоша. — И не только его, а и муху, которая села ему на ладонь.

Пафнутьев вздохнул: «А приятель-то нынче не в себе, — такое бывает с перепоею». Помешкав, предложил:

— Пойдем-ка до дому. Там у нас осталось маленько. Надо быть, на похмельку хватит.

Подхватились, хотя не сразу и не бойко, а так, как если бы через силу, и, одолевая в теле слабость, вышли на таежную тропу, с утра изрядно отсыревшую от обильного росяного дождя. Как могли, поспешали, в груди-то страсть как горело, — но могли нынче немногое: все ж, когда солнце вытолкнулось из-за остроглавого гольца, были на околичке поселья. Тут-то и услышали приятную для слуха негромкую мелодию, которая напомнила Платоше ту, дивную, про которую думал, что никогда больше не услышит ее. Мелодия доносилась со стороны отчего подворья, была она спокойна и домовита, ничего для себя не требовала, не норовила покрыть все пространство, вполне удовлетворяясь тем, что было подвластно ей.

— Федь... — прошептал Платоша. — Че бы это значило?..

Тот не ответил, на него опять нашла оторопь, да не та, что прежде, а добрая и светлая, подталкивающая к ясному и чистому, хотя еще никак не обозначенному в душе. И, подчиняясь ей, он сорвался с места и побежал по заросшей дурнотравьем кривоватой улочке к третьему по ближайшему ряду дому, вросшему в землю. Следом за ним припустил Платоша, но скоро обогнал его и, задыхаясь от нахлынувших чувств, прошептал горячечно:

— Господи, неужто и впрямь балалайка обрела прежний голос?.. Не могло же нам померещиться?!..

Загорулькин подбежал к калитке, распахнул ее настежь, легкую и податливую, и застыл на месте; у него сильно, взахлеб, забилося сердце, а ноги разом сделались слабыми и вялыми. Он увидел зябко дрожащую в утреннем сумерке человеческую тень, павшую наземь от тускло и меркло светящегося окошка. И была тень узкая и длинная, она напомнила Платоше ту, другую...

— Значит, ты вернулся?.. — пробормотал он почти спокойно, но еще долго был не в состоянии сдвинуться с места.



Владимир ШЕМШУЧЕНКО

НА ВСЕЛЕНСКОМ ПУТИ ҚАРАВАНА

ДИГОРИЯ

Изгиб, излом, и нет дороги...
Нелепо, как в дурном кино!
И вспоминается о Боге —
Ему всегда не всё равно.

Ревёт мотор на грани срыва.
Чуть-чуть назад... Вперёд... Вираз...
Налево — лезвие обрыва.
Направо — зубы скалит кряж.

Потеет на спине рубашка,
Как в зной из погреба вино...
Водитель — на бровях фуражка —
Хохочет... Чёрт, ему смешно!

И на заоблачном пределе
Последних лошадиных сил,
Скрипя мостами, еле-еле
Вползает в небо старый ЗИЛ.

А вдалеке печальный демон
Несёт домой пустой мешок...
Я — наверху! Я занят делом!
И мне сегодня хорошо!

И я живу... Ломаю спички...
Курю, как будто в первый раз,
И вредной радуюсь привычке,
И пелена спадает с глаз.

Здесь солнце на сосновых лапах
Качается, как в гамаке.
Здесь можжевельниковый запах
Живёт в болтливом ручейке.



Здесь, как гигантские тюлени,
Слезятся утром ледники,
Здесь тучи тычутся в колени
И тают от тепла руки,

И, выгибая рысьи спины,
Да так, что пробирает дрожь,
Рыча, царапают вершины...
И дождь вокруг! И сам я — дождь!

ПОЭЗИЯ

Когда идёшь по краю ледника,
По грани, по излому тьмы и света,
И видишь, как рождается река,
Решись на шаг — и сделайся поэтом.

И вдребезги! И вот она — бери!
Она живёт в цветке рододендрона,
Она — артериальной крови ритм,
Она — вне человеческого закона.

Она растёт из сердца валуна
Под первыми весенними лучами,
Она нежна, как полная луна,
Из-за неё моря не спят ночами.

Возьми — она прожжёт твою ладонь
И обернётся шумом водопада,
Она тебя ужалит — только тронь!
И ты умрёшь! Но умирать не надо.

Ты сможешь! Ты сумеешь! Делай шаг!
Один короткий шаг... Какая мука!
И заново научишься дышать
И чувствовать губами привкус звука.

СТЕПНОЕ

Когда лязгнет металл о металл, и вселенная вскрикнет от боли,
Когда в трещинах чёрных такыров, словно кровь, запечётся вода, —
Берега прибалхашских озёр заискрятся кристаллами соли,
И затмит ослабевшее солнце ледяная дневная звезда.

И пошлытятся топот коней, и запахнет овчиной прогорклой,
И гортанная речь заклокочет, и в степи разгорятся костры, —
И проснёшься в холодном поту на кушетке под книжную полкой,
И поймёшь, что твои сновиденья осязаемы и остры.

О, как прав был строптивый поэт — Кузнецов Юрий, свет, Поликарпыч,
Говоря мне: «На памяти пишешь... (или был он с похмелья не прав?)
Хоть до крови губу закуси — никуда от себя не ускачешь,
Если разум твой крепко настоян на взыскующей памяти трав.

От ковыльных кипчакских степей до Последнего самого моря,
От резных минаретов Хорезма до Великой китайской стены, —



Доскачи, дошагай, доползи, растворяясь в бескрайнем просторе,
И опять выходи на дорогу под присмотром подружки-луны.

Вспомни горечь полыни во рту и дурманящий запах ямшана,
И вдохни полной грудью щемящий синеватый дымок кизяка,
И сорви беззащитный тюльпан, что раскрылся, как свежая рана,
На вселенском пути каравана, увозящего вдаль облака...»

ПОСЛЕДНИЙ ВЫХОД

Поворот головы, эти тонкие нервные пальцы,
И летящая чёлка, и дерзкий мальчишеский взгляд —
Травестюшка, фитюлька... Судьбу надевает на пальцы
И смеётся над ней, как смеялась лет двадцать назад.

Всё ещё хороша, и без промаха бьёт из рогатки
На потеху жующей сладчайший поп-корм детворе.
И азартно играет с крадущейся старостью в прятки,
И заранее знает, кто будет повержен в игре.

О, великий театр! С чем твои треволнения сравнимы!
На ступеньках галёрки, в тиши запylённых кулис —
Я глотал твои слёзы, я Гамлета видел без грима,
Я взлетал в поднебесье, и падал, поверженный, вниз.

Непокорных — ушли. Никуда не попрёшь — перемены.
И не то и не так и не те не о том говорят...
Но выходит она... На поклон... И, как тень Мельпомены,
Молча руки роняет, и... ржёт коллективный де Сад.

* * *

Событий у нас маловато.
Зима вот случилась вчера...
Соседи достали лопаты
И выгнали снег со двора.
А мой — развеселенький, вкусный! —
Лежит себе, радует глаз,
Скрипит на зубах, как капуста, —
Впервые, сегодня, сейчас!
Соседи, родные, Бог в помощь!
(Какой восхитительный слог!)
Я первый свой снег — несмышлёныш —
Слизал с материнских сапог...
Уколы запомнил, микстуры —
И прочая там толкотня...
А сёстры — ну полные дуры! —
Ещё и «лечили» меня:
Изрезали тюль на халаты,
Нарыли в шкафу рыбий жир...
О, как же я жаждал расплаты!
Поэтому, видимо, жив.
Событий у нас маловато.
Вздыхаю и тихо скорблю.
Соседи — опять за лопаты...
И я их за это люблю.



* * *

Я скользящей походкой сам-друг возвращаюсь домой...
Муза канула в ночь и свела (вот зараза!) Пегаса.
Рядом кашляет город — он пахнет тоской и тюрьмой,
И ещё недержаньем горячей воды в теплотрассах.

Это надо же — вляпаться в эту чухонскую рань,
В этот выжатый воздух с душком топляка и сивухи,
И в уме сочинять не стихи, а тотальную дрянь,
И заснеженным львам, осердясь, раздавать оплеухи.

Просыпается город — ему на меня наплевать —
Мною он пренебрёг и бесстрастно зачислил в потери.
Дома ждут меня стол, абажур и складная кровать,
И некормленный кот, и ворчливые старые двери.

Я домой возвращаюсь, и тёплое слово — домой —
Языком непослушным по нёбу сухому катаю...
Я чертовски богат надоедливим задним умом,
Потому даже псы мне, рыча, отказали от стаи.

Я домой возвращаюсь... Я болен. Я ранен тобой,
Мой, продутый ветрами, чахоточный каменный город.
Знаю — ты не зачтёшь этот наглый словесный разбой
И снежинку прощенья уронишь за поднятый ворот.

* * *

У зимы петербургской характер — прескверный весьма:
У неё задарма на понюшку не выпросишь снега.
Безъязыкие — жмутся друг к дружке на Невском дома,
А под ними подземка гремит допоздна, как телега.

Разгулявшийся ветер начистил атлантам бока
И, как ловкий цирюльник, намылил гранит парапета.
В плиссированной юбке на берег выходит река
И с достоинством царским идёт в Эрмитаж без билета.

И опять всё не то! Как мальчишку меня провела —
Вместо ярких полотен подсунула кинокартинки!
А над площадью Ангел уже расправляет крыла
И Балтийское море мои примеряет ботинки.

* * *

Александру Тимофееву

Художник поставит мольберт,
И краски разложит, и кисти,
А я — двадцать пять сигарет
И с ветки сорвавшийся листик.

Мы будем сидеть vis-a-vis,
Пока не опустится темень,
И ради надмирной любви
Пространство раздвинем и время.

Мы станем глядеть в никуда
И думать о чём-то не важном —
Сквозь нас проплывут господа
В пролётках и экипажах,

Улыбки сиятельных дам,
Смешки, шепотки одобренья...
Последним проедет жандарм,
Обдав нас потоком презренья.

А ночью в дрянном кабаке,
Где слухи роятся, как мухи,
Он — в красках, я — в рваной строке,
Хлебнём модернистской сивухи.

Столкнём со стаканом стакан,
Сдавая на зрелось экзамен,
И многое сможем сказать
Незрячими злыми глазами.

И к нам из забытых времён,
Из морока рвани и пьяни
Подсядут: художник Вийон
И первый поэт Модильяни.

* * *

Я всякого в стихах наговорил,
Пренебрегая сводом строгих правил,
Не золотил строку, не серебрил,
И вряд ли уважать себя заставил.

А жизнь идёт... Залаял рыжий пёс.
Вбежал сынишка, притащил котёнка,
И со слезой — взволнованно и звонко —
Вдруг выдохнул: «Достал из-под колёс...»

Четвёртый кот! Ведь я же запретил!
А сын, прижав к груди живой комочек,
Глядит в глаза... (Запомнил восемь строчек,
Что я котёнку как-то посвятил.)

Как хорошо, что сын мой дорожит
Комочком грязной шерсти... Не напрасно
Я жизнь люблю неистово и страстно,
Не ставя ни во что уменье — жить!

В окно стучат ночные мотыльки.
Творит луна приливы и отливы.
Котёнок спит. А рядом спит — счастливый —
Поэт, не написавший ни строки.

Денис ТИХИЙ

УМЛЯУТЫ

Р а с с к а з ы

ОЛЬГИН ОСТРОВ

Кот просунул морду между прутьями веранды и угрюмо смотрел на Ольгу сверху вниз. Персидский. Невероятно паскудный и грязный; Ольга даже представила колтуны, свалявшиеся на горячей шерсти пуза. И козюльки в уголках глаз. И ниточки слюны на морде. И еще: эта сволочь — черного цвета! Это, знаете ли, просто смешно! Кот венчал собой две последние выморочные недели: развод, Хыкина истерика в ЗАГСе и Викина сломанная лодыжка, из-за которой ехать на турбазу Ольге пришлось в одиночестве. Лохматая черная вишенка на ядовитом ведьмином торте с поганочными цукатами. Что-то такое тварь прочла в Ольгином лице, — хрипло мявкнув, кот исчез. Ольга подняла сумку и двинулась по лестнице в свой номер. Худошавая, волосы русые, сорок лет, преподаватель культурологии, детей нет, разведена. И — улыбайся! — счастлива.

* * *

Турбаза «Чайка» популярна среди любителей рыбалки, грибов, велосипедов и выпивки на природе. Простых смертных селят в деревянные домики с двумя спальнями и кухонькой, на которой стоит холодильник, знававший времена Брежнева. Под окнами кухни врыт стол, так что летние щи и запотевшие водочные бутылки подают прямо в окно. Неподалеку стоит мангал, за ним — детские качели и гамак; а дальше на фоне ерика белеют деревянные будки: домики, увы, без удобств. Но если потянуть за тайные нити, пучок которых держит в руках Ольгина подруга Вика по прозвищу Верста Коломенская, то вам достанется один из трех номеров в большом кирпичном доме. Там будет кухня, две комнаты с диванами и гулкой санузел, облицованный метлахской плиткой.

Ольга выгрузила в холодильник пельмени и сосиски, — не кухарить приехала! На столе воцарилась бутылка семилетнего армянского коньяка, но потом отбыла в шкафчик — глупо пить с обеда. Ольга застелила разошедшийся диван и приняла душ. Для начала взять велосипед, думала она, расчесывая волосы перед зеркалом, и — через лес, мимо заброшенного пионерлагеря в деревню. Там купить хлеба, горячего, помидоров и зеленого лука. И яиц деревенских! Желточек оранжевый, вкусный до остервенения...



— А де Серега? — спросил из реальности голос.

Ольга взвизгнула и закрылась полотенцем — на веранде стоял юноша в кепке и футболке с надписью «Тренер по сексу». Юноша держал на плече пятилитровую «сиську» с пивом. На ребре ладони синело — «За ВДВ». Ольга не смогла ничего сказать, с ней приключился речевой паралич — бывшего мужа звали Серегой, и она точно знала, где он — с Хыкой в Италии... Но зачем это нужно сексуальному тренеру?

— Ой, бля, мы же на третьем живем, — вдруг понял юноша, прошел по веранде дальше, и по лестнице вверх забухали его шаги.

— А-а-а! Лысый! — заорали там хором нестройные юные голоса. Славные соседи.

Ольга быстро оделась в велосипедное, вышла на веранду и заперла дверь. Наверху булькало — долго, невозможно так глотать, задохнешься, — словно пиво сливали в унитаз. Но вот булькать перестало, и девичий голос произнес: «Уф-ф... Как в сухой ручей!»

Ольга торопливо ткнула плеер, и малахольный Павел Кашин запел о том, как он построил на песке безумно-дивно-чудный город. Она легко сбежала по ступенькам, взяла в гараже велосипед и вырулила на лесную дорогу. «Надо было коньяк спрятать», — подумала вдруг. Тренер по сексу, опять промахнувшись этажом, лезет в свой, а на самом деле — в ее шкафчик за стаканом... и натывается на бутылку. Крепкими зубами вытаскивает пробку из горлышка и высаживает одним длинным глотком, словно это не коньяк, а разбодяженный медицинский спирт из фляжки на сборах... Бред какой-то.

* * *

Верста Коломенская была замужем в четвертый раз за каким-то промышленным альпинистом — есть, оказывается, такая специальность. Вика притягивала к себе людей, будто колдовской камень из «Волшебника Изумрудного города». Только вокруг того камня валялись иссушенные белые кости, а вокруг Вики шумел музыкой и журчал фонтанами пестрый оазис, чье нехитрое богатство было особенно ценно на фоне окружающей пустыни. Они познакомились, когда Ольга продавала по объявлению дубленку. Вика приехала к ним домой, на ней было что-то невероятное — цыганская юбка и какие-то попугайские перья. Она мигом влезла в дубленку и встала перед зеркалом, — дубленка была ей непоправимо мала.

— Маловата она вам, — сказала Ольга.

— Разве?

— Конечно. Смотрите на рукава.

— А по мне — в самый раз. Уступаете?

— Ну что же... Пятьсот рублей могу уступить.

— А впрочем... не надо.

— Разглядели? И в плечах она вам узковата.

— Я говорю — уступать не надо. Возьму за вашу цену.

Сергей хрюкнул из-за газеты, которой прикрывался, сидя в кресле.

— Только я не при деньгах. Едемте ко мне, там рассчитаемся...

Сергей подскочил, ухватил Ольгу за руку и увел на кухню.

— Не вздумай к ней ехать!

— Почему?

— Стукнут молотком по башке — и привет!

— За старую дубленку?

— Это же аферистка, не видишь? — сипел он ей в ухо, а сам поглядывал в коридорное зеркало, опасаясь, что Вика, она же Цыганка, она же Зузя, пользуясь беспечностью хозяев, шарит по ящикам в поисках денег, сберкнижек и документов на недвижимость.



— Едем с нами.

— Ага, а ее дружки в это время обчистят квартиру? Приедешь, а тут только голая лампочка на проводе висит. И та — перегоревшая.

— Что же мне делать?

— Гони ее в шею!

Ольга вернулась в комнату. Вика стояла перед зеркалом, застегнувшись на все пуговицы, и красила губы белой помадой. В окно дул горячий август. Таинственные флюиды Изумрудной страны достигли Ольгиной души. Что-то там взвихрилось и выстроилось вдоль силовых линий.

— Поехали, — удивив саму себя, сказала Ольга. Так и подружились.

* * *

В лесу было душно. Ехать по тропинке стало невозможно из-за вспучившихся корней, Ольга слезла с велосипеда и покатила его. Надо было по дороге, но там в сантиметре от бровки носились самосвалы, — Ольгу с ее везучестью непременно бы сбили. Зато теперь можно заблудиться в лесу. Деревья шумели где-то высоко, ветер выворачивал листья серебряной изнанкой. Ольга остановилась у зарослей ежевики и съела пригоршню кислой, распадающейся бусинами ягоды. Она станет жить в лесу. Питаться малиной и сыроежками, а по ночам выть на Луну, как мечтал Саша Черный. Тропинка, впрочем, не обманула и вскоре вывела к лугу, а за ним виднелась деревня.

* * *

Рядом с велосипедом стояла грязная белая курица. Она внимательно осмотрела Ольгу левым глазом, а потом, вывернув шею, правым. Наглядевшись, курица клонула Ольгу в кроссовок и, юркнув в щель между штaketинами, взбалмошно побежала через бурьян. Из дома вышла баба с тазиком в руках и тоже уставилась.

— Здравствуйте! Яйца продаете?

— Митрич! — надрывно крикнула баба, после чего ловко поймала курицу и задом исчезла в доме.

Из сарая появился Митрич в майке, с торчащей из бороды папиросой. В руке у Митрича был топор.

— Че? — выдохнул он.

— Здравствуйте! Яйца есть?

— А как же.

— Почем продадите?

— Самому нужны, — съюморил Митрич и гулко заржал. — Машка, вона не за первачом, слышь!

Из дома снова вышла баба, подошла к штaketнику и улыбнулась Ольге никелированными зубами.

— Ой, звиняйте. Я думала — за самогонкой. Вы же с турбазы? Каждый день по три раза ездют.

— Нет, мне яиц бы купить. И помидоров.

— Помидоров? Рази ж ими торгуют?

— В городе торгуют.

— Надо же, — сочувственно удивилась баба. — А яички у меня хорошие, сколько вам?

— Десяточек, если можно.

— А че не можно-то? Три червончика всего. А помидоры собирай — вон грядка.

Ольга протянула бабе полтинник, та отворила калитку. На грядке росли не помидоры, а *помимонстры*, — покрытые страшными язвами и ороговевшими ранами.



С большим трудом она набрала пяток кособоких уродцев. Из сарая раздался крик Мирича:

— Да не секутись же ты, курва! — сразу тупой удар топором в дерево и короткий писк. Тут же появилась баба с пакетиком яиц.

— Что это там? — спросила Ольга, кивнув на сарай.

— А мой курям бошки рубит... Свеженькую хотите? За две соточки уступлю.

— Нет, спасибо! — передернуло Ольгу.

— Молочка? Сметанки?

— Тоже не надо.

— Как скажете.

Ольга положила помидоры и яйца в рюкзак, оседлала велосипед, вопросительно посмотрела на бабу.

— Че? — спросила та.

— Сдачу можно с полтинника? Двадцать рублей.

— За помидорки? По четыре рубли у меня помидор, — ответила баба и улыбнулась, как шарикоподшипник показала.

* * *

Подлость. Природная, черноземная, ситцевая подлость. Как? Как они все понимают, что можно безнаказанно взять и плюнуть? Харкнуть. На лице у меня это написано? На лбу вытатуировано? Или Вика права — это моя виктимность?! У Вики, значит, никакой виктимности нет, а у Ольги она цветет пышным цветом, как плесень на батоне, который забыли в хлебнице, уезжая в отпуск. А может, надо просто поменять отношение? Расплатитесь — и посмеемся вместе...

Переднее колесо влетело в неприметную ямку, ее оторвало от сиденья, рыжее, голубое и зеленое вздыбилось — и она кувыркнулась через руль. Воздух выскочил из легких, когда она грянулась оземь всем телом. Даже не больно, только не вдохнуть. Ольга лежала на рюкзаке с яйцами и помидорами, а сверху, в полной гармонии с реальностью, давил велосипед. Она с ненавистью отпихнула его от себя. Какая-то лесная птаха села на ветку и посмотрела на нее.

— Давай! Чего ждешь? Какни мне на голову! Ну?!

Птаха цвиркнула и улетела. Ольга осторожно перевернулась и на четвереньках доползла до пенька. Еще не хватало ногу сломать... Нет, просто ссадина на колене, набухающая кровью. Сорвала лист подорожника, отерла пыль, приклеила к ноге. Как в детстве... Перевернулась планета и в небе лампочки зажглись, и снова снится детство, лето, и мама шепчет мне: «Пись-пись...» Откуда бы это? Ах да, Викина подружка, поэтесса малых форм, декламирует, дымя папиросиной.

Сквозь деревья виднелась река. Прихрамывая, Ольга прошла сквозь прозрачную рощицу и оказалась на берегу. Недалеко, рукой подать, лежал небольшой остров, заросший тополями. Река толкалась в белый песок на том берегу. То что надо. Раздеться и доплыть, купальника только нет. И велосипед грибники сопрут.

* * *

На ступеньках дома сидел сторож Толик и вязал носок. Ольга прислонила велосипед к стенке гаража.

— Кувыркнулась?

— Ага.

— Главное — шею не сломала... остальное — фигня. У нас в прошлом году мужик один кувыркнулся, толстый такой, так скороую со слободы вызывали — шейный позвонок повредил.

— Колесо теперь восьмерит.

— А как же! Непременно будет восьмерить.



С третьего этажа высунулась голова сексуального тренера:
 — Толян! Баньку организуешь?
 — Ты еще тот раз не оплатил, умник!
 — Не ссы, заплачу!
 — Вот как заплатишь, так и организую! Взяли моду — бесплатно в бане париться. А электричество я сам вырабатывать буду?

— Ну ты и нудный! — сказала голова сексуального тренера и скрылась за краем веранды.

— Я — нудный... — бубнил Толик. — Оно понятно, племянник тутошнего хозяина, вроде как блатной, вроде как и не пошлешь. Вот ты — ты стала бы посылать племяша своего шефа?

Ольге стало неприятно Толиково «тыканье». Она попрощалась и поднялась к себе. С третьего этажа радиоголос выкашливал строчки: «Старый вор был мудрый, справедливый, не терпел, в натуре, беспредела. Но по зоне рыскали блатные, и на этот раз не углядел он». Ольга открыла дверь, достала из шкафчика бутылку, откупирила ее ножом, плеснула коньяка на донышко стакана. Сверху раздался топот и хлоппанье в такт хоровому припеву: «А над лагерем вьюга стонала и пела, и бросалась на вышки, пугая солдат. А над лагерем солнце давно уж не грело, да и птицы давно уж сюда не летят!» Ольга залпом выпила и немедленно налила еще.

* * *

Вечерело. Над турбазой поднимались сизые шашлычные дымы: неумелые поддатые горожане жгли на мангалах мясо. Ласточки, свистя, кружили в небе. Она достала со дна сумки сигареты, содрала целлофан, оторвала клапан. Внутри нее словно появился маятник, как в Исаакии, она не могла сразу завершить движение — голова дает команду «стоп», а ноги все идут, идут... Напилась!.. Уселась на стул, закурила сигарету фильтром, вдохнула кислый дым. Пять лет не курила... и вот — начала. Она ткнула дымящую сигарету в тарелку с разломаченными пельменями и тополиным пухом.

Молодежь дрыгалась на пирсе — три парня и три девицы. Над гладкой водой разносилось: «Ковыляй потихонечку, про меня ты забудь! Отрастут твои ноженьки, проживешь как-нибудь!» Травмированная Ольгина нога начала притоптывать под музыку. Что за глупость — пить в одиночку... Да еще и под пельмени. Будь тут Вика, на веранде собралась бы компания. Болезненно-красный толстяк, раздувающий угли в мангале у соседнего домика, оказался бы вдруг известным театральным режиссером. И жена его в пестром парео, художница, рисовала бы Викин портрет карандашом для губ. Ах, Вичка, где же ты со своим магнетизмом?! Чтоб они провалились, эти твои латиноамериканские танцы, на которых вот так запросто ломаются лодыжки!..

Из рюкзака раздалась телефонная трель. Ольга вскинулась, косой дугой добежала до дивана, — но звонила другая подруга, Машенька, поставщица свежих сплетен.

— Привет! — крикнула Ольга в трубку.

— Привет. Оттопыриваешься? — ответила Машенька, и Ольга вообразила ее себе всю: сидит на крышке унитаза в крошечном совмещенном санузле, с ноги съехал носок, угол зеркала отражает белый глаз и крупноватые передние зубы.

— Тут супер! — начала врать Ольга. — Гоняла в деревню на велосипеде за яйцами, а помидоры мне бабка подарила. Назад ехала, кувыркнулась, расскажу потом — обхохочешься!

— Вички-то нет?

— Ой, Маш, она ногу сломала. С гипсом валяется.

— Видела я... Для гипса он смугловат.

— Ты о чем?

— У нее — новый! — шепотом прокричала Машенька.



— Новый — что?..

— Новый «кто»! Танцор испанский! Ну... тренер этот ее.

— Погоди... А Пашка?

— А что Пашка? Пашка уехал в свою Уганду, жирафов снимать. А Вичка подцепила мулата на ихней выставке. Будут у Пашки жирафы рожки.

Ольга села мимо дивана на пол. Машенька что-то болтала в трубку, потом умолкла. Ольга снова поднесла трубку к уху.

— Олька! Слышишь меня? Чего молчишь?

— Я скажу... У меня там... это... шашлык убегает, ты извини, — и разорвала связь.

Набрала Вику, но ее телефон был отключен. Что же ты за сука, Машенька?!.. Едва настроение нормальное вернулось, а тут твои наблюдения. Ольга стянула с дивана подушку и легла на полу. Зубы почистить, посуду помыть, душ принять, — но сонная бездна чавкнула и втянула ее прямо такой — немойтой, нечищенной и на полу. Проснулась она в крошечной темноте, ощупью выбралась на веранду. Звезды тлели в небе и отражались в реке. Верхушки тополей на давешнем острове чернели на фоне звезд. Молодежь пила на пирсе, поминутно раздавался оттуда визгливый бабский смех да неясно светились чьи-то бледные ягодицы. «Чтоб у вас утром головы полопались», — зло пожелала Ольга, вернулась в комнату и улеглась на диван. Пусть оно все катится к чертям кошачьим: гопники, хыки, сереги всех сортов, бабки, жирафы и мулаты, предательница Вика и, отдельно, верхом на унитазах, сука Машенька. Пошли вон! Брысь! Ольга встанет утром пораньше, позавтракает, захватит рюкзак с пледом, водой и бутербродами, возьмет водный велосипед — старенький катамаранчик — и закатится на остров. И выключит голову.

Жесткое ватное мясо старого дивана впитало в себя сотни сновидений и теперь излучало их вокруг. Ольге снилась какая-то ерунда из никогда не виденного, а когда стало светать, вдруг приснился остров на реке, только необычный, с адлеровскими пальмами и кипарисами, с деревянным лежаком и белой стеной дома, в котором давным-давно прошел ее медовый месяц.

* * *

Утро встретило ее улыбкой — два яйца в рюкзаке чудом уцелели. Она поставила на огонь чугунную сковороду и, пока та набирала жар, порезала крупными кольцами лук и помидоры. На отдельной сковородочке пожарила гренки и сосиски, забросила все это в шкворчащее масло, сверху разбила яйца. Чайник бурлил на соседней конфорке, и она заварила крепкий чай с мятой. Тут и яичница подоспела — чуть сопливенькая, как Ольге нравится, и есть ее надо непременно со сковороды, а потом все подобрать корочкой, потому что вкуснее еды нет на белом свете. На верхней веранде позевывала и слабенько материлась молодежь, но Ольга вообразила вокруг себя толстый стеклянный колпак, на который сверху льет чистейшая вода с горного ледника, водрузила на стол разделочную доску, поверх нее поставила сковороду с яичницей и стакан чая с лимоном, вооружилась вилкой, вдохнула укропный пар... Яичница смотрела надменно, пробулькивала маслом с горячего дна. Ольга подцепила вилкой полупрозрачное колечко лука и стала осторожно-о-ожненько подводить вилку под желток, чтоб не растекся... На верхней веранде скрипнул стул — и дымящий, смрадный окурок упал в самый центр Ольгиной сковороды, табачный уголек коротко шипнул в желтке.

— Да нехер на речке делать, — раздался сверху измученный голос сексуально-го тренера, — я и тут пивком разомнусь.

* * *

Водный велосипед она привязала к коряге. Вышла на берег, в пятнистой тени тополя расстелила плед, бросила сверху рюкзак, стянула футболку и шорты. Легкий



ветер тронул воду, прыгнула рыбешка. Сначала искупаться, а остров — на потом. Она зашла по пояс и поплыла, ощущая ногами жесткие придонные водоросли. Заплыв подальше, нырнула и достала руками сморщенное песчаное дно. Вверху сияло расплесканное солнце. Ольга выдохнула воздух, юркие стеклянные пузыри скользнули по лицу. Испуганное тело само оттолкнулось ногами и... давай-давай-давай, на поверхность!

На острове было замечательно пусто, она обошла его кругом за пять минут. Два мостка для рыбалки, несколько заметенных песком кострищ. С дальнего берега доносились обрывки музыки с турбазы и плеск лопастей. Она легла на плед, напилась чаю из термоса, ощущая родной, из детства, привкус речной воды, попавшей в нос. По небу бежали прозрачные облака — день будет нежаркий. Долгий, одинокий, только *ееиный*. Три бутерброда с помидорами и сыром. Томик Рекса Стаута. Очень хорошо, что она выбралась сюда с утра. Завтра, по неумолимым законам подлости, остров займет какой-нибудь местный Митрич с браконьерской сетью и жирными ситцевыми бабами. А сегодня остров только ее.

* * *

Ветер налетел быстро и страшно. Рябь на воде превратилась в короткие злые волны. Ветер выдул с острова всю дремоту, взвихрил песок, бросил его в глаза, засолил вещи — рюкзак в секунду оказался наполовину занесен. Черная туча распустилась над головой, расплылась в небе гематомой, дождевые монетки щедро посыпались на песок. Неумелый узел, которым Ольга привязала к коряге шнур, распался под первым крепким порывом ветра. Катамаран стал резво пятиться от острова. Ольга забежала в воду, едва поймала кончик шнура левой рукой, притянула поближе, с трудом втащила его на отмель и выбралась на берег собрать вещи. Ветер бушевал, дул зло, порывисто, гремел в небе, словно бил в огромный и невидимый парус. Ей вспомнились отчаянные капитаны чайных клиперов, не спускающие паруса в бурю. Дескать, одной рукой они держали штурвал, а другой — револьвер, чтобы выстрелить в парус, если корабль начнет заваливаться в воду. Тут над ее головой грохнуло, как из пушки, и небесный парус действительно лопнул. Она глянула вверх и обомлела — с тяжким скрежетом на нее падала мокрая зеленая туча, — не туча, тополь, переломленный пополам шквальным ветром! Ольга, даже не она, а ее тело, недавно толкавшее ногами дно, повернулась спиной и успела сделать шаг в сторону, когда он ее настиг, хлестнул через спину по левому плечу, сбил с ног, накрыл и подмял под себя...

* * *

Наверное, на какое-то время она потеряла сознание. Вода в реке кипела дождем, ничего нельзя было рассмотреть и в десяти шагах. Ольга попробовала встать, но искрящей костной болью просекло плечо и ногу. Дождь снова привел ее в чувство, она приподняла голову и глянула назад. Правая пятка торчала из листвы упавшего тополя как не родная, под неестественным углом, а нога набухла и пульсировала кипятком. Ольга бессильно прижалась к песку щекой. Апофеоз достигнут: дождь хлестал по ее разбросанным вещам, она лежала в двух шагах от поднявшейся воды, прибившей к острову мусор — разнокалиберные окурки, мутные пакеты, пластиковые бутылки и надутый сиреневый презерватив. Весь этот натюрморт орал ей в лицо: «Получи! Кушай! Жри полной ложкой! На! На! На тебе! Мало? Да у меня целое помойное ведро добавки! Все получишь, все отведаешь! Ты неудачница! Ты унылая, старая, негодная дура с тупыми амбициями и тошнотными привычками!» Дальше пошел отборный мат, выплетающий вензеля и узоры, красивый даже, если не принимать его на свой счет. Потом Ольга поняла, что мат звучит в реальности. Перед лицом появилась рука с надписью «За ВДВ», рука эта потрепала ее по щеке,



а голос сексуального тренера крикнул, чтобы она орала громче, потому что сейчас будет больно. И Ольга орала, ведь действительно стало больно, а сексуальный тренер на пару с Толиком упаковали ее ногу в самодельный лубок.

Они втащили ее в лодку; сексуальный тренер поддерживал за плечи, пока Толик выбрасывал на песок неопрятный ком сетей.

— Толян, сядь на весла, а то нырялся — рук не чую.

— Ага.

Лодка тронулась и пошла, толкаемая широкими, умелыми гребками. Вокруг Ольги натекла дождевая лужа, сексуальный тренер растянул над ее головой целлофановый дождевик.

— Вон ейный катамаран куда прибило.

— Вижу.

— Надо потом вернуться.

— Я сам вернусь. Заодно часы поищу на дне.

Ольга тронула сексуального тренера за ногу:

— Почему вы за мной приплыли?

— Катамаран ваш сам собой по речке плыл. Я думал, вы утонули.

— Это вы за мной ныряли?

— Ну да.

— Спасибо. И часы утопили?

— Утопил.

— Дорогие?

— Не-е... говно китайское. Но наградные.

* * *

Остальное она помнила фрагментами — как лежит на боку в лодке, дождь хлещет в зеленый целлофан над ее головой, нога сексуального тренера задвигает под скамеечку, на которой лежит ее голова, жестянку с красными червями, а та опять выезжает наружу, — и это безумно смешно, до икоты, до истерики... А еще она помнила, что именно тогда, впервые за несколько лет, почувствовала себя по-настоящему счастливой.

УМЛЯУТЫ

Умляутов придумала Софочка, старшая дочка Мкртчянов, наших соседей по дому на Гороховой улице, номер восемь. Это были не видимые никому, кроме нее, медузы, плавающие над головами и высасывающие из нас счастье. У Софочки был врожденный вывих плеча, она держала голову немного набок, будто внимательно прислушивалась левым ухом к чему-то такому, что больше никто не видит.

В нашем доме было шестнадцать квартир, а сам дом был построен на манер римской инсулы — квадрат с большим внутренним двором выходил на улицу одной аркой с чугунными воротами. В черные завитушки было вплетено «1884», и Софочка рассказывала, что раньше ворота запирали на ночь, пока в сороковом не забрали ее дедушку. Тогда запирать их стало некому, да и незачем: черные воронки выкосили дом наполовину. Дедушка вернулся в пятьдесят четвертом, без иллюзий и зубов. Умер он, когда Софочке исполнилось четыре, и она совершенно не помнила его при жизни. В шесть лет она заболела краснухой, и бессонной ночью, когда подушка моментально степливалась, а тело плавилось воском, к ней зашел покашливающий старик. Он положил ей на лоб мокрое полотенце и легко погладил по слипшимся волосам. Утром мама с ужасом опознала в Софочкиной истории своего покойного свекра.

Дом смотрел на улицу узенькими недоверчивыми оконцами, в нем легко можно было держать осаду от фрицев, которые частенько высаживались в наших фан-



тазиях на правый берег Кужмы, сжигали деревянный дебаркадер, захватывали небольшую гостиницу, методично перевешав на доске почета весь персонал, и ставили на ее крыше крупнокалиберный пулемет. Их броневики разъезжали по городу, всюду слышалась лающая речь, но захватить наш дом они не могли, о нет. У нас с Марком были два автомата, ящик прошлогодних патронов и стеклянная граната-бутылка «777» — на тот случай, если попадем в котел.

В центре двора из чаши высохшего фонтана росло корявое абрикосовое дерево. На него тянуло всех мальчишек — и все до единого получили от дерева отлуп: Алик разодрал брюки от паха до низа штанины, Марк угваздался в смоле, непонятно как оказавшейся на чистой ветке, Дато расцарапал щеку. Мне повезло меньше всех — я упал и сломал руку. Плодоносило дерево мелкими, сухими абрикосинами, отдавав которые, мы гарантировано получали расстройство желудка. Софочка расписалась на моем гипсе и рассказала, что под корнями абрикоса лежат кости дворового кота Мурзика, до смерти замученного мальчишками на соседней помойке. Вот поэтому нас дерево и не любит, зато к девочкам оно равнодушно.

В то время мы тоже были равнодушны к девочкам, нас тянуло, смотря по сезону, играть в шарик, бегать с брызгалками или гонять на санках с крутого берега Кужмы.

Софочкин папа, носатый и волосатый Гагик Мкртчян, врыл неподалеку от дерева стол и две скамейки. Мужики сидели там вечерами, играли в шахматы или в домино. На лавочке стояла потеющая трехлитровая банка с разливным пивом и лежал ворох астраханской воблы, которую привозил мешками из командировок мой отец. Вечером над столом струился ароматный табачный дым, и дядя Леша, потерявший в Афгане ногу, ловко вырывал у воблы спинку, разделял ее на янтарные полоски и угощал малышню. Сам он предпочитал разбирать ребрышки. Солнце быстро покидало двор, окна квартир наливались светом, и скоро тетя Роза, мама Марка, позовет его ужинать, а следом позовут и всех нас, ведь наш дом — это единый организм, даже борщи на всех кухнях довариваются одновременно...

Я помню ванную в Софочкиной квартире. Мы собрались там однажды под Новый год, когда жизнь сильно приперла: я, Софочка, Марк и Дато. Софочка знала верный способ, как получить в подарок именно то, что хочется. Она поставила на пол ведро дном вверх, зажгла церковную свечку и прикрепила ее в центре дна. Потом достала из кармана пиковую даму и прислонила ее к рубчику на дне ведра так, что на стене образовалась дрожащая прямоугольная тень. Капнув на карту одеколоном, мы взялись за руки и тихо пропели хором: «Пиковая Дама, появись!» Я смотрел на зеленую тень... и вдруг понял, что тень начинает приглядываться ко мне, а в трещинах на стене мне почудился силуэт худой и уродливой женщины.

— Фигня какая-то, — сказал Дато. — Мы в лагере не так вызывали.

— Тихо ты, — шикнула Софочка.

— Айда во двор, ребзя, — пугливо прошептал Марк. И мы пошли во двор.

Я тогда сильно прогадал. Софочка дождалась Пиковой Дамы — та услышала призыв и рванулась из тени на свет. Софочка выкрикивала свои желания до самого конца, и когда Пиковая Дама высунула свои ледяные руки из теневой двери, Софочка задула свечу и разорвала карту пополам, спасшись, таким образом, от неминуемого удушья. Мне в том году вручили новые ботинки и шоколадку, а Софочке подарили розовое платье в блестках, туфли в тон, настоящую золотую корону с маленькими рубинами, новые ботинки и, опять же, шоколадку. Платье и туфли мама убрала в шкаф, до Софочкиной свадьбы, корону папа отвез в сейф на работе, а вот ботинки она нам показала. И шоколадкой поделилась.

Почему-то я не помню, чтобы мы наряжали во дворе елку, даже снеговиков не лепили — снег быстро сгребали лопатами. Зато дни рождения, приходящиеся на теплое время года, частенько отмечали за дворовым столом. Одним июньским вече-



ром Гагик привез из роддома свою жену и маленький сверток, перевязанный долгожданной голубой ленточкой. Через двадцать минут три дочки Гагика таскали во двор миски и рюмки, старенькая бабушка в пушистом козьем платке рубила на столе салат, а дядя Леша прицепил протез, закинул за спину рюкзак и отправился за водкой. Тетя Роза наварила огромную кастрюлю пельменей, а детям выставили на стол длинную самаркандскую дыню, словно покрытую змеиной кожей. Папа вспорол ей пузо и развалил пополам. Дыня показала интимное розовое нутро с аккуратно выложенными семечками. Я получил свою дольку и сел на облупившийся бок фонтана рядом с Софочкой.

— Димка, посмотри на небо...

Я посмотрел, — там висели взлохмаченные крахмальные облака.

— Смотри, сколько там умляутов. Сегодня попируют.

— Поздравляю с братиком.

— Ага. Типа... спасибо.

— Придумала, как назовете?

— А то. Я буду звать его Жопой. Нормальное имечко, да, — Жопа Гагикович Мкртчян?

Я засмеялся так, что чуть не подавился сладкой дынной плотью.

— Прыгают вокруг него... Вокруг меня никто не прыгал. Отравлюсь. Скраду у бабки цианид — и отравлюсь!

Я вообразил себе пузырек с мерцающими фиолетовыми кристаллами цианида, лежащий в аптечке у Софочкиной бабушки между упаковками пирамидона. Вот она запирается с пузырьком в совмещенном санузле, глотает яд и падает замертво в чугунную ванну, а завывающая газовая колонка освещает весь этот кошмар синим светом.

Софочка доела дыню, бросила шкурку в фонтан и подошла к братику. Жопа лежал на руках изможденной счастьем мамы и спал, посапывая фирменным носом. Софочка погладила плотный красный кулачок и сказала:

— Я его люблю, мамочка.

— И я его люблю, Софочка.

— А он скоро умрет?

Легко вообразить, что случилось потом. Софочку выдрали ремнем и неделю не пускали из дома. Она действительно полюбила брата и помогала матери с ним, но та запомнила ее слова и никогда не оставляла мальчика наедине с Софочкой. Вообще никогда.

Новый, 1984 год отмечали в квартире Мкртчянов всем домом. Праздника было сразу два — Новый год и столетие дома. В зале сдвинули столы, пахло елкой и мандаринами; на кухне накурили, мама открыла окно, и в зале прямо из воздуха вдруг пошел мелкий снег. В полночь ребянтня побежала во двор с бенгальскими огнями, а Софочка хлопнула «взрывпакет» — бумажную трубочку со смесью марганцовки и железных опилок, принесенных мною с уроков труда. Бабахнуло славно; в обычное время нам бы поотвинчивали головы, но взрослые уже пили водку, — и все обошлось.

Мороз кусался. Дети побежали в дом, а Софочка подошла ко мне и вдруг поцеловала в губы. Потом мы целовались с ней, запершись в ванной, в той самой, где она отравилась цианидом в моей фантазии.

— Смотри, — сказала Софочка, расстегнув рубашку и быстро задрав майку. — Нравится?

— Ага, — сказал я, хотя в адском освещении разглядел только два темных пятна.

— Все, теперь мы будем жених и невеста. А когда вырастем, ты на мне поже-нишься и заберешь отсюда. Да?

— Да, — ответил я, и мы вновь принялись целоваться. Наутро болели губы...



Мы часто обжимались с ней на чердаке. Тискались и целовались, ничего такого. Иногда я ощущал себя большой свиньей: я совершенно не любил ее, но искал с ней новых ощущений, которые негде было получить.

В один из августов, когда мои родители вместе с родителями Марка уехали на дачу, мы с Марком раздобыли бутылку портвейна, пачку «Родопи» и поднялись на тот самый чердак. После первого стакана Марк закурил и сказал, что в институт он поступать не станет, пойдет в армию, а когда вернется, то они с Софочкой пожениются, — и вот тогда он ее отсюда увезет.

В феврале мне исполнилось четырнадцать, накануне этого дня папе дали новую квартиру. Мы переехали через месяц, и я никогда больше не видел Софочку.

Она была замужем дважды. Первый раз — не за Марком, потом за французом, который все-таки ее отсюда увез, и они счастливо прожили два года в Марселе.

Двадцатого марта Софочка готовила луковый суп. За распахнутым окном сиял расплавленный солнцем Лионский залив, на подоконнике стоял стакан белого вина. Софочка курила, выпуская дым через ноздри, и возила по терке кусок «Грюера». Ее муж сидел напротив, ел яблоко и подпевал Сюзанне Вега из радиоприемника. Когда песня кончилась и началась реклама, Софочкин муж открыл ящик стола, вынул из него пистолет и отправил жену, а потом и себя в теплое марсельское небо. Удивительно, но соседи не услышали выстрелов. Они стали стучать, когда выкипел куриный бульон, и лук стал чадить.

Я понятия не имею, что между ними случилось. О ее смерти я узнал от своего аспиранта Сергея Мкртчяна. Через три месяца ему из Марселя пришло письмо, отправленное Софочкой за несколько часов до смерти. Конверт был весь испятнан лиловыми печатями — полиция изъяла письмо, пытаясь найти причины поступка Софочкиного мужа. В марсельском отделении криминальной полиции под недобрым взглядом переводчика лежал тетрадный листок со словами: «А еще, Жопка, передавай привет своему историку, я его знаю. Напомни ему, как мы целовались в ванной».

Если честно, я выдумал и луковый суп, и Сюзанну Вега, — у меня нет друзей в марсельской полиции, откуда бы мне знать подробности...

Я приехал на побережье Кужмы двадцатого марта, ровно через год. Нашего дома давно не было, на его месте стояла заброшенная стройка. Ветер гонял пустые пивные банки, они катались по земле с каким-то мистическим стуком. Накрапывал дождь, было холодно, отчаянно хотелось курить, но сигареты я забыл в машине. Над моей головой парили умляуты. Они пьют счастье, это правда. И когда кажется, что они высосали тебя до дна, стоит помнить — умляуты умеют переломить нас таким образом, чтобы выпить еще две-три капли, задержавшиеся в складках души.

В ПАЛАТЕ

«Ночь. Ночь. Ночь. Ночь».

Т. Толстая

Ровно в половине восьмого утра в палату заходит Грымза. Она говорит громким голосом, полным торжества человека, который встал час назад, совершил пробежку, выхлестался контрастным душем, съел стакан варенца с горсткой красной смородины — и вот теперь дарит счастье пробуждения размякшим человечьим личинкам. Она стягивает с мальчишек одеяла, — потому и Грымза. Все отправляются в санузел, разлепляют глаза, чистят зубы и спускают воду в унитазе. Никто утром не может противостоять Грымзе, даже Берендей, наблатыкавшийся рассуждать о «правах ребенка».

В начале десятого в палату войдет Лев Иосифович Бенеменсон, которого за глаза зовут Бенеи Криком. Он осмотрит Берендеева, едва не сгоревшего вместе с



родителями на собственном дне рождения в ресторане «Ля Перфексьон». И покачет головой над Лысым, во дворе которого взорвался газовый гриль. Он все помнит про Дрона, Толяна и Белого, необдуманно поигравших с китайской пиротехникой. Все они идут на поправку. Тревогу вызывает лишь Петя Волков, лежащий у самого окна — самый мелкий мальчик в палате, сущее недоразумение, деревенский дичок среди упитанных городских сыночков. Его отец работает золотарем — ездит по деревням на говновозке. Труд этот почетен и высокооплачиваем, а супруга его, Петина мама, все едино двенадцать лет назад лишилась обоняния, случайно нанюхавшись хлорной извести.

Петя попал в ожоговое отделение после того как помогал отцу латать крышу сарая. Отец с почтальоном дядей Колей сидели наверху, а Петя был внизу на подхвате. Он как раз рассматривал красную стрекозу, присевшую на перекладину лестницы, когда дядя Коля, надувшийся с утра ледяного «жигулевского», столкнул коленом вниз ведро расплавленного гудрона. Следующие десять часов Петининой жизни были наполнены болью высочайшего накала. В ее сиянии, как в свете фотографического магния, запечатлелась поездка в город на почтовом узике, аккордеон дяди Коли, без которого он никуда, цветом перекликавшийся с давешней стрекозой на лестнице, белый пантенол, желтый гипозоль и пятеро мальчишек в палате, уткнувшихся в игровые приставки.

Сначала было очень плохо, потом стало очень хорошо; в столовой кормили от пуза, хоть городские и кривлялись, и Петя съедал за обедом по три тщательно проваренных куриных ножки. Берендей, Лысый, Дрон, Толян и даже Белый смотрели на Волкова так, будто он то, что является источником дохода Петино отца; ну и он смотрел на них не лучше. После перевязки Петя глотал свои таблетки и дул на крышу, где можно было сидеть в тени кирпичной будки, в которой легко мог бы жить Карлсон; но Петя проверял — не жил, лишь стояли пустые бутылки от водки и вина «Черный лекарь».

Ветер гонял высушенные до пороха окурки по чертовому гудрону, они скуривались моментально, и надо было опять лезть обожженной рукой в карман за спичками. А во внутреннем дворе ремонтники выворотили асфальт от забора до фонарного столба. На лавочках возле земляной раны сидели разные люди. На север от фонарного столба — сплошные сантехники, а на юг — одни только интерны. Вероятно, они обсуждали обнаженную трубу, покрытую коростой стекловаты, изъязвленную сварочными швами, как с сантехнической, так и с медицинской точки зрения.

Зато после отбоя, когда опускалась тишина и лишь изредка шуршали по линолеуму резиновые тапочки ночных курильщиков, Петя Волков становился самым большим в своей палате, раздуваясь на манер стратостата. Тихим шепотом он рассказывал истории, которые навывдумывал днем. И предметы отращивали новые тени, извиляющиеся, когтистые, демонстрирующие испуганному взгляду мохнатые педипальпы. Берендей, Лысый, Дрон, Толян и даже Белый прекрасно знали, что деревенский навозник все врёт. Но даже если смеялись над ним, то все равно боялись идти ночью в туалет, — ведь там, напротив трубы, была дурацкая узенькая дверка, через которую приходила в мир людей Смерть. Днем Смерть мыла полы на третьем этаже — скрюченная зеленоватая старушка со стеклянным глазом. Если спрятаться в ординаторской, как это сделал Петя Волков, то можно было увидеть, как эта старушка, воровато оглянувшись, юркает в свою узенькую дверцу — и нет ее. Даже если заглянуть потом в дверцу, то там увидишь только трубы, лохматые от паутины.

Какую же силу берут над детьми сумерки и шепоток записного враля! Верили не мозгами, но середкой души, что Грымза живет в морге, в специальном холодильнике. А утром по больнице ходят не только настоящие медсестры, но и медсестры поддельные. Узнать их можно по черной ниточке, будто случайно лежащей на во-

ротнике. Если выпить таблетки, которые принесли такие медсестры, то быть беде. И уж конечно, нельзя идти за ними на процедуры, потому что пойдешь, — и сначала все будет обычное — коридоры, лестницы, люди, — а потом коридоры станут кривыми и незнакомыми, откроется дверь, а за ней — Черный Доктор. И никому неведомо, что он сделает с беспечным мальчишкой, но вряд ли что-то хорошее, коль горлом у него идет густой дым и сыплется уголь. А потом ты вдруг очнешься в палате, думая, что это просто был страшный сон...

В палату заглядывает дежурная медсестра и говорит:

— А ну тише! Болтуны сейчас возле стола будут стоять!

И палата смолкает, дети вмерзают в подушки, тихо... тихо... спать... Берендей шепчет:

— Брехло деревенское... — но следит, чтобы ноги не высовывались из-под одеяла.

И тогда уже окончательно наступает ночь. Где-то далеко, в своей квартире, Грымза ложится в постель, а муж толкает ее в бок, говоря:

— Ну чего ты балкон расхлебенила? Холодно... как в морге!

И Смерть заводит черный будильник — завтра столько работы! Потом кладет в стакан свой стеклянный глаз, недолго ворочается — и тоже засыпает.



«НА ЦВЕТОК МЕДОНОСНЫЙ ЛЕТИТ ПЧЕЛА...»

Ольга ШИЛОВА

ВАВТОБУСЕ

Только вспомнила про яблоки в саду:
как сейчас приеду — уполету —
штук четырнадцать — одна — в один присест! —
а дедок уже к себе в пакет полез —

тянет яблоко и перочинный нож...
А мои в саду — вкуснее, всё ж!
Так всегда бывает: чем красней —
чем красивей — тем они вкусней.

А дедок — зелёное жуёт...
вслед ему конфету достаёт...
чмокает уж пятый леденец...
Скоро ж мы приедем, наконец?

* * *

Если влюбиться — то только в монаха.
Только в монаха нельзя.
Вот бы и мне, как июльская птаха —
жить — замерев от Господнего страха —
в ласковой сини скользя...

Мошек ловить и чирикать на ветке...
но для чего Ты, Господь,
дал мне смирать в усмирительной клетке
неусмиримую плоть?



* * *

Потолок небесный низок.
На асфальте — гололёд.
Галка — яблочный огрызок
на обочине клюёт.

Ну и гнусная погода:
всюду и везде — вода.
Ноги встречающих пешеходов
лишь видны из-под зонта.

Презабавно и курьёзно:
кто есть кто — не разберу.
Но когда не виртуозно
держишь зонтик на ветру —

то и дело жди подянку —
кабы кто в тебя не влип.
А ещё, что наизнанку
вывернется мокрый гриб.

* * *

Эта пёстрая птичка лесная
упорхнула за мною из рая.
Эти шавки, что уши пригнули —
за любимой хозяйкой шагнули
в этот морок, уныние, смрад,
в злотерновника жалящий сад.

Им потом понаделали будок...
натаскали на зайцев и уток...
разобрали по тёплым домам...
к дармовым приучили кормам...
расселили по басням и сказкам...
обучили за лакомства пляскам...

Посредине трескучей зимы
спят аквариумные сомы,
канарейки-коты-попугаи —
видят сны о всамделишном рае...

Миллионы уж лет этим снам.
В них — безмолвно-прекрасный Адам —
на заре своих девственных лет —
и не знающий — что он Поэт...

что ему уже Богом дана
первозаповедь первых речений:
для грядущих вслед — стихотворений —
всякой твари наречь имена!



* * *

На цветок медоносный летит пчела.
 Не обманешь бессмертной моей пчелы.
 На обычный вопрос: «Как твои дела?»
 Отвечаю: «Сладки они и светлы».

Даже слаще, чем мёд и светлее дня!
 Потому невозможно её унять —
 эту чудо-пчелу — что летит, звеня —
 на цветок, и чуть свет — полетит опять —

на чистейший наркотик, на Божий дар —
 что небесную радость в себе таит.
 Ей не сладок ничей на лугу нектар.
 Сколь ни пробуй — а всякий чуть-чуть горчит.

И, конечно, она от него хмельна...
 А иначе? — иначе не может быть.
 Говорят, что любовь, будто смерть сильна.
 А ещё — что по смерти мы будем жить!

Ольга АНИКИНА

* * *

О чём тоскуют поезда,
 О чём так жалобно вздыхают?

О том, что едут не туда,
 куда мечтают... —

На поводке железных рельс —
 всегда, вчера, сегодня, завтра —
 ни в горы, ни к реке, ни в лес,
 а в Монино
 да в Александров.

О чём ты, поезд мой, гудишь,
 едва лишь миновав Мытищи?

Всё жалобней гундишь,
 всё тише:
 «Хочу в Париж!»...
 «Хочу в Париж...»

* * *

Я вспоминаю понарошку
 премудрость кухонных наук.
 Я жарю жёлтую картошку
 и чищу золотистый лук.



Дурман кинзы и базилика —
на кухне, в комнате — везде!
И мягким жаром дышит плитка,
и масло драгоценным слитком
сияет на сковороде.

Шкворчат картофельные дольки,
всё ярче корочка у них.
«Во сколько ужинать?» —
«Во сколько?» —
весь дом восторженно притих.

Гляди-ка, похватили ложки...
(Сравненья — тусклы и сухи...)

Поэт!
Нажарь семье картошки,
когда не пишутся стихи!

* * *

Я знаю, что снова
чертовски была неправа.
Вину признаю,
но по-детски надеюсь на чудо.
Прошу Вас, Товарищ Инспектор!
Отдайте права!
Я здесь повернула под знак... Но я больше не буду!

Я в пробках стою!!!
У меня в бардачке есть ключи
на десять-четырнадцать!
Скорость? Да что Вы, ей-богу!
Я даже во сне вижу беленькие кирпичи
на красных кружках — и дорогу, дорогу, дорогу!!!

Товарищ Инспектор, какой из меня пешеход...
Ни шубы, ни туфель...
Зато без изъяна машина!
Верните права, и Господь вам поставит зачёт.
И даму вперёд пропустите,
Товарищ Мужчина.

* * *

и всё-таки, как это ей удаётся —
её невозможно спутать
ни с кем,
даже если она появляется
каждый раз
в другой стране,
в новом платье
и с новым прошлым.



она удивлённо моргает,
притворяется,
будто видит тебя впервые.
ты идёшь на запах,
хватаешься за перила,
и ступени качаются, и внизу глубоко.

и однажды,
перед рассветом,
ей повезёт:
она
снова сбежит от тебя
по верёвочной лестнице,
будто бы навсегда.

непостижимо,
как это ей удаётся...

* * *

В тенетах строк ночуют имена,
и видят сны, не зная друг о друге,
и часто просыпаются в испуге,
и ночь для них мучительно длинна...

...ворочаются, ждут, что выйдет срок,
им зябко в междустрочьях полутёмных,
и каждое из них — слепой котёнок,
подброшенный людьми на мой порог.

Все домыслы пусты,
расчёты врут,
а память размывается и тонет...
Но имена... мне тычутся в ладони,
и снятся мне, и плачут, и зовут.

Мария ДУБИКОВСКАЯ

СТРАШНАЯ СИЛА

Я раздражитель для чужих мужей.
Событие локального масштаба.
Мечта поэта. Вишня в бланманже.
Водительница нервов по ухабам,
Бросательница взглядов, и платков,
И вызовов. Движенье ли, изгиб ли...
Тропа войны. Страна для дураков.
(Вы пойманы — опутаны — погибли...)
Жемчужина в пяти шагах ходьбы.
Нет, бриллиант волшебного ограна.
Сюжет дуэли. Поле для борьбы.



Приз лучшему. Джоконда без охраны!
Я раздражитель для чужих мужей.
Я их желанья ощущаю кожей!
... Пока нет раздражителя свежей —
Чуть-чуть красивой. И чуть-чуть моложе.

* * *

Мы слышали прошлым летом
Разговор яйца с омлетом.
Началось издалека —
— Вы разболтаны слегка!
Слабоват у вас характер,
Слишком много молока!
— Да и вы, — сказал в ответ
Рассердившийся омлет,
Не особенно крутое,
Знаю-знаю ваш секрет:
Только с виду гладко,
А внутри-то — смятка!

Чем окончен этот спор,
Мы не знаем до сих пор,
Потому что съели завтрак,
Не дослушав разговор.

ПАРИЖСКИЙ ШАНСОН

Однажды ты какой-то город
Себе приснишь,
И вот уже легко и гордо
Над ним паришь,

И вертишь две случайных фразы
На языке,
И обнаруживаешь сразу
Себя — в строке.

И замечаешь прямо с трапа
Программы гвоздь:
Торчит изысканным жирафом
Земная ось!

Но из-под юбки чудо-башни
Узришь едва ль,
Как интересно девки пляшут
На пляс Пигаль!

И ты идешь туда по лужам,
Но с ветерком
Тебя всосёт в себя верблюжий
Монмартрский холм,



Чтоб там какой-нибудь умелец
Сумел успеть
Тебя на фоне пыльных мельниц
Запечатлеть.

На живописцев глядя стильных,
Впадаешь в раж бланманже
Мечтаешь тоже взять Бастилью
На карандаш!

Нельзя не взять: цветут балконы,
В душе — июнь,
Прекраснозады аполлоны,
Куда ни плюнь.

На древнекаменных ступенях
Сидишь, устав,
Пытаясь вишни и сирени
Читать с листа.

Прочистив клюв, плеснув на крылья
Кокошанель,
Опять летишь — на запах гриля,
На рю Гренель,

Где беллетрист велит гарсону
Нести гляссе
И правит маркером лимонным
Свое эссе.

Там лук исходит тихим супом
На карамель,
Там будут звать тебя преступно
«Мадмуазель!»

А в звуке, что светло и ясно
Струит струна,
Там перекрещены пространства
И времена.

Потом каштаны гасят свечи,
Огни рябят,
Вписав себя в парижский вечер
(Его — в себя),

На ус наматываешь устриц,
На шею — шарф,
И пьешь бордо с улиткой улиц
На брудершафт.

Я ЖЕНЩИНА ПОЧТИ БЕЗ НЕДОСТАТКОВ

Я истеричка. Я невыносима.
Я разная, как сто улыбок мима.

Я эгоистка. Я великолепна.
Я от своих лучей, сияя, слепну.

Я нимфоманка. Я — непостоянна.
Я ветрена, я буду Ваша рана.

Я вечная эксгибиционистка.
Я обнажаю чувства. Я артистка.

Я королева черного пиара.
Я сплетница. Я Вам совсем не пара.

Я аферистка. Я плету интриги.
...Я лишь фрагмент. Я вырвана из книги.

Я Вас люблю. Я Ваша без остатка.
Я женщина почти без недостатков.

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ

Ломая каноны, минуя заветы,
Взрываюсь словами в ладошечный рупор:
ПРЕКРАСЕН МУЖЧИНА, УПЕРТЫЙ В ГАЗЕТУ!
(В сравненьи с женщиной, упертым в компьютер.)

(Слегка поразмыслив, спустя две минуты
Убавила в голосе уровень грома:
Прекрасен мужчина, упертый в компьютер,
В сравненьи с женщиной, упертым из дома.)

ОВРЕДЕ ИНТЕЛЛЕКТА

Толку нет носиться с умной рожею.
Если жизнь с размаху лупит палкой —
Лучше идиоткой быть восторженной,
Чем подавленною интеллектуалкой.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТЕСТА

Ты говоришь: «Культурный дискурс...
Полисемантика контекста...»
А я на даче рву редиску!
И это — акция протеста!

Андрей ЦУНСКИЙ

ГОРЯЧАЯ ВОДА

Главы из повести

ДЯДЯ КОСТА

Даже мой папа, вообще не склонный выносить какую бы там ни было оценку мужской внешности, называл его Червоным валетом. Сережка был безусловно красив, и о такой модели мог бы мечтать любой художник.

Его внешность не претерпевала неприятных метаморфоз, он никогда не был гадким утенком, плавно и уверенно перешел он из разряда «хорошеньких мальчиков» в недосягаемую касту «красавцев». И если не был он обвешан девчонками, как елка игрушками, то только потому, что были у него две черты характера, ставшие этому помехой, — одна проявилась сразу, а вторая со временем. Скромность, доходящая до растерянности, мгновенно выдавала себя на румяных щеках, даже в детстве не позволяя ему взять в гостях конфету из коробки. А потом оказалось, что он еще и абсолютный, бескомпромиссный однолюб.

Но это все позже. А пока мы были заняты с ним и обаятельной шпаной *Олегой* Родионовым по кличке Родимчик серьезнейшей конструкторской работой. Олега был старше нас года на два, но ростом не вышел, хотя в драке побаивались его и те, кто был постарше. Что бы он ни делал — бил ли кому-то морду, разыгрывал ли комбинацию на футбольном поле, учился курить или просто бездельничал — все это проделывалось с необычайной выдумкой. Если учиться курить — то там, где родаки уж точно не засекут, а именно — на верхней ветке кривого дерева. Хорошо, что расстояние до земли было не больше трех метров, да и газон — поросшая травой куча мусора — был мягким.

А футбол! Закружив всех защитников и выманив на себя вратаря, в истерическом прыжке несущегося на него, Олега делал хитрую рожу и пяточкой откидывал мяч на набегающего следом партнера, который оказывался перед абсолютно пустыми воротами. После неминуемого в такой ситуации гола Олега изображал Моргунова, танцующего твист, и приговаривал: «Пиздык-тык-тык!» — заразительно смеясь.

Когда ему уже почти что прилетело от парня из автотранспортного техникума, отслужившего в армии и слегка приبلатненного, Олега занял позицию перед «Жигулями» профессора Гроссмана. От взрослого удара Олега увернулся, как пружинный клоун. Здоровенный кулак агрессора разбил в крошку боковое стекло, заревела сигнализация, и обидчик загремел по хулиганке, к тому же разворотив себе руку, которую несчастный профессор сам же и лечил потом, понуждаемый к этому клятвой Гиппократата — и вряд ли чем-то более.



Сейчас Родиончик (вторая, «добрая» его кличка) был единственным из нас троих, кто еще соображал, несмотря на тридцатиградусную жару, для северян убийственную. А задача перед нами стояла нешуточная. Час назад от нас отвернулись футбольные боги. Несмотря на самую добросовестную самоотдачу, мы проиграли арбуз команде, состоявшей из второй половины обитателей двора. И не просто арбуз — десятикилограммовый, за три рубля, а наскрести удалось только рубль с мелочью. Олега поплелся домой и принес оттуда отцовскую удочку-донку, несколько проволочек — легко гнущихся, но упругих, дрель со сверлом и гирию от ходиков в виде коричневой свинцовой елочной шишки. Мы стали по очереди сверлить гирию у толстого конца, пока Родиончик, недавно посмотревший «Золотого теленка», радостно покрикивал: «Сверлите, Шура! Она золотая!» После чего драчовым напильником конец шишки был отточен до опасной остроты, а проволочки засунуты в дырки, чтобы торчали в разные стороны. Снаряд был готов.

Мы влезли по пожарной лестнице на пункт приема утильсырья, тихо прокрались к венчавшей здание базара галерее и влезли в полутьму.

Двор нашего дома состоял из сходящихся углом двух заборов — большого и маленького. Маленький отгораживал открытую часть городского рынка, большой всегда был мрачным и серым, — и тогда казался нам очень высоким. За ним была, есть и надолго еще останется городская тюрьма. С высоты базарной галереи мы увидели, как угрюмые люди убирали тюремный двор, пилили бревна, а один красил на солнышке через трафарет лозунг-растяжку «Первый раз в первый класс!» и дорисовывал на красной ткани желтые кленовые листья. Мы тем временем оказались уже над пирамидой арбузов, вокруг которой были расставлены ящики с помидорами, огурцами и прочими дарами юга.

Родиончик буркнул:

— Щас пульну! Только «бороду» не намотай, придерживай, Серый...

Гирия полетела вниз и вонзилась в арбуз. Серега начал плавно подкручивать катушку, арбуз приподнялся над плодовым избытком и медленно, как солнце, начал подниматься к шести жадным ручонкам. Подъем занял минуты три. Леска держала, проволока не подвела! Все оказалось просто и от этого даже скучно.

— Что, очко жим-жим?.. Бросаю! — шипит Родиончик и гарпунит еще один арбуз прямо в макушку с хвостиком. Начинается медленный и опасный подъем, на неведомо откуда взвешемся сквознячке арбуз-гигант начинает подкручиваться, и это самое чувство «жим-жим» охватывает нас целиком и полностью, а полосатая сфера срывается с гири и падает прямо на чашу весов, на которую только что грузин-продавец положил толстой тетке три килограмма помидоров!

В сравнении с тем, что творилось внизу, самая кровавая шекспировская сцена менее красна и текуча, любая режиссерская находка окрашена куда скуднее. А мы бежали, бежали, один сорвался с лестницы, второй прыгнул прямо со стены, третий... А третий — это Родиончик, и он застрял, потому что в руках у него донка и дрель, за которые от отца влетит еще сильнее, чем от милиции, и...

За серебристым заборчиком разрослись кусты, куда местные алкаши ходят справлять нужду. За кустами — штабели ящиков. Внутри — построенная во время игры в штурм рыцарского замка и невидимая со стороны башня. Именно в ней мы с Серогой помогли Олеге расплести обвившуюся вокруг каждой его пуговицы, каждого пальца и даже шнура на кедах леску. При этом Олега держал в руках драгоценный трофей — арбуз! Он бы и бросил его — но запутался и не смог.

А через пару часов все футболисты двора пожирали полосатого красавца под теннисным столом и смотрели на нас, как на придурков:

— Блин! Тут такое было! Менты приходили, вас искали!

— А ты и заложил, обсос политурный! — смеется Родиончик. Он доволен. Ему противно шевелиться и даже отгонять мух и ос.

Врали друзья наши. Не было никаких ментов. Никто не гнался за нами. Крику, правда, было много...



А через день во двор пришел дядя Коста и принес в мешке четыре арбуза, а под мышкой — ящик винограда. Он грустно на нас посмотрел и сказал Сереге:

— Эй, биджо!

Серега попятился. Но дядя Коста продолжал:

— Дети! Иди сюда! Кушайте арбуз. Кушайте! Я вам принес! Сам принес! Я знаю дорогой арбуз, знаю хороший, эти — хороший! Кушайте! Только воровать не надо! Сегодня арбуз, завтра кошелек... Вам тут кажется, что идти недалеко! Тюрьма не ходят, тюрьма ездят! Тюрьма не сидят, тюрьма всегда бегают... И бьют много...

Он сам разрезал огромные арбузы на большие куски, на железном подносе помыл виноград из шланга, сел на скамеечку. Мы, осмелившись, стали угощаться, а он смотрел, не кончился ли у кого кусок, не оттирают ли в сторону маленьких.

Когда все было съедено, он сказал:

— Захотите арбуз — идите базар, спросите дядя Коста. Я дам. Воровать не надо. Это я вас так прошу не делать. Воровать — очень плохо воровать. Мой Арчил тоже теперь все бьют, бегают тут на Север с пилой за елкой. А я арбуз привез. Ему деньги надо, много деньги, чтобы раньше отпустили. Кушайте... Не ездите тюрьма... Кушайте...

И заплакал.

ТРИБУНА

Представьте себе трибуну. Высокую, метра четыре... или даже пять. С крутой лестницей, вернее, с двумя, — по одной нужно подниматься, а по второй спускаться. К первой в определенное время всегда выстраивается очередь. Представитель каждой проживающей в доме семьи непременно стоит в этой очереди и медленно продвигается вверх. А там — там он поднимает руку, как Ленин на памятнике, и...

Когда я был совсем маленький, то любил подниматься на эту трибуну вместе с папой. Мы делали это в компании с живущим в соседнем подъезде папиным коллегой, дядей Левой. В очереди никто не думал о предстоящем публичном акте — разговоры шли на отвлеченные темы. Старушки как всегда ворчали и сплетничали, — но, конечно, куда осторожнее, чем сейчас. Мужчины вели беседы о рыбалке, охоте, дачном сезоне и ценах на доски и навоз. Женщины помоложе жаловались на здоровье детей, постарше — на собственное. Те и другие дружно ругали врачей, оглядываясь, не стоит ли рядом кто-нибудь из семейства профессора Гроссмана, — он считался врачом хорошим, и его, понятное дело, побаивались прогнать.

Профессор Гроссман выходил из дома заранее и устремлялся к трибуне, когда замечал, что к концу очереди пристраиваемся мы втроем. Папа и дядя Лева всегда говорили о джазе, о кино, о премьерях в театре или о спорте. Старушки посматривали на нас косо: хотя профессор Гроссман был немец, а папа — поляк, мы для них все равно были чужими. Обрывки наших разговоров их нервировали: «Итальянский неореализм... Джон Колтрейн... Роланд Матиас...» Только если папа заговаривал о том, почему крохотная ГДР всегда соперничает с Советским Союзом на Олимпийских играх, и возмущался: «Они не жалеют денег на то, чтобы в каждой школе был хотя бы маленький бассейн, а в каждом дворе — баскетбольная площадка, хоккейная коробка...» — это вызывало сочувствие.

Дяде Лева очень не нравилось, когда кто-то знал больше чем он или когда ему нечего было добавить к сказанному кем-то другим. Папа любил из-за этого его разыгрывать, и профессор охотно принимал участие в этих розыгрышах. Обсуждая как-то «Семейный портрет в интерьере», папа вдруг вставил в разговор, незаметно подмигивая Гроссману:

— Но, конечно, эта картина никуда не годится по сравнению с «Седеющим медведем» Баттистини...

— О! — подхватил профессор. — Венецианский фестиваль... Да. Всеобщее признание. Просто колоссальный успех!



— Еще бы! «Золотого льва» кому попало не вручают! — оживился дядя Лева. Баттистини — это просто новое слово в кино...

— Джаккомо Баттистини... — подначивал папа.

— Нет, его зовут Джироламо! О нем прекрасно написала Алла Гербер... — «поправил» профессор.

— Аллочка? — встревал дядя Лева. — Она просто умница. Мы сто лет с ней знакомы. Она не могла написать о глупом фильме хорошо! О, простите... Кажется, я слышу...

— Да подожди, Лева, — вдруг озадачился профессор Гроссман. — Когда Алла на прошлой неделе приезжала к нам, она ни словом тебя не упомянула! Может быть, она просто не знает, что ты переехал сюда? Или вы, мм... как-нибудь нехорошо расстались....

— Как?! — вскрикнул дядя Лева — Аллочка была здесь? Где же она остановилась?

— Так она же останавливалась в нашей квартире! — ахнул Гроссман — Надо же — через три подъезда. И вы так и не встретились. А давно не видались?

— Ну... Прямо скажем, давно. И расстались не очень. Это, собственно, была моя инициатива... Понятно, что после этого она могла и не захотеть со мной встречаться...

— Да... Тогда, может, все и к лучшему — не расстраивайся, Лева. Но она обещала сегодня нам позвонить из Москвы. Может, передать ей привет, или как-то сказать ей, что ты ее вспоминаешь, не забываешь...

— Да не нужно, сами подумайте... Сколько таких Лёв у нее было...

— Ну да, — хитро улыбался папа, — включая венецианских...

— Так и я про что. Тем более... — грустил дядя Лева, и глаза его устремлялись в печальную даль, ограниченную краем площадки, где мы обычно играли в футбол. — Знаешь, ты ей просто скажи, что передавал привет один из ее давних поклонников. А имени просил не называть. Зачем. Прошлого не вернуть...

К этому моменту папа мой еще мог сдерживаться, но профессор уже был близок к истерическому смеху, поэтому достал носовой платок и начал сморкаться в него, зарываясь в клетчатую ткань почти всем лицом. Если бы разговор продолжился еще пять минут... Но тут раздался рев подъехавшего грузовика с высоченными бортами, и очередь проснулась, каждый поднялся наверх, по-ленински поднимал руку и бросал в кузов мешок с мусором или опустошал туда помойное ведро. Спускались с трибуны по второй лестнице очень быстро, потому что сзади напирали другие жильцы, и внизу выяснилось, что профессор Гроссман уже куда-то исчез.

— А где наш Гиппократ? — весело спросил дядя Лева.

— Да только что был здесь... — отвечал папа.

— Ладно. И я побегу. Сегодня «Торпедо» играет с киевлянами... Минут десять осталось. Пока. Ой, пока, Андрюха!

— До свидания, дядя Лева, — спокойно попрощался я, не понимая всей подоплеку разговора.

Лет через пять-шесть я вспомнил этот день, когда трибуну сносили. Ее раздавили бульдозером, это место заасфальтировали и поставили туда железные контейнеры для мусора. Дома я рассказал, отчего смеюсь и не могу остановиться.

Годы спустя, познакомившись с Аллой Ефремовной, я не удержался и рассказал ей эту историю. В результате она, вдоволь насмеявшись, надписала какой-то журнал: «Моему нежно любимому и верному рыцарю Левушке с самыми романтическими воспоминаниями о незабываемых днях!» Журнал я отдал папе, тот посмеялся, и отдал журнал профессору Гроссману. Вечером Гроссман позвонил и позвал папу выпить коньяку. Папа вернулся поздно, и когда мама осуждающе на него посмотрела, сказал только одно слово:

— Баттистини! — и тут уже начали хохотать все трое.

Только просмеявшись, мама наставительно выдохнула:



— Бедный Левка! Сволочи вы! — но снова прыснула.
Если речь заходит о кино, дядя Лева теперь всегда напоминает:
— А уж если говорить об итальянцах, не забудьте и Баттистини! Великий мастер!
Мы знаем, что это случится, и замираем заранее.

ГАЗОВАЯ КОЛОНКА ДЯДИ ЭЙНО

И сейчас не очень-то заставишь детей мыть посуду. Посудомоечная машина требует всякой химии, тарелки необходимо очистить от остатков еды, а кастрюли и вовсе нужно драить вручную, как и пригоревшие сковородки. А тогда...

В комплект для мытья посуды входили обязательно чайник, чистая кастрюля, тазик, тряпка номер один и тряпка номер два, ершик для мытья кефирных бутылок (молока и прочего в бумажных треугольничках у нас не продавали). Греешь чайник и кастрюлю, смешиваешь в тазике воду до терпимой температуры, моешь тряпку номер один хозяйственным мылом или мажешь пастой «Санита» — и моешь все на первый раз. Чайник на это уходит полностью. Затем все споласкиваешь холодной водой, ошпариваешь кипятком из кастрюли, чтобы отбить запах «Саниты» или того же мыла. А еще надо чистить и драить плиту, вытирать со стола... Потом очистки картофеля и овощей вместе с тем, что осталось в тарелках, несешь в пакете на лестницу и выбрасываешь в эмалированное ведро с крышкой и надписью «пищевые отходы». Ведра благоухали между этажами, тараканы не переводились, а свиньи или кому это там предназначалось, судя по магазинным мясным отделам, так и не ели эту дрянь. И попробуй только бросить в ведро газету! Уборщица по номеру квартиры на газетном уголке вычисляла, как Шерлок Холмс, кто виноват, и устраивала скандал на весь подъезд. Так что процедура была неприятная и длинная.

Понятно, что у всех вызывали черную зависть те соседи, кто ухитрился пробить себе установку газового водогрея. В нашем подъезде жил такой один — дядя Эйно.

Дядя Эйно был учителем физики, офицером, театральным актером, а еще — режиссером на телевидении, где работала моя мама. Родился он в городе Соликамске, куда попали его финские родители, приехавшие строить социализм. Они, эти финны, ехали сюда с возвышенными целями, с широко распахнутыми глазами — сначала от радости, а потом от ужаса...

Дядя Эйно был из везучих. Его родителей реабилитировали при жизни. Правда, они потом недолго прожили. Однако им успели дать жилье в нашем доме, — и это было уже достижение. Для старого своего отца, очень больного и едва ходящего, дядя Эйно и вытребовал газовую колонку. Но отцу она послужила недолго. Отец умер, а колонка осталась...

Дядя Эйно чудом уволился из армии, будучи офицером. Пока родители сидели, его пожалел какой-то чин, которому понравился мальчишка, хорошо говоривший по-английски и по-фински, и умудрился запихать в Суворовское училище, откуда прямая дорога была в военное училище. Так и оказался плохо говорящий по-русски и заикающийся парень командиром взвода в пехотной части. И вдруг — чудо! Впрочем, чудо было несложное — среди его вещей была семейная Библия. Кто-то стукнул, и если прежде его рапорты с просьбой об увольнении в запас неизменно заворачивали, то после такого дела сразу вызвали в политотдел и подозрительно вежливо предложили уволиться. Когда он согласился, начальник штаба полка даже выпил с ним литр спирта, и на следующий день армия и дядя Эйно расстались — к взаимному удовольствию. А вот то, что родителей освободили, и мать послала ему несколько семейных реликвий — это уже было чудо настоящее.

О финнах есть несколько стереотипных мнений. Но главное, чем они отличаются от других — это любовь к порядку и уюту. У дяди Эйно дома росла самая настоящая береза, дверь «купе» в гостиную двигалась на роликах, свой первый телевизор он собрал и спаял по схеме сам... После театра Эйно оказался на телевидении и



довел до совершенства русский язык, даже поборол заикание. Он вел телеуроки физики в костюме то Ломоносова, то Лавуазье, то в парике и с усами Эйнштейна.

Когда мне было пять лет, бабушка как-то стала читать вслух «Золотой ключик» Толстого, прилегла на минутку — и не просыпалась, как я ее ни будил. Я взял из шкафа двадцать пять рублей и попытался купить на них автобусный билет. На студии меня знали все, включая охранников, и, выслушав сбивчивый рассказ — мой и автобусной кондукторши, которая привела меня к проходной и принесла двадцать пять рублей, выдав билет просто так, — вахтер тут же позвонил маме; она прибежала прямо из павильона. Тут же через проходную вошел на студию дядя Эйно. Он посмотрел на меня, на маму и на кондукторшу — и отвел маму в сторону. Мне объяснили, что мама едет в срочную командировку, к бабушке непременно зайдет, а я сегодня переночую у дяди Эйно.

В ванной у дяди Эйно я сперва помылся под горячей водой, которая текла прямо из крана в стене — событие! — а потом он посолил воду, и мы играли в кораблекрушение: вода стала морем, мыльная пена из настоящего шампуня для ванн изображала айсберги, а мыльницы — пироги дикарей. На ночь дядя Эйно читал мне сказки. Утром он ушел на работу, а меня развлекали его сыновья — Леша и Миша. Леша учил меня клеить самолет по схеме из журнала, а Миша — решать примеры. Леша был старше меня на четырнадцать лет, а Миша — на одиннадцать. Их мама, тетя Эйла, кормила нас обедом, завтраком и ужином, и я блаженствовал пять дней, не зная, что меня отделяют от горя всего-навсего пол и потолок...

Уже потом меня отвезли на кладбище, и я увидел могилу с бабушкиным именем на красной тумбочке. Я заплакал, и только папа сумел успокоить меня, шепнув на ухо: «Об этом никто не должен знать!» Я не стал спрашивать о причинах, просто поверил.

Дядя Эйно пользовался своей газовой колонкой не так уж и безмятежно — ему часто на каких-то собраниях задавали вопрос, отчего это у него есть, а у других нет... Но человека, который повидал в жизни столько, собранием не напугаешь. Даже в самолете его однажды спросили, почему это у него в салоне с собой финский огромный нож, — и он показал закон, по которому оружие имеет право носить всякий гражданин, если оно является деталью национального костюма. И предъявил паспорт, где было черным по белому написано, что он финн. И его, и нож оставили в покое. Так что собрание — чепуха. Висел водогрей и висел себе, работал исправно, и на кухне у дяди Эйно была идеальная чистота. Как, впрочем, и везде.

Но чему не мог воспротивиться даже дядя Эйно, так это прогрессу коммунального хозяйства. В городе построили теплоцентраль, — и вскоре в нашем доме по плану должна была у всех без исключения появиться горячая вода. Особенно в это никто не верил, поэтому все пришли в сильнейшее возбуждение, когда на дверях подъездов появилось объявление с требованием «обеспечить доступ для комиссии по проведению г.в.». Ехидные старушки приговаривали, что у них и своего «гэвэ» в квартире достаточно, другие отвечали, что вот им-то и подчистят квартирки в первую очередь. Посмеялись — и все, тем более что в назначенный день никто и не вздумал прийти. Зато через неделю в дом явились тетка с тетрадью и мужчина в синей шляпе. Тетка делала пометки в таблице, нацарапанной шариковой ручкой, а мужчина командным голосом объявлял: «Так! Холодильник из коридора убрать! Книжные полки убрать! Обувь убрать! Вешалки убрать!» А на вопрос, зачем это все делать, возмущенно кричал: «А как мы вам трубы для гэвэ проводить будем? А?» Следом шли двое бугаев, которые ломали титаны — похожие на сардельку емкости с чугунной печкой внизу. Чтобы помыться, нужно было идти в подвал, там в отгороженной клетушке хранились запасы дров. Теперь у нас даже забрали ключи от подвалов.

В тот же день явились неприятно пахнущие грязные люди с инструментами и книжечками «Горгаз». Они вынесли газовую колонку дяди Эйно и швырнули в машину. Машина уехала со двора, исчез человек в шляпе, пропала дама с тетрадкой. Дядя Эйно, вздохнув, нагрел ведро горячей воды и вымыл в своей квартире кухню, коридор, а в подъезде — лестницу. Он очень не любил беспорядка и грязи.

БАННАЯ ВЕСНА

В субботу уроки заканчивались в 13:10, и в половине второго я уже был дома. К этому времени папа готовил чистое белье, полотенца, мочалки из лыка, мыло в мыльнице и несколько газет потолще. Мы собирались в баню.

Отдельно от всего остального заворачивался шампунь. Голову полагалось сначала мыть мылом, а приятно пахнувшей «Флореной», кремом для бритвы с красной полосой, — только на второй раз. И уж тем более только на второй раз мыли голову шампунем «Волна» — бешеным дефицитом! Сравнить этот шампунь можно было только с иранским стиральным порошком голубого цвета. Потом, когда в Иране произошла революция, порошок исчез вместе с шахом Резой Пехлеви.

Но вот — все готово, мы выходим из дома, прогуливаемся пешочком до бани и встаем в очередь. В очереди можно было простоять от часа до двух, но очередь в баню принципиально отличалась от очереди за продуктами, промтоварами и очереди в кинотеатр. За продуктами пристроиться к знакомым было практически невозможно — армия старух поднимет восстание. Заезавшихся детей пихали перед собой и брали на их голову полагающуюся по норме в одни руки лишнюю пачку масла, пока оно было без талонов, две бутылки сливок и пару кефира. За вещами очередь была демократичнее — ясно, что старушки стоят в очереди за джинсами не для себя. Такую очередь занимали и сразу мчались звонить из автомата домой или соседям, если у самих не было телефона...

Лучшей очередью была очередь в кино. Если увидел знакомого — сразу подходи к нему: почему-то сидеть в кинозале рядом со знакомыми считалось нормальным и вежливым, никто и не протестовал. А вот в бане... У каждого места был номер, и мы с папой нередко оказывались на разных концах холодного предбанника, но я был маленький, и мы вполне умещались на одной деревянной скамейке с двумя крючками для одежды.

Обнаружив в бане свободный каменный стол с желобками — как в покойницкой, только коротенький, — нужно было отловить освободившуюся шайку, помыть ее в горячей воде из крана, облить горячей водой свое место и застолбить его, положить мыльницу и пакет с мочалкой. Шампунь и «Флорену» следовало доставать в последний момент, чтобы не искушать никого украсть или просто помыться на халяву.

Парилка... Вот для чего шли сюда все. Вот почему в банной очереди мог оказаться и работяга с тракторного завода, и какой-нибудь замминистра — или даже секретарь райкома! Пар, лечебный, согревающий тело и душу, оставляющий на выходе из парилки приятное изнеможение, шайка холодной воды на голову — и ты еще блаженнее садишься на краешек своей скамейки и минутку молчишь... Тут нельзя было ни материться, ни скандалить. Баня — священный клуб, где все равноправны и обнажены, где не скроешь от моющихся сограждан ни следов операций на теле, ни тюремных наколок, ни чрезмерной упитанности, ни болезненной худобы... Все равны в голом виде, никого не отвезут в парилку или под душ персональная «Волга» или частные «Жигули»... Здесь не скроешь правды, но рассказанный тут анекдот про Брежнева не попадет в намыленные уши стукачей. Вернее, попадет, конечно... Но думать об этом не хочется. Даже самим стукачам.

Художник дядя Миша так часто ходил сюда и так полюбил это заведение, что даже подарил бане три картины. Они и сейчас висят там.

Приносить с собой и распивать категорически запрещается. Но кто хочет — конечно, приносит. А нет с собой — банщицы дадут. Давно привыкшие к мужским телесам, на мужиков они не реагируют, но и не злятся, сами предложат бутылочку, выиграв на этом рублик, не больше. А в ларьке «Пиво-воды» никогда не было ни пива, ни вод. Лимонад изредка мы приносили с собой.

Бывалые банщики ходили сюда с особыми маленькими чемоданчиками, где размещалась уютно, как в футляре, каждая вещь. Лет до семи я сам мечтал иметь такой. Как-то даже выказал такую просьбу перед днем рождения — и вызвал смех у родителей.





Нет хорошему конца, а домой надо... И вот мы пропарены, побиты веником, вымыты, вытерты, — надо надеть чистое белье и отправляться уже восвояси, освободив места другим страждущим. Вот тут-то и требуется толстая газета — ее надо положить на пол, чтобы не вставать, обуваясь, в жидкую черную грязь на полу. Не забыть газету — это главное!

Однажды вышел с нами очень обидный случай. Перед баней мы с папой стояли в очереди на «трибуну» и перепутали пакеты, так что притащили в баню мусор, а чистое белье, «флорену» с полосой и два шикарных полотенца, толстых, махровых, увез на свалку грузовик...

Недавно я совершил ностальгический поход в баню — она оказалась закрытой. Отправился в другую, ожидая, что сюда проникли инновации, но застал все ту же картину. Разве что в буфете есть теперь все что угодно, от лимонада до «банана» — так называют здесь поллитровку. И тут же продаются газеты. Они по-прежнему нужны, хотя в прокат можно взять резиновые тапочки. Но редко кто берет: дорого. Да и с газетами — оно привычнее. Традицию сломать — это вам не весеннее время отменить.

Всю весну, с марта по май, мы ходили с папой в баню, пока он не сказал, что помыться можно и в бассейне (он там работал тренером), а эти газеты ему скоро начнут сниться во сне. Хотя, добавил он, подумав, это еще лучшее, что с ними нужно делать.

А крем для бритья «Флорена», как с кукурузной полоской, так и без нее, исчез навсегда. Надеюсь.

СИНЯЯ ШЛЯПА

Без предупреждения, без объявлений на дверях подъезда, внезапно явились в дом в конце сентября тетка с тетрадью и мужик в синей шляпе. «Убрать полки! Обувь убрать! Холодильник убрать!» — гулко разносилось по подъезду. На этот раз никто ничего не стал убирать. Вслед синей шляпе старушки плевались. Приход комиссии прошел без последствий. Семь месяцев со дня их прежнего визита никаких изменений в жизнь дома не принесли — кроме уничтожения колонки дяди Эйно. Хотя, говорят, ее в тот же день установили в другом подъезде. Сам не видел, но слухи ходили упорные...

Человек в синей шляпе в тот же вечер оказался посреди нашей футбольной площадки пьяным в дым. Он встал прямо, как капитан в шторм, и рывкнул грозно, словно дом надвигался на него, как вражье войско:

— Ну ничего! Попомнишь ты у меня!

Этот человек не любил наш дом. Он, наверное, жил на окраине в ветхой «деревяшке» — с туалетом на улице, со ржавой водяной колонкой в полукилometре, без перспективы на получение новой квартиры или повышения по службе. Он стоял посреди трех сооружений — большого дома, базара и тюрьмы. Из них только тюрьма была ему по карману и возможностям, — так что дом и базар были наиболее ненавистны.

Его войска еще не были собраны, снаряды еще лежали на складах, орудия на батареях не расчехлили, и дом мирно спал. Но под синей шляпой уже созрел стратегический план, и там оттачивались самые ничтожные детали. Он был готов к битве.

ТУРИСТ

В пять тридцать просыпается папа. Через пять минут мучительно просыпаюсь и плетусь в туалет я. Я мою руки и лицо холодной — а какой же еще! — водой и прихожу в себя. На кухне свистит чайник, который мама привезла из поездки в Финляндию. Папа достает пятилитровую банку клюквы, насыпает на дно больших кружек по сантиметру, добавляет сахар и толчет ягоды деревянной «толкушкой», давно



покрасневшей от этого ежедневного ритуала. Доливает кипяток, отрезает по ломтю хлеба и по куску сырокопченой грудинки, привезенной из Ленинграда. Это наш завтрак.

Мы одеваемся, я беру сумку с полотенцем, мочалкой и плавками, свой школьный портфель, и мы пешочком идем в бассейн. По дороге у папы есть любимые места — три красиво растущие березы, еще какое-то смешное дерево, странное и всегда светящееся окно... Я все время пытаюсь говорить, рассказать что-то, спросить. Мне очень не хватает разговора. Папа молчит. Иногда он сердится:

— Что ты как татарин — что увижу, о том пою? Не можешь идти спокойно?

Папу понять можно. Он вкальвает на двух работах, приходит домой в полдесятого, в половине одиннадцатого он уже спит. Меня загоняют спать в полдесятого, и я читаю по ночам книжки под одеялом с фонариком. Периодически меня ловят. Ничего хорошего из этого не выходит.

Мама тоже приходит поздно. А я в семье один. И дома весь день тоже один. У нас много книг — и все они мной перечитаны, включая полное собрание Толстого и Золя. С Толстым и с Золя отношения пока не складываются. Мои любимые книги — сказки Оскара Уайльда и пятитомник Ильфа и Петрова. И Жюль Верн.

Каюсь — я так и не прочитал «Три мушкетера». Мне скучно их читать! «Граф Монте-Кристо» действует на меня... как снотворное. Хуже алгебры. Уж если выбирать, то Толстой куда интереснее: «Севастопольские рассказы», «Война и мир». Госпожа Бонасье — дура, то ли дело Анна Михайловна, особенно в сцене с портфелем!

Мы идем в тишине мимо папиных любимых мест. Спускаемся вниз, к бесконечному озеру. Но до берега не доходим. Рядом с Публичной библиотекой — бассейн.

Двести метров ногами, двести — руками, двести — с доской торцом вперед, четыреста — комплексное плавание, четыреста — на количество гребков, двести на спине... Три тысячи метров за тренировку к концу моей спортивной карьеры едва набиралось. Папа не может понять, почему я настолько равнодушен к спорту. Мои одноклассники хвастаются разрядами. Я же стараюсь — но не выходит. Я не о том думаю.

Без пятнадцати восемь я вылезая из воды и, быстро одевшись, лечу в кафе «Молочное». Каша, какао и блины. Оттуда — в школу. Глаза у меня красные, как у кролика — я ненавижу очки для плавания. У меня самая короткая в классе стрижка. И туристические ботинки на рифленной сантиметровой подошве, кожаные, с красными шнурками. На втором уроке я периодически задремываю. Мне попадает.

Я — двоечник. Точнее... троечник. Мама и папа пугают меня словом «ПТУ». ПТУ пугает и меня самого — там будут учиться многие из тех, с кем я занимаюсь спортом.

Чтобы я не болтался, папа устроил меня три раза в неделю заниматься еще и баскетболом. Папа, прости меня! Ты ни в чем не виноват. Я и до этого считал, что баскетбол — идиотизм, что пробежать, проплыть быстрее или что-то метнуть дальше — невеликое достоинство. Апофеозом стали мои занятия боксом. Через месяц моих занятий мама встретила тренера, и тот выдал из себя, долго выбирая слова:

— С тех пор как Андрей появился в нашем коллективе... *интеллектуальный* уровень ребят значительно вырос.

Я как раз попал на сборы. Народ скучал и по ночам маялся дурью, — чтобы не приставали, я пересказал им «Мастера и Маргариту», наизусть. В городе нашли у кого-то редкую по тем временам книгу, проверили. Все оказалось точно. После чего за мной надолго утвердилась репутация придурка и кличка — Турист.

УРОКИ ТРУДА

Мало мне было «туриста». Я таскал ученики в стандартном школьном портфеле, и ребята, учившиеся годом старше, прозвали меня Инженер. Меня стали бить. Не то чтобы сильно — но унижительно и подолгу, большими компаниями. С одноклассниками дружба не сложилась, рассчитывать на их помощь не приходилось.



Перейти из кабинета в кабинет стало проблемой. Всюду раздавалось радостное: «Инженер!» Мой портфель отнимали, пинали ногами, бросали в окно, а на улице — в лужу. Я вечно получал замечания за внешний вид и грязь в тетрадах и учебниках. Следом за старшими меня начали дразнить младшие. С отчаяния влепил одному, тут же оказался еще и хулиганом, — хор учительниц и завучей завывал: «Языком как хошь, а кулаком не трожь!» Папа обдал презрением — с нормальными не справился, на пацане отыгрался? Молодец среди овец. Назревало...

А тут еще, здрасьте вам, несчастная любовь, да в собственном классе. Девчонка, которую я любил, стала звать меня Дрюней.

План убийства одного из обидчиков зрел, как помидор в оранжерее, наливаясь красным цветом. Но вышло просто и бескровно, хоть и не совсем, конечно...

Я что-то неправильно сделал на уроке труда — не так отпилил или прострогал. Меня оставили после шестого урока переделывать. Все ушли, конечно, посмеиваясь надо мной.

Я ковырял проклятую деревяшку, — и тут зашел мой самый главный обидчик, на три года старше меня, самый здоровый и тупой из всех. Под рукой был целый набор мирных и полезных инструментов. Но я нашел им другое применение. Широко улыбаясь, подошел я к своему врагу и без разговоров влепил ему в лоб киянкой. Вот уж чего он точно не ждал — и сразу отключился, а я как раз вошел во вкус. Разбив ему нос и надавав по морде, я взял табуретку и размахнулся, чтобы довершить задуманное. Табуретка почему-то не хотела опускаться. Ее схватил с другого конца Валерьяныч, учитель физики, зашедший в кабинет труда по какой-то своей надобности.

— Поставь табуреточку. Лучше сядь-ка на нее. А я на другую. Поговорим.

Мой недруг на полу что-то замычал, но тут же получил ногой в пах... от Валерьяныча! И тот произнес вдруг совсем непедагогичные слова:

— Ну что, может, мне выйти и в коридоре подождать? А потом я тебя на улочку снесу. Скажу, что ты упал, неудачно так. Он ведь у вас раз в неделю с лестницы падает, верно? Что же ты разок навернуться не можешь? В виде исключения...

Валерьяныч закурил сигарету «Памир» («нищий в горах») прямо в кабинете труда и задушевно произнес:

— Ладно... С этим, — ткнул он в мою сторону пальцем, — я поговорю. Сегодня. Но ведь это сегодня. Не тронет он тебя и завтра... А насчет послезавтра — ты как? Готов в больничку? В калеки? Или прямо на кладбище, в цветочки-веночки? Мама плакать будет... Или не будет? А что, на венки дам рубль с удовольствием, потому что всех ты уже достал, а без тебя будет хорошо. И не жди, что я тебе врача звать буду. И мамочке жаловаться не рекомендую. Уж кого-кого, а тебя прикончить полгорода мечтает.

Мы вышли из кабинета труда. Я ожидал чего угодно, но Валерьяныч вдруг улыбнулся и сказал:

— Ну что с тобой делать, а? Даже киянкой с первого раза убить не можешь... Ну и слава богу. В следующий раз, когда захочешь что-нибудь сделать — сосчитай до десяти, ладно? Просто сосчитай. Вдруг придет в голову мысль какая-нибудь? О тюрьме, о маме. Или о том, стоит ли свою жизнь из-за такого ублюдка к псу под хвост пускать... Иди домой.

Только теперь мне стало страшно — до меня дошло, чем все могло обернуться.

Я еще не раз потом дрался, но в школе так и не научился — нашлось для этого другое время. Но все-таки уже на следующий день, потеряв страх, влепил другому «доброжелателю» в туалете, когда тот был один. И меня как-то все разом перестали допекать.

Папа постепенно оставил мысль сделать из меня спортсмена, даже перестал заставлять заниматься плаванием. Для папы, тренера и пловца, это было большим разочарованием. Но что тут поделаешь...



Несколько лет назад ко мне в блог постучался один из тех давних обидчиков, попросившись в интернетовские «друзья». Ничего против него я давно не имею. И уж точно нет никаких обид. Может, он и человек теперь неплохой... Но смутил меня оборот — «в друзья».

Это уж как-то слишком.

ПЛЕЙШНЕР

В июньский четверг футбол идет во дворе с особым азартом. Пятницы все ждут, как приговора. В пятницу после обеда большинство ребят отправляется на дачные участки, ишачить на огородах. Любовь к сельскому хозяйству наши родители привили нам прочно. У моего соседа по даче есть только один сельскохозяйственный инструмент — газонокосилка. Жена иногда пытается робко попросить его вскопать маленькую клумбочку, но кончается это одинаково — он достает из кошелька купюру, говорит: «На лопату и на рассаду тебе хватит!» — и отправляется на рыбалку. Ищи его там, — озера у нас большие.

Дача — это детская каторга. Счастливики, у которых дач нет, играют в футбол, ходят по воскресеньям в кино, едят там мороженное из вафельных стаканчиков, играют в «Морской бой» и «Меткий стрелок». Все это счастье можно купить за шестьдесят копеек. Остальные — заложники выходных. Они копают грядки, окучивают, культивируют, мешают землю с ароматным свиным навозом... Когда к концу июля вырастает клубника, дети едят ее с видом узников концлагерей перед казнью.

Четверг в июне — это футбол с утра и до ночи, темнеет у нас поздно. Хотя иногда родители не дают разгуляться, на детей у всех планы — книжки не читаны, в комнате не прибрано, да мало ли... Детство — время абсолютного беспорядка. Когда кто-то начинает ностальгировать по детству, я хочу его туда отправить. К навозу и рассаде, к огурцам и настурциям, урокам и занятиям на виолончели. Очень быстро такой мечтатель начнет любовно гладить свою лысину...

В воскресенье вечером семейство возвращается: мама кривится на один бок, папа держится за плечо, оба несут дедушку; бабушка изнывает под котомкой с какой-то гадостью и букетиком цветов, внучок тащит рюкзак невероятного веса и размера... Финальная сцена пасторали: «Хорошо отдохнули!»

Но четверг!.. Футбол!

Несмотря на то что двор у нас довольно большой, места в нем мало. В футбол мы играли по-особому — на одни ворота. Тянули жребий: кто оказывался вратарем — обязан был стоять на совесть, вне зависимости от личных симпатий. Все было построено на совести и спортивной чести.

Чтобы перейти в атаку, обороняющейся команде нужно было вернуться от ворот назад, до черты, обозначенной не только на земле, но и двумя палками. Потом стали, чтобы меньше спорить, непременно обегать вокруг палки, иначе — «овес» (офсайд, или «вне игры»), и начинали штурм ворот. Сразу за футбольным полем начинались кусты и тюремный забор.

Однажды профессор Гроссман стал на некоторое время всеобщим врагом. Он первым во дворе приобрел «Жигули». Красные. Агрессивные. И тут же поставил их на тот футбольный пятачок, согнав нас с законного места. Ни просьбы, ни увещевания, ни даже обращения через родителей не могли сломить железную немецкую волю завоевателя. Естественно, несмотря на немецкое происхождение, Гроссмана все начали звать жидом проклятым, хапугой, взяточником и помощником смерти. Только Олега Родиончик, глядя на наши потуги вернуть законное футбольное поле, посмеивался.

Чего только мы не делали! Однажды даже откатали машину профессора на пять метров в сторону. Он вызвал милицию и обвинил нас в угоне, тыча пальцем в уголовный кодекс. Когда Гроссман ушел, участковый сочувственно посмотрел на нас и чуть слышно произнес:



— Вот ведь жмодяра, а...

То, чего не смогли сделать родители и милиция, сделал Родиончик. Сперва он засунул в выхлопную трубу «Жигулей» кусок турнепса. Самый мощный из нас, Коля Васильев, пал духом:

— Теперь эта сука вообще никогда отсюда не уедет. Поставит тут табличку: «Не дышать, не пердеть, вытирайте ноги!»

— Уедет, — весело хихикал Родиончик. — Обязательно уедет. Деньги есть?

— А много надо?

— Много, мало... Двадцать копеек. Но сорок — лучше.

Сосчитали медь из карманов футбольных штанов: тридцать семь копеек. И у Кольки — железный рубль. Олимпийский... Его было очень жалко. Но Родиончик был неумолим:

— Такими рублями на Олимпиаде расплавиться будешь, когда в сборную возьмут! Давай деньги!

Колька был человеком нежадным — и отдал олимпийский рубль, как священную жертву во имя родного, а не далекого телевизионного футбола. На этом поле мы сами могли быть Сократесами, Гаринчами, Руммениге и даже Круиффами... иногда.

Родиончик повел нас всех в гастроном и купил в бакалейном отделе килограмм крупы «Артек». Продавщица одобрительно закивала:

— Правильно — сначала, что мама велела, а уж потом мороженное! И делитесь честно.

Но за мороженым никто не пошел.

— И что? — спросили Родиончика.

Тот ответил с ухмылкой людоеда:

— Погодяй малясь!

Было светло, но двор опустел, мы оставались в дальней его части и даже не слишком шумели. Когда ждать надоело, мы вспомнили про крупу. Родиончик достал кулек из-под куртки, скорчил рожу почище Савелия Крамарова, артистически поклонился, подошел к красным «Жигулям» и покачал головой, узрев, видимо, что в его плане есть недочеты. После чего открыл поливочный кран и окатил машину водой.

— Ага. Ты ему скаты еще подкачай! — крикнул кто-то из нас.

Родиончик, не обращая внимания и порхая, как танцор из балета «Спартак», настукивая зубами и одновременно насвистывая «Танец с саблями», начал осыпать мокрую машину крупой. Крупа прилипала, не соскальзывая и не сваливаясь.

— И что стоим? Ждем, пока выбежит дяденька профессор и яйца скальпелем отрежет? Без наркоза, не мечтайте! По домам! — полусшепотом скомандовал Родиончик, и мы благоразумно его послушали.

Идеально почищенные от всей краски утренними птицами «Жигули» сверкали оцинкованным ведром и привели профессора Гроссмана в полубессознательное состояние. Он поплелся звонить домой. Мы сидели в башне из ящиков и наблюдали. Родиончик резюмировал:

— Плейшнера опьянил воздух свободы. Он забыл про красный цветок...

Завести машину с турнепсом в заднице тоже не получилось. Ее увозили со двора на буксире. При этом никто не старался даже из вежливости сдержать смех. Профессор был близок к помешательству.

Профессора Гроссмана Плейшнером за глаза зовут и сейчас. Все его машины с тех пор какого угодно, но не красного цвета.

ЧАЙ

«Rain, rain, La-la-la-la-la-la...» — печально завывает магнитофон «Весна» на окне у Таньки Лобановой. Она нашего возраста, но мы для нее — никто. Справедливости ради — она для нас тоже никто.

Мелодия вполне соответствует обстановке. В четверг с утра зарядил дождь. Мелкий, но теплый. Но разве такая мелочь нас остановит! Мы на футбольном поле, я в воротах. Третий матч до десяти голов подходит к концу, счет 9:9. На меня смотрят убийственно.

Родиончик замыслил очередной финт, но поскользнулся, и Колька Васильев нанес с пяти метров пушечный удар в середину ворот. Я прыгнул на мяч без всякой надежды и выставил вперед кулаки без перчаток. Придя в себя, я обнаружил, что все смотрят вверх. Мяч был тяжелый и грязный, он скользнул по рукам — и теперь медленно, как кирпич, летел за тюремный забор.

Такое случалось регулярно. Дальше все должно было идти по обычному сценарию: крики жалобными голосами «дяденьки, киньте мячик», беготня к воротам тюрьмы и звонок в окошко караульных, а там — выкинут или покуражатся часок. Но — чудо! Мяч вылетел из-за забора и шлепнулся на землю, даже не подпрыгнув, так он размок.

Я отразил пенальти. Родиончик зачмокал губами и жизнерадостно крикнул мне:

— Люблю тебя, сучара! — но в это время Колька снова пробил... и матч закончился.

Родиончик сразу изменился в лице.

— Только похвали тебя... Чтoб ты на воротах повесился, гад!

Колька тем временем осматривал мяч. С удивлением он извлек из-под шнуровки бумажку, в которую были завернуты двадцать пять рублей и записка: «Пацаны, будьте людьми! Киньте чаю с угла!»

Мы не знали того, что четвертак — цена одной пачки грузинского чая за этим забором. Вшестером мы минут десять делили: сколько чаю за тридцать шесть копеек можно купить на двадцать пять рублей. Слегка недоставало до семидесяти пачек. Мы добавили своей мелочи и отправились в гастроном.

Продавица удивилась, куда нам столько, но Родиончик немедленно ответил:

— В поход идем. Двумя классами, на неделю!

Пришлось добавить еще восемь копеек — на два бумажных пакета, в один пачки точно не влезали.

Вернувшись во двор, Родиончик попробовал кинуть пакет, как и просили, с угла, — но тот был слишком легким и не взлетал высоко, возвращаясь бумерангом. Родиончик тут же сбегал за бечевкой, привязал к ручкам обоих пакетов полкирпича и начал раскручивать конструкцию, как австралийский абориген сигнальную трещотку. Пакеты взмыли вверх и закрутились над забором, на грани между «там» и «тут». Ветер усилился, он снес наш «вертолет» за забор, и тут пакеты, размокшие от дождевой влаги, порвались, и над тюрьмой пролился новый, чайный дождь.

Такого «ура» не слышал даже Брежнев на демонстрации у кремлевской стены! Гагарин не был так оглушен встречей восхищенных землян! «Битлз» получали аплодисменты потише на самых отчаянных стадионах! Никакие окрики «стоять» и «стреляю без предупреждения» уже не могли испортить праздника по ту сторону забора...

Мы благоразумно смылись со двора.

Недели через две во время футбола к теннисному столу подошли двое мужчин строгого вида. Они смотрели на нашу игру, словно чего-то ожидая. Тут Родиончик завопил очередному вратарю: «Люблю тебя, сучара!» — мужчины кивнули друг другу и ушли со двора. А через полчаса они вернулись, поставили на теннисный стол десять тортов и два ящика лимонада, развернулись и ушли. Торты были связаны по пять, коробка на коробке. На верхнем торте лежала пачка грузинского чая за тридцать шесть копеек.

Уходя, один из мужчин обернулся и крикнул:

— Спасибо, пацаны! Там тоже люди живут!



Мне рассказали потом, что цирикам не удалось отобрать ни одной пачки, и тюрьма чифирила целый месяц.

Потом мы узнали, что люди там живут, но очень разные. Кое-кто это узнал даже на практике.

ТРИУМФ СИНЕЙ ШЛЯПЫ

Сначала во двор притащили компрессор. В сентябре. Притащили и оставили. И было всем плевать — стоит себе и стоит.

Но однажды октябрьским субботним утром в квартиры дома стали поочередно вламываться тетка с тетрадью и человек в синей шляпе.

— Почему полки не убраны? Почему обувь в коридоре? Я сказал — убрать холодильник! Куда — не знаю!

Засуетились домовые людишки. Забегали дядя Володи, тети Зоси, дяди Левы, дяди Миши, Плейшнеры... Папа убрал обувь под подставку и сказал:

— Вот только мне тут сломайте что-нибудь!

— А что, в суд подашь, — самодовольно поерничал Синяя Шляпа.

— Зачем же так сразу... — неодобрительно протянул папа, вставая из своего любимого кресла, и визитеры скусилились.

— Вы холодильник-то тряпкой закройте. И тряпочку постелите на пол, а то сейчас придут...

— Кто? — спросила мама, предчувствуя недоброе.

Человек в шляпе высунулся на лестницу и заорал:

— Эй! Долбежники!

Это были именно они. В серых ватных штанах и куртках, в подшлемниках: один нес отбойный молоток, второй тащил за ним шланги.

— Простите, но как же нижняя квартира! — запричитала мама. — Станислава Витальевича дома нет, я точно знаю, он в командировке...

— Так ему же и лучше! — успел сказать один долбежник. Тут же раздался грохот — и кусок нашего пола (и, соответственно, потолка в туалете Станислава Витальевича) рухнул вниз.

Через четверть часа к нам рухнул кусок потолка от дяди Эйно. За неделю во всем доме по стоякам были проделаны огромные дыры. Долбежники врывались в квартиры со своим синешляпным вождем, начиналась стрельба отбойного молотка, подымалась пыль, рушились потолки и возникали все новые и новые дыры. На местных обитателей эти трое смотрели завоевателями.

Потом они ушли. И компрессор уехал. Пыль улеглась. Полы были вымыты. Испорченные вещи пришлось выбросить. Полки вернули потихоньку на место. Долбежники исчезли навсегда, а дыры — те остались. Вождь в синей шляпе победил. Этот был день его полного и безоговорочного триумфа.

ЕДИНЕНИЕ

Мне всегда внушал уважение дядя Эйно. Применительно к нему взрослые всегда произносили загадочное слово, которого я не знал. По звучанию оно ассоциировалось у меня с космическими полетами, освоением далеких планет солнечной системы и караванами ракет. Это было слово «метеоризм».

Дядя Эйно был мужчиной с неплохой фигурой, но все дело портил круглый животик, из-за которого размер брюк не совпадал с размером пиджака. Он уже давно пытался бороться с этим смешным подвижным «бампером» при помощи квашеной капусты, которую усиленно заготавливал в сентябре и которой питался почти всю зиму. Она-то его и подводила... Но я не знал, что означает это слово, и часто хотел спросить дядю Эйно, что оно означает... и не готовится ли он в космонавты. Но так и не спросил.



Через несколько дней после визита долбежников морозоустойчивые старушки начали активно обсуждать медицинские темы. Странного в этом нет ничего, но если раньше сфера их интересов была необъятна и касалась всего — от давления до ревматизма, то теперь сузилась до профилактики и разнообразных методов лечения болезней желудочно-кишечного тракта. Скамеечные активистки без стеснения подходили к соседям обоих полов и давали советы, как побороть запор, как излечиться от поноса, как унять буйные газы в животе...

Вскоре все смекнули, что интимные процессы расставания человека с переработанной едой более не являются тайной — спасибо сквозным дырам в туалетах. Мужчины сначала пользовались «вертикальным сквознячком» попросту — стреляли друг у друга сигареты, пересылали друг другу с утра в маленьких бутылочках глоточек на опохмелку, тайком от жен. Иногда «маленькая» и даже полбутылки «слезы Мичурина» преодолевали по два-три пустых этажа, чтобы достичь нужного адреса. И все это — бесшумно и быстро.

Владельцы котов страдали больше других. Во-первых, были зафиксированы случаи падения животных в отверстия прямо на спины людям. Некоторые несознательные жильцы не входили в положение бедных зверей и безжалостно их били. Это вызывало целые войны между этажами.

Но еще хуже было то, что там, где живет кот, двери в туалет не закроешь. И у таких людей практически не оставалось семейных тайн. Слышны были их ссоры, разговоры в отсутствие одного из членов семьи... Так было разоблачено несколько супружеских измен и возбуждено несколько дел о разводе, не говоря о банальном мордобое.

Школьники освоили методику списывания домашних заданий с передачей таких через те же отверстия. Там же старшекласники давали малышне учебные консультации.

Но самой страшной проблемой стало то, что работавший в нашем дворе дворником оперный певец Гулыгин (он нарочно пошел на эту работу, потому что ему требовался свежий воздух и режим, а также — много движения, чтобы не расползаться) назвал «Великий тараканий шлях». Рыжие подонки захватили власть в доме целиком и полностью. Для того чтобы хоть как-то бороться с их засильем, в доме целыми подъездами устраивали великую химическую войну. Дихлофос изводили коробками. Несколько жильцов даже померли от этих войн раньше срока.

Братья-хулиганы из второго подъезда кинули в соседский туалет через дырку живую крысу. Тут не обошлось без милиции, но вещественное доказательство не стало дожидаться вмешательства властей и сигануло в подвал через такую же дыру.

Первые три месяца дом был на грани восстания. Бумаги писались всем, вплоть до Брежнева. Но даже у Брежнева не было возможности найти средства для завершения великого проекта — проведения горячей воды в дом номер пятьдесят по проспекту Ленина.

Зима выдалась морозной, в квартирах стали обивать войлоком двери в туалеты. Появилась даже шутка: «Благоустроенный дом со встроенными уличными удобствами».

А потом... Потом как-то привыкли. Ведь удобно переговорить с соседом (соседкой), будучи уверенным, что уж тут-то никто не помешает. Если не было некурящих соседей, то всегда можно было покурить, даже если магазин уже закрылся. Или договориться о выезде на зимнюю рыбалку. Даже поделиться через отверстие коробком мотыля или банкой с опарышами. Сообщить счет в хоккейном матче...

Профессор Гроссман давал через отверстие консультации соседям, даже не отходя... не вставая... в общем, тут же записывая к себе на прием. История с «Жигулями» была его единственным проколом. Оказалось, что в остальном он совсем неплохой человек, а врач — прекрасный...

Нет, человек в синей шляпе! Ты не победил. Ты вторгся в самые потаенные сферы, ты разрушил важнейшие границы и перешел все рамки дозволенного. Но



тем сокрушительнее и позорнее твое поражение. Ты еще попытаешься взять реванш, ты еще доставишь всем массу неудобств, тебя еще матернут не раз и не десять. Но ты уже тогда проиграл. Ты попытался разрушить наш дом изнутри, но мы тебе этого не позволили. Позор тебе, вместе с твоими долбежниками и дурой с тетрадкой в клеточку!

ЯИЧНИЦА

В середине семидесятых мы уже жили втроем, без бабушки. Я начал ходить в детский сад, где впервые попробовал курить и даже научился материться.

В то день над городом собиралась страшная гроза. Был конец месяца, потому у нас закончились деньги; на последние мама купила в магазине десяток яиц и пучок зеленого лука. На хлеб уже не хватило.

Мама всю жизнь страдает гипертонией, но боится шаровой молнии, про которую однажды рассказали в передаче «Очевидное-невероятное». Поэтому все окна были плотно закрыты и зашторены. Душно стало даже мне.

Пришел с работы папа. Он был расстроенным и, почему-то, мокрым.

— Что, дождь? — спросила мама.

— Нет, — ответил папа, но тему развивать не стал, разделся, лег на диван и закрыл глаза.

— Да что с тобой! — крикнула мама. — И так воздуха не хватает, а тут явился, как пьянь из лужи!

— Да перестань ты! И дай, наконец, что-нибудь поесть!

Папа встал и распахнул все окна.

— Дышать же нечем!

— А шаровая молния? Ты что...

— Да хоть артобстрел! И дай мне поесть немедленно!

Такого папу я еще никогда не видел. Мне стало страшно, я спрятался в кухне под стол.

Мама тоже испугалась и стала готовить яичницу с луком. И тут постное масло со сковороды попало ей на единственные капроновые колготки.

Это случается в каждой семье. Пропустим несколько минут крика, несправедливых обвинений, разбитое блюдо и прочее в этом духе. Все это кончилось, когда в крике возникла секундная пауза — и мама с папой услышали, что я плачу под столом.

— До чего ребенка довел... — начала было мама, но вдруг осеклась.

Мы сидели втроем на двух табуретках; я — на одном колене у мамы, на другом — у папы. И мы, успокоившиеся, ели втроем подгоревшую яичницу с луком.

Тут папа вдруг сказал совсем не к месту то, что, наверное, можно было сказать и в другой раз:

— Давай купим машину?..

Яйца, лук, нет хлеба, последние два рубля, последние колготки, давление и гроза должны были взорваться осколочной гранатой. Но я сидел рядом — как маленький живой предохранитель. Запал прогорел, но взрыва не последовало.

Меня хотели отправить спать, но тут за окном заревел дождь и загрохотало. Окна пришлось закрыть, потому что в комнату захлестывало дождевую воду.

— Ну ладно, хотя бы вымыли пол, — сказала мама.

— И то хорошо... — сказал грустный папа.

Гроза кончилась, но я был уложен в родительскую кровать, потому что боялся грома и грохота. Успокоившись между ними, я уснул. И сквозь сон услышал:

— Понимаешь... Я шел мимо пирса из спортшколы. А там на сваях сидят дети — мальчишка и девчонка, и плачут. Я их спрашиваю — что случилось? А они и говорят: Саша утонул... Как утонул?.. Утонул... нырял тут, нырял — и утонул. Я прыгнул в воду — и минут через десять его нашел.



— И что? — ужаснулась мама.

— Что... А что еще могло быть... Милиция и скорая. Прямо скажем, могли и не торопиться. Я сделал все, что можно было. Но уже и делать-то было нечего... Пони-маешь...

Всю жизнь папа учил детей плавать. Всю жизнь ходил по разным начальникам с проектами школьных бассейнов в подвалах школьных зданий. Добивался, настаивал, пробовал писать диссертацию, чтобы прибавить своим доводам веса. Организовал спортивный класс в школе, где наличие отца в семье ученика было редкостью. Все эти ребята получили высшее образование. Только один попал в тюрьму — за превышение необходимой обороны... Папа не вырастил олимпийского чемпиона, как мечтал. Я редко видел его. Но по имени-отчеству его знает весь город...

А через месяц папа придумал схему, как купить машину: встать в очередь на «Жигули», жить на мамину зарплату, а свою получку класть на книжку. Занять у родственников. Составить график погашения долгов.

Через два года у нас была машина. Темно-синего цвета.

ВЕЗУЧИЙ ДЯДЯ ЛЕВА

Десять часов, а папы нет дома. Телефон молчит. Мама обзванивает знакомых. Выясняется, что дома нет и дяди Левы. После сверки данных оказывается, что они собирались вдвоем куда-то поехать.

Осталось только набрать единственный номер. Мама не хочет этого делать, ведь я сижу рядом. И боюсь так же, как и она. Я не такой маленький, как ей кажется. Я соображаю уже быстро и много. Меня только учительница в школе считает тупым, и это неприятие друг друга у нас с ней взаимно.

Но просто так сидеть нельзя. Ждать уже нечего. Мама берется за телефон, но тут в дверях щелкает замок. Мама меняется в лице.

— Где машина?!

— На станции техобслуживания...

Потом был суд, — признали, что виноват водитель грузовика, что он нам даже должен что-то выплатить. Начались таскания по судам и визиты противной женщины, которая доказывала, что сын ее простой шофер, получает всего двести сорок, а у него ребенок. Папа объяснял, что на двух ставках получает сто семьдесят, что ему еще за эту машину нужно долги отдавать, что у него тоже ребенок. На это следовал аргумент:

— Но это же *ваш* ребенок! Понятно, что до *нашего* вам дела нет... Бесчувственные вы люди!. И ваш-то жив-здоров, а у нашего отец попал в аварию. Остался без прав, где ему теперь работать?..

— Но он же работает!

— Да, но вы же сами понимаете, до первого штрафа!

Станция техобслуживания расположена по дороге на кладбище. Само по себе символично. Машину нам ремонтировали полтора года. Папа даже хотел писать письмо в «Литературную газету».

Забрав машину со станции, папа ее продал и встал в новую очередь на машину, продолжая выплачивать долги, теперь уже неизвестно за что. Выплаты от виновника аварии так и не поступали, зато папе на работу пришла анонимка, что он требует деньги и спекулирует машинами. Но все кончается. Даже долги и дрязги. Так и не заплатив ничего, исчезли виновник аварии и его семейство. И снова папина зарплата стала оседать на сберкнижке, но очередь на новые «Жигули» вытянулась на несколько лет вперед.

Везучим в этой ситуации был только дядя Лева. Он вылетел из машины через стекло, потому что не был пристегнут. Милиционер, осматривавший место аварии, удивленно сказал, что если бы тот пристегнулся, не было бы сейчас с нами дяди Левы — его место секунду спустя занял двигатель нашей же машины. Но должно же было в этой истории хоть кому-нибудь повезти?..



КУБОК И АНАНАС

Когда мне было лет пять, дядя Эйно как-то позвонил в нашу дверь и спросил меня строгим голосом, вымыл ли я посуду. Я удивился, но сказал, что через десять минут уже вымою.

— Вот когда вымоешь, тогда и позвони мне! — строго сказал дядя Эйно.

Я закончил процесс споласкивания холодной водой и набрал соседский телефон.

— Ну, — сказал дядя Эйно, — бери самое красивое и большое блюдо и поднимайся к нам.

Ничего не понимая, я взял блюдо и поплелся наверх. У дяди Эйно два звонка на дверях. Один высоко — для взрослых, второй он сделал, когда Леша и Миша были маленькими. Этот звонок очень меня выручил: Леша уже учился на инженера-строителя, а Миша заканчивал школу, так что им звонок был точно не нужен, а мне оказался в самый раз.

Дядя Эйно торжественно проводил меня на кухню, и я увидел на столе какое-то чудище. Оно было колючим, с острыми зелеными хвостами, покрытым чешуей... и выглядело зловеще.

— Это что, алоэ от кашля? — спросил я тоскливо.

Дядя Эйно рассмеялся и ловко разрезал подозрительную вещь поперек. Отрезав несколько колец, он положил три штуки мне на тарелку.

— Иди, поделись с мамой и папой! Передай им от меня привет!

Так я впервые попробовал ананас.

Вкус ананаса поразил меня. Это ощущение было непередаваемым. Фрукты у нас были в диковинку и только в сезон, а зимой — апельсины, мандарины и лимоны. Гранаты я попробовал только в третьем классе — они были дороги. Ананас затмил все.

Мама часто ездила в командировки. Она всегда привозила мне что-нибудь оттуда, мелочь или что-то ценное — фонарик, работавший без батареек, или альбом с образцами целлюлозы, выпускаемой на Сегежском комбинате. Я все принимал с благодарностью и интересом — слово «командировка» обозначало для меня что-то таинственное и торжественное. Сам я просил маму привезти из командировки ананас. Это была неизменная и совершенно бесполезная просьба. Ананас я так и не пробовал, но командировки мамы не прекращались. А однажды мама уже собрала сумку и собиралась уезжать, но тут в дверь позвонили, и старик в ленинской кепке-восьмиклинке и в круглых очках на сморщенном носу вручил папе повестку с приказом явиться на военные сборы.

Так впервые я на три дня остался дома один. Мамина подруга приходила по пути с работы проверить, сделал ли я уроки, поел ли и вымыл ли посуду, прибрал ли за кошкой и пропылесосил ли в комнате. Потом я должен был ей звонить перед сном, а она звонила в любое время, интересуясь, чем я занят. Заходил и дядя Эйно, проглядывал тетрадки и помогал мне с задачками.

В один из вечеров и мамина подруга, и дядя Эйно могли быть совершенно спокойны на мой счет: начинался Кубок Вызова, звезды НХЛ против сборной СССР, три дня, по матчу в день!

Первый матч показывали поздно, и я, пользуясь отсутствием родителей в доме, спокойно его посмотрел. Но как же я был удручен... Наши проиграли со счетом 4:2 и выглядели вяло и тоскливо, а соперники — наоборот. Дерзко и мощно, на высоченных скоростях носились они, взметая на разворотах маленькие бураны, победно играл электрический орган во время остановок игры, «Мэдисон сквер гарден» неистовствовал, публика на трибунах орала, перекрикивая даже самого Озерова. В слезах я рухнул в постель и наутро заметил у своих одноклассников такие же распухшие и красные глаза. Даже Владимир Валерианович, встретившийся мне в коридоре, открыл дверцу лабораторного шкафа, хлопнул рюмку и печально произнес:

— Эх... Хоть не смотри завтра!

К следующему матчу я готовился, ждал вечера. Родители должны были приехать только на следующий день. Я уже наскоро прорешал гнусную математику, обозначил в упражнениях по русскому языку суффиксы и приставки, выучил даже текст про Трафальгарскую площадь в Лондоне для урока английского языка. Чего не сделаешь от такого волнения!..

Я уже включил телевизор и уселся в кресло, как вдруг щелкнул замок, заскрипела дверь — и в квартиру вошел папа с тремя другими мужчинами. Одного из них я знал — он был маминым сослуживцем. В его руках была сеточка, а в сеточке — бутылки с коньяком, лимонад для меня и какой-то серый кулек. Следующий гость нес два бумажных пакета, а еще каждый тащил на спине по рюкзаку.

Военные сборы закончились сами собой после поражения сборной СССР в первом матче. Какой-то генерал, командовавший этими сборами, понял, что если он не хочет массовых самовольных отлучек, надо вовремя остановиться. А то, что четыре «партизана», освободившись от воинского долга на день раньше, пришли к нам, объяснялось еще проще: мама в командировке, а это значит, что можно спокойно посмотреть хоккей, выпить коньячку... И просто пообщаться мужской компанией, объединенной недавним рытьем окопов или идиотскими разборами штабных карт. Кто-то тут же похвастал, что умыкнул из штаба пару карт. Карты местности тогда были в цене.

Мгновенно я был мобилизован на кухню чистить картошку, а дядя Валера, мамин сослуживец, нажарил на большой сковороде невероятное количество магазинных котлет. Почистив картошку, я нарезал ее соломкой и довел на сковороде до хруста ореховой скорлупы, так любит папа.

Когда я вернулся в комнату, на раздвижном журнальном столике раскинулся великолепный холостяцкий пир! Шпроты, финики, тонко нарезанный лимон, сало, зеленый горошек в глубокой тарелке, лук кружевами под уксусом, поднос с яблоками, хлеб, белый и черный, сыр, нарезанный в толщину фанеры, маринованные помидоры и огурцы в банке с надписью «Глобус»... Один из «партизан» работал не то в магазине, не то на складе. Когда внесли котлеты и картошку, телевизор уже показывал арену, разминались игроки и надрывался орган.

Первый и второй периоды оказались мрачными. Уровень коньяка в бутылках почти не понижался. Наши проигрывали — снова 4:2. И вдруг... всего за одну минуту Михайлов и Капустин сравняли счет. А потом Владимир Голиков вывел наших вперед, и в течение всего периода канадцы пытались забить, но...

Сирена совпала со всесоюзным криком «Ура!» и всесоюзным же звоном рюмок. Теперь можно было расслабиться. Пошли разговоры — обычные мужские разговоры о хоккее, о машинах, о возможных в будущем поездках за грибами. Я тихонько сидел за столом, боясь, что меня выгонят спать, но не выгоняли, наоборот — за что-то даже хвалили, хотя ничего особенного я не сделал.

И тут все замерли: в комнату, не сняв пальто, вошла мама...

Но защитников родины уже нельзя было взять на пушку! Маме сообщили о победе нашей сборной, налили рюмку, приобщили к беседе. А мама вдруг вскочила, с торжественным видом вызвала меня в коридор и достала из сумки два ананаса!

Огорчению моему не было предела: ананасы оказались совершенно зелеными. Меня утешали, говорили, что они созреют, надо только держать их в темноте, что совсем скоро, недели через две или три...

Уж не знаю, что это был за сорт ананасов, но один мы все-таки съели, не дождавшись полного созревания, а второй дошел до кондиции только ко дню моего рождения — в конце июля. И сморщился при этом до размеров груши. И теперь, когда это чудо уже не чудо, я предпочитаю ананасы в банках: так проще — не надо чистить чешую.



ТАЙНА ЮРИЯ ЛЬВОВИЧА

Я пришел домой. Позвонила мама.

— Андрюшка, ты не скучаешь?

— Да нет вроде...

— Ой, а дома же совершенно нечего есть. Слушай, а ты до студии добежишь? У нас тепло, да и в буфете есть хоть что-то... Надя говорила, будет борщ и бифштексы рубленные.

Через полчаса езды в теплом автобусе я был в буфете, заняв очередь на всю художественную редакцию. За получкой и в буфет очереди занимали корпоративно — операторы, киногруппа, гараж, звуковики, видеозапись, редакции...

Поддержать меня пришел Юрий Львович Хорош, мой самый любимый режиссер, человек удивительный. Кругленький, в клетчатом пиджаке и очках он выглядел как иностранец.

Я частенько торчал у мамы на студии, знал все кнопки на режиссерском пульте, умел крутить «рога» у всех павильонных камер. Юрий Львович разрешал мне все трогать на «трактах» — репетициях. Когда я был совсем маленьким, то звал его Юрий Львовович, — и он очень радовался.

Он родился в Харбине, после школы некоторое время работал в советском представительстве счетоводом. Частенько он уличал повара представительской столовки в мошенничестве — валютный курс все время колебался, и этот повар проявлял отнюдь не советскую оборотистость при покупке продуктов на рынке. Когда Юрий Львович приходил с очередной жалобой, тот серьезно смотрел на него, качал головой, затем вынимал из плиты противень с горячей выпечкой, сворачивал бумажный кулек, клал туда пирожок с мясом и говорил:

— Юрочка! Вот тебе пирожок, милый мой. Вот тебе пирожок. Что, мало? Вот два. И иди отсюда!

Юрий Львович играл в Харбинском русском театре. Он видел живого Шаляпина, Вертинского... и кого только еще не встречал.

Когда русский Харбин кончился, Юрий Львович украл себе жену. Невесту, точнее говоря. Тетя Лия вместе с родственниками собиралась в Америку. Юрий Львович разубеждал ее: «Лиечка! Единственная страна, где ты сможешь чего-то добиться, если у тебя нет денег, это Россия!» Родителей и саму Лиечку довод не убеждал. Ее решили увозить поездом до какого-то города, откуда шел пароход в Америку...

Маленький Юрий Львович, тогда еще и худенький, попросил двух друзей приподнять его, чтобы в последний раз обнять любимую через окно трогаящегося вагона... — и вытянул ее наружу. Почему-то мне кажется, что она не слишком сопротивлялась.

В России он стал режиссером. Сначала поработал в театре в Минусинске (дальше не пускали), потом — на телевидении в Мурманске, а оттуда уже перебрался в Петрозаводск. Он знал несколько языков, переводил книги с английского и французского. Его телеспектакли дважды шли на весь Союз в прямом эфире. И такое ведь было тогда!

На телевидении тогда были строгие правила — приходиться надо было в девять, а уходить в шесть. Плевать, что нужные книги все под рукой дома, а думать лучше в привычном уютном кресле. Вам предоставлены столы и стулья! И даже авторучки!

Иногда, формально подчиненный моей маме, Юрий Львович подходил к ней и говорил:

— Анечка! Тут рядом, в «Строителе», идет фильм с интересной операторской работой, который мне надо бы посмотреть... Нельзя ли мне часа в три уйти? Я и Андрюшку с собой возьму, ему интересно будет!

Отпустить режиссера посмотреть нужный для работы фильм — это производственная необходимость. Мама и так бы отпустила, но тут у нее была еще и железная отмазка для начальства повыше.

Он брал меня с собой, и мы шли в кино. И смотрели всегда один и тот же фильм...



Мы уже сидели за столом и ели борщ; ждали своей очереди рубленые бифштексы. Юрий Львович хитро посмотрел на меня.

— Андрюшка, что ты так нервничаешь?

— Так хоккей...

— Скажи, ты сторонник неожиданных сюжетных ходов... или предпочитаешь произведения с открытыми финалами?

— Ну как... Если кино, то с неожиданными. А вот хоккей...

— Да... это слишком сильная страсть. Все взволнованы (на нас уже искося поглядывали, не знает ли чего Юрий Львович).

Мы доели бифштексы, допили чай и вышли в пустой коридор. Вдруг Юрий Львович сурово на меня посмотрел и сделал руками несколько таинственных пассов, что-то пошептал, закатил глаза и с совершенно закрытым ртом застыл, а рядом зазвучал странного тембра голос:

— С самого начала всех ждет удивительное происшествие! Появится тот, кого не ждали! Он сделает чудо! А счет...

Голос стих.

Юрий Львович осмотрелся, не идет ли кто, и взмолился, чуть не со слезами на глазах:

— Но, всемогущий джинн, вы же видите, как мальчик волнуется! Нельзя же так, в самом деле!

Он закрыл рот, а голос снова заговорил:

— Ну если мальчик волнуется... Да успокойся, милый, сборная СССР победит: шесть — ноль!

Я обиделся. Во-первых, судя по игре в двух первых матчах, такой счет казался невозможным. Во-вторых, я понимал, что Юрий Львович с этим голосом показал какой-то фокус, он просто смеется надо мной. Так я в первый и в последний раз на него обиделся. Но он неожиданно обиделся тоже:

— Андрюшка, верить или не верить джинну — хотя он и всемогущий — это дело твое. Но не поверить мне... Это не по-дружески... и просто нехорошо.

Тут его позвали на тракт, и на несколько часов я затаил обиду.

Кстати, о кино... Как-то мама спросила меня, какой фильм мы смотрели на этот раз с Юрием Львовичем, и я ответил с гордостью:

— «Великолепную семерку!»

— А в прошлый раз?

— Тоже! Мы всегда ее смотрим, если где-то идет...

Тут вошел Юрий Львович, который, видимо, опять договорился пойти посмотреть «нужный» фильм и взять с собой меня, и получил от мамы удивленный вопрос:

— Юрий Львович! Но почему вы смотрите все время какую-то «Семерку»? Что это за фильм... и зачем вы все время берете с собой Андрея?

— Ах, Анечка... Это классический вестерн, снятый по мотивам старого фильма Акиро Куросавы. Там действительно прекрасная операторская работа... И фильм замечательный. Он нравится нам обоим. Но дело, конечно, не только в этом. Там в главной роли Юл Бриннер, понимаете?

— Нет... Юл Бриннер? А что, он такой хороший актер?

— Гениальный! Это же Юлька Бриннер! Мы с ним учились в одном классе...

МАМА В БОЛЬНИЦЕ

Когда маму забрали в больницу, дома стало уныло, да еще и денег осталось всего ничего — три рубля: бумажка с водовзводной башней Кремля, я эту башню до сих пор зову «трехрублевой». Денежных поступлений не ожидалось ниоткуда.

А еще, раз мама в больнице, то на родительское собрание пошел папа, а хуже этого и придумать нечего. Хвалить меня там не будут точно. Не за что меня хвалить. Я троечник в мятых штанах и с вечно забытой тетрадкой или дневником.



Но с собрания папа пришел на удивление довольным. Во-первых, (бывает же!) меня трижды похвалили: учительница литературы — за сочинение, учительница английского — за хорошее усвоение текстов. И учитель физкультуры — неизвестно за что.

А главное — большую часть собрания заняло истерическое выступление одной учительницы, которая поймала двух моих одноклассников в туалете за игрой в «дурака». Они мирно резались на щелбаны в карты, ей кто-то стукнул, эта дура притащила их к директору школы, который вынужден был делать строгое лицо, а училка надрылась: «Азартные игры!.. Дети из так называемых хороших семей!.. Позор родителям!.. Позор для всей школы!» Арии в кабинете директора ей показалось мало, поэтому она бисировала на родительском собрании. Папа затосковал. Потом выступил с не менее проникновенным и столь же мудрым текстом один из членов родительского комитета. Когда собрание закончилось на волне всеобщего раздражения, папа ушел из школы примерно с теми же чувствами, что и я.

Есть папиному презрению к этой дури и еще одна причина. Что касается педагогики, то он сам мог там многих поучить. На сборах, куда он поехал со своим спортивным классом, трое пацанов тоже попались за игрой в карты. Папа поступил так. Он с интересом, не выдавая своего присутствия, понаблюдал за играющими, и вдруг сказал, негромко, как бы интересуясь:

— И во что сражаетесь? В «Акулину»?

Поняв, что крика почему-то не будет, игроки сознались:

— Не-е... в дурачка... В подкидного...

— На переводного ума не хватает?

— Ну...

— Так. Сели все сюда. Лист бумаги, ручку... и уши шире.

Весь вечер папа учил лоботрясов играть в преферанс. Чрез две недели они уже постигли разницу между «сочинкой» и «ленинградкой» на хорошем практическом уровне. Играли не на деньги, но на интерес — на молочные коктейли, сто вистов коктейль. Стоил коктейль одиннадцать копеек. Один бедолага все же умудрился проиграть пятьдесят коктейлей. Все деньги, которые дала ему с собой мама, и еще не хватило.

Когда проигравший вынес два подноса жадным любимчикам счастья, все ждали, что папа, который, конечно, был среди выигравших, первым возьмет свой коктейль, но он не торопился.

— Ну что, — сказал один, — долг чести — карточный долг! Здоровье победителей!

— Чести? — спросил спокойно папа. — У нашего товарища забрать все деньги и заставить его всех поить этой бурдой с мороженым? Велика честь, что и говорить...

Он достал свои пять рублей, последние, и отдал бедолаге с подносом.

— Я детей не обманываю. Халяву не люблю, последние деньги ни у кого ни разу не взял. Тем более — вот так, *кодлой*. А начет чести — чтобы я больше упоминания этого слова всуе не слышал. Еще доказать надо, что она у тебя есть. Вот у него — есть. Бери Коля, купи маме сувенир какой-нибудь. А вы — не будьте свиньями!

И ушел из столовой.

Вечером проигравший Коля принес ему пять рублей.

— Это что? — спросил папа грозно.

— Да ребята собрали все, мне отдали мелочью. Я маме альбом для фоток купил. Как вы и сказали... За четыре сорок.

— А остальные?

Коля вздохнул и покаялся:

— Проиграл...

— То есть?

— Ну... опять пулю расписали...



— Ох, Коля... Не любят тебя карты. Никогда не играй. Послушай совета. Если все так начинается — это на всю жизнь.

По-крупному никто играть из пацанов так и не стал. Никогда. Умеет убеждать папа. Хотя ничего особенного не сказал. Важно ведь *как* сказать, а не только *что* именно.

Так что родительское собрание было для папы смехотворным.

Вечером он взял последние три рубля и ушел, сказав, чтобы я вовремя лег спать, потому что он вернется поздно.

На следующий день я отнес маме в больницу апельсины, лимоны и конфеты к чаю.

— Откуда? — поразилась мама.

— Папа вчера выиграл в преферанс сорок рублей! — гордо объявил я на всю палату.

Мама очень покраснела, но потом прыснула со смеху, следом за всей палатой. В этой палате всем хотелось хоть над чем-нибудь посмеяться.

ПАПА ДАРИТ АВТОРУЧКУ А.С. ПУШКИНУ

Весной все начинают болеть. Диагноз зависит от даты, когда именно ты заболел. Если в городе объявлена эпидемия гриппа, то ты болеешь гриппом. А если заболел на день раньше или позже — у тебя ОРЗ. Я успел попасть под ОРЗ.

Протемпературил я четыре дня, не хотел и не мог ничего есть. Это был самый злой грипп за несколько лет. Им даже папа заболел.

Когда я уже начал потихоньку шастать на кухню и что-то жевать, папа вошел в квартиру с двумя хозяйственными сумками продуктов — это были полуфабрикаты из кулинарии — вкусные, но дорогие. Папа разгрузил в холодильник бифштексы, салат в литровой банке, вареную картошку и еще что-то, поставил на кухонный стол чай и сахар; трехлитровую банку молока сразу вылил в кастрюлю и велел вскипятить, достал мед, коробку с лекарствами, а потом вынул из шкафа все майки, тельняшки и футболки, надел толстые шерстяные носки, лег под одеяло и прокашлял:

— Теперь я могу спокойно умереть.

Мне стало не по себе. Так шутить, когда мама в больнице — это перебор. Но папа открыл глаза и велел принести градусник. Температура оказалась под сорок, как у меня три дня назад.

Целые сутки — с перерывами на короткий и отвратительный сон — мы были заняты. Я грел чайники, толлок клюкву с медом, кипятил молоко (дядя Эйно нам принес еще три литра), а папа — потел.

На всех батареях сохли майки, тельники и даже старые рубашки, но их не хватало. Мы оба потели быстрее, чем они сохли. У обоих болела голова. Участковый врач, женщина добрая и старательная, прописала все необходимое и побежала по следующему адресу, кашляя на ходу. Ей тоже было плохо, но подменить ее было некому.

Когда от аспирина нам лучше не стало, папа позвонил своему знакомому — доктору Давыдову. Доктор Давыдов ответил, что зайдет через час двадцать, и ровно через час двадцать зашел. Он был в маске, перед тем как войти в комнату (и потом, перед уходом) долго мыл руки. Осмотрев нас обоих, он достал из кармана халата две коробки. На них было слово из нескольких слогов, которое мы с папой прочесть не смогли, но доктор Давыдов сказал:

— И не надо. Это не вам.

Следом он достал стетоскоп и стал нас слушать. Потом дал еще каких-то лекарств, а про лечение сказал, что ведется оно правильно.

Сутки спустя мы, умаявшись кипятить, сушить, потеть и переодеваться, включили телевизор. По телевизору шел спектакль «Мертвые души». У нас не было сил смеяться или комментировать увиденное, но хоть чем-то занять мозги было нужно. Папа молчал еще и потому, что было еще что-то, что свалило его, обычно совершен-



но нечувствительного к простудам. Это «что-то» тяжестью лежало у него на сердце и не давало покоя.

Потом позвонил доктор Давыдов и сказал что-то, чего я не слышал. Но папа поднялся с дивана и спросил слабым голосом:

— Ты уверен? Это уже точно?..

Из трубки раздался успокаивающий, почти беззаботный смех. Папа лег и стал досматривать спектакль. В антракте он сказал:

— Надо бы поскорее в квартире прибраться. Маму через неделю выписывают, обследование закончилось, — и улыбнулся.

Он стал комментировать игру актеров и смеяться, только коротко, потому что сразу начинал кашлять. Мне тоже стало легче. Мы заварили еще питья, выпили порошки и забылись.

Утром папа рассказал, что ему приснился сон, будто бы при помощи машины времени его послали в девятнадцатый век посетить Пушкина, а тот подарил ему авторучку с кнопкой и даже с ним побеседовал.

Все это он рассказывал, пока мы уплетали то, что он два дня назад накупил, — слава богу, ничего не успело испортиться. Мы выздоровели.

ГРАФИК № 2

В надежде купить машину хотя бы на полгода пораньше, папа послал письмо в спорткомитет. Он очень много ездил по районам, когда занимался профориентацией от пединститута, где преподавал, на спортивные сборы и на соревнования, так что машина ему была необходима. К нам обращались с предложениями разные жулики, предлагавшие купить машину на свое имя и на папины деньги, а папе выдать доверенность. Папа отказывал.

Но очередь на «Жигули» — это почище очереди на прием к генсеку ООН: тот-то примет рано или поздно, а вот с «Жигулями» бывало по-разному. А тогдашние чиновники, как и во все времена, любили поиздеваться над человеком... Вечером нам позвонили из автомагазина: распоряжением какого-то важного комитета по спорту папе разрешили купить без очереди... «Волгу»! Незадолго до этого цены на машины повысились, и она стала стоить пятнадцать тысяч рублей.

Даже нынешний владелец представительского автомобиля не в состоянии понять, что означало в те времена иметь «Волгу»... На таких машинах ездили самые большие начальники. Человек на «Волге» был особенным человеком, не таким как все.

Но пятнадцать тысяч... Эта сумма была чудовищна! Для покупки «Волги» многое пришлось продать, включая проигрыватель. На стенке опять занял свое место график погашения долгов.

Среди наших знакомых появился дядя Коля, у которого во время съемок фильма «Отпуск в сентябре» регулярно бывали в гостях артисты Даль и Леонов. Олег Даль был вечно небрит; все говорили, что он пил, хотя теперь я знаю, что нет. Выпил он в марте — в последний раз, чтобы использовать страшный подарок Высоцкого, ампулу «тетурама», вшитую в бедро на кухне, в квартире на Грузинской улице...

Дядя Коля был таксистом, который возил артистов, и прекрасным автомехаником. Он знал о машинах то, чего не знали их конструкторы и сборщики. В его таксопарке ездили на «Волгах», поэтому потертый, но рабочий коленвал взамен сломавшегося дядя Коля поставил на нашу машину задолго до того, как с завода прислали новый.

А еще дядя Коля занялся подготовкой нашей машины к эксплуатации. Первое в этом деле — поставить машину на яму и перетянуть все гайки, отрегулировать все, что может двигаться, крутиться, шевелиться и отваливаться. В общем, сделать все, что в других странах делают на заводе.

Для борьбы со ржавчиной была приобретена где-то у военных летчиков краска «антикор», которую дядя Коля называл «суриком». Еще купили столько коробок пластилина, что хватило бы на уроки труда всем младшим классам района. Пластилин плавил и разбрызгивал по дну машины из краскопульта. Что там еще делали с машиной — я не знаю, но это заняло неделю. А нужно было еще получить номера!

Когда все было готово, мы на новенькой машине забрали маму из больницы. Надо сказать, что тетки из палаты очень за маму переживали. Есть такие места, где люди быстро учатся радоваться за других, где эта радость очень высоко ценится.

Конечно, покупка машины вызвала не только добрые чувства у знакомых. Про папу и маму за глаза говорили, что загордились, мол. Но маме было гордиться нечем, потому что на машине ездил папа, а папе гордиться было некогда, потому что автомобиль все время ломался, и число знакомых в таксопарке у папы росло. Там уж точно никто ему не завидовал, сказав прямо:

— Эх, Анатолич, надел ты себе хомут на шею... Я со своей неделями не расстаюсь, так и утопил бы ее с моста, гадюку!

Дядя Эйно не скрывал, что слегка завидует, но прокомментировал свои чувства так:

— Юра, не каждый так может: не потратить, не пустить на ерунду, жене не дать на глупости...

Хорошо, что его жена этого не слышала.

А мне до слез было жалко проигрывателя. Если бы не эта «Волга», то успели бы купить колонки и усилитель... Но что теперь переживать.

«ГЕОРГИН»

Говорят, что игра в «наперстки» известна со времен древнего Шумера. Тысячелетиями человечество добровольно делится на тех, кто катает горошину, и тех, кто добровольно становится в ряды дураков. Кто-то, конечно, не реагирует на призывы «Кручу-верчу — обмануть хочу!», но не льстите себе: свой колпачник найдется и на вас, будь он хитрован с рынка, поездной катала, описанный Анатолием Барбакару, некогда промышлявшим этим ремеслом, Мавроди с его МММ, строительная компания или лохотронщик у вокзала.

Удивительно, но в те времена была одна относительно честная лотерея. Билетики были красные, синие, коричневые или зеленоватые. Их продавали в книжных магазинах, чтобы поддержать у населения интерес к чтению. Отдав двадцать пять копеек, нужно было оторвать корешки — и билетик превращался в квадратную книжку-гармошку. Ее надо было развернуть — и прочесть на последней страничке... Нет, не «билет без выигрыша», хотя такое тоже бывало, конечно. Но чаще встречалось «25 копеек» — и вы оставались при своих, «50 копеек» — и два десятка тетрадок было вам обеспечено. Или семь тетрадок и авторучка. Или пара детских книжек с картинками. А если выходил «1 рубль», то в придачу к детской книжке можно было купить книгу посolidнее. Дважды я выигрывал три рубля, несколько раз — по рублю, а однажды — целых пять рублей! Но в «Спортлото» не угадал ни разу. И в денежно-вещевую лотерею — никогда и ничего...

Но это так... А история, собственно, про носки. В те годы их штопали. Однажды достав из шкафа пару носков и оценив площадь штопки, папа не выдержал:

— Я не могу это носить! Я не нищий, черт возьми! Неужели нельзя купить пару нормальных носков! Андрюха, покажи, что у тебя за носки на ногах?

Мои напоямали носки Карлсона. Наружу торчали два больших пальца, сзади сверкали пятки.

Как папа воспитывает меня, я уже насмотрелся за годы детства. Но ка-а-ак воспитывают маму... с интересом наблюдал впервые.



Мамины контрдоводы, что купить в нашем городе носки — дело совсем не простое, приняты не были. Взяв последнюю десятку, мама пошла на базар и не обнаружила там носков, подходящих по качеству и цене. Выбор между носками и обедом на три дня был очевиден. А две пары этих самых носков перекрывали так-вые обеды. Купив продуктов, мама уже выходила с базара, как вдруг ее внимание привлек человек с шестигранным лототроном и билетиками новой олимпийской лотереи — «Спринт». Билетики стоили 50 копеек. Неизвестно, что творилось в мамин-ной душе, но она купила билет и принесла его домой. Поставив продукты на кухне, мама вручила папе бумажку размером с пластинку жевательной резинки и сказала как можно язвительнее:

— Я, в отличие от некоторых, в карты играть не умею и не признаю азартных игр. Но вот тебе лотерейный билет. Или сыграй со своими приятелями в преферанс на носки! Только попроси, чтобы их постирали!

— Какая у нас остроумная мама! — мрачно отреагировал папа и брезгливо взял билетик. Он повертел его перед глазами, зачем-то понюхал и бросил обратно на стол. — Это ты у нас переводишь деньги, я с государством в азартные игры играть не намерен. Сама и открывай.

— А почему это я? — обиделась мама. — Тебе нужны носки, ты и открывай!

Пока родители готовили воскресный завтрак и слегка препирались, я поти-хоньку взял билет и стал пилить корешок ножиком. Картон был твердый, оторвать его я не смог. А потом мы втроем с удивлением уставились на надпись «Выигрыш 5 рублей».

Снова возникла *ситуация*. Мама говорила, что билет она отдала папе, но тот отказался, так что она заберет выигрыш себе; но папа задавил ее авторитетом. Когда мы позавтракали, то отправились с ним вдвоем на базар, нашли продавца олимпий-ского счастья и незамедлительно получили сумму в пять рублей. И тут у папы что-то сверкнуло в глазах.

— Дайте-ка нам еще один! — сказал папа решительно.

Он легко разорвал корешок билета и выиграл... еще один билетик. На сей раз обиделся я.

— Моя очередь! — сердито сказал я, и папа уступил мне право выгащить новый прямоугольничек с заклепкой на конце.

Папа, вспомнив мои старания вскрыть эти «консервы удачи» ножом, хотел было мне помочь, но я уже впился в билет зубами и начал крутить его вокруг оси. Когда мы развернули бумажку, то прочли на ней: «Выигрыш 50 рублей».

Мне ужасно хотелось сыграть еще. Или получить часть денег, чтобы пустить их на те же билеты. Жажда мгновенного обогащения охватила меня. Но папа умел вовремя останавливаться и останавливать других. Когда мы отошли от этого шести-гранного вертепа, продавец, кажется, вздохнул с облегчением.

На неожиданный доход мы с папой купили клетчатые носки — по две пары на каждого, зашли в лавку уцененных товаров и там наткнулись на венгерские мужские туфли большого и маленького размера, накупили каких-то фруктов и пирожных, а десятку папа превратил в магазине «Спорт-товарь» в талоны на бензин.

А еще мы купили маме огромный, высокий и красный, с рыжиной, цветок. Я в цветах не разбираюсь. Кажется, это был георгин. Но я не уверен. Он высокий, и цветки торчат из одного стебля, сразу несколько штук. Так мы и шли домой — с пакетами и «георгином». Цветком папа размахивал, изображая шталмейстера, дири-жирующего оркестром.

Кроме этого случая, я выигрывал в «Спринт» несколько раз по рублю, и все. А в книжную лотерею выигрывал всегда — до того как она исчезла. Жаль. Может быть, из-за меня ее и закрыли...

Как называются эти цветы, я так и не запомнил. А ведь мама выращивает их на даче.

ЛЯ МИНОР

Гитару мне подарили на день рождения. Год она простояла без движения. Были на это свои причины.

Перед вторым классом меня заставили выучить какую-то дурацкую песню и повели в музыкальную школу. Принимать меня, не выговаривавшего шесть букв, поначалу не хотели. Но все же сдались.

Слух-то у меня есть, это правда. А вот с дисциплиной и другими требованиями было похуже. Испортили меня папины пластинки. С самого рождения я слушал в сознательном и бессознательном возрасте джаз. Я знал, кто такой Бах, но слышал его в исполнении трио Жака Люсье. На уроках физкультуры в первом классе я исполнял движения не по команде «раз», а «раз — точка». Преподавательница физкультуры говорила: «У него совершенно нет чувства ритма». Что обо мне говорили преподаватели сольфеджио, лучше не вспоминать.

Возле здания этой окаянной школы был парк Пионеров. Зимой там устроили самую большую ледяную горку. Туда я вместо занятий и ходил. И однажды выкатился прямо под ноги раскрывшей обман маме, после чего папа резонно решил, что при таком отношении к занятиям и абсолютной взаимности с преподавателями незачем переводить деньги.

Гитара поначалу напоминала мне о музыкальной школе. Но потом папа дал мне послушать вместо бобины с Окуджавой пленку Высоцкого, по ошибке. Записи начинались с «Чести шахматной короны». Я посмеялся и над шахматной короной, и над «Ой, Вань», но на другой стороне бобины первая же песня, «Тот, который не стрелял», выбила из меня все веселье. А потом — «Банька по-белому».

Именно он, Высоцкий, объяснил мне, почему красавица и умница мамина тетка вышла замуж за животное в фуражке по имени Прокофий. После этой свадебной фотографии семья перестала уменьшаться на остальных фотоснимках из тридцатых годов. И только одного Высоцкий не мог мне объяснить — кто рядом с дедом на фотографии, спрятанной под корешок альбома, красивый, в шляпе и галстучке, с милой девушкой под руку, и что значит на фотографии надпись «Рика и Катя»...

Про надпись и фото я выяснил сам, — уже потом, когда купил книгу «Голос Рамзая». На том снимке были Рихард Зорге и двоюродная сестра деда — Катя Максимова. Мама это подтвердила. Врал автор книги — была она актрисой, а не рабочей ткацкой фабрики на Трехгорке, и сначала учила Зорге говорить по-русски без акцента, а потом стала его женой.

Дедушка Виктор. Легенда семьи... Летчик, герой, затем — комбриг и большой армейский начальник, погиб на вторую неделю войны. Следом за похоронкой пришли трое — за ним. Не верили. Думали — прячется. Не знали они деда...

Бабушку с грудной мамой забрали в мрачное здание, а тетку Иринку, которой было пять лет, оставили ждать на крыльце. Отпустили задержанных через пять дней. За это время ушла та баржа, на которой их должны были эвакуировать. Вторая баржа была набита до последнего предела. Первую финский летчик, наверное, молодой и счастливый, чувствующий себя героем, потопил, прекрасно видя, что на палубе женщины и дети, — половина из которых были такими же финнами, только маленькими...

У мамы поднялась температура; кто-то выкрикнул слово «тиф». Родная сестра стала уговаривать бабушку бросить маму за борт. Толпа начала звереть... Тогда капитан пальнул несколько раз над безумными головами из пистолета и высадил бабушку с двумя сестрами на берег. Мама мало что помнит об этом — только то, что там была деревня и неграмотная старушка, которая поливала ее из медного ковша. Никакой это был не тиф. Корь это была.

Когда война кончилась, и бабушка с мамой и Иринкой вернулись из эвакуации, оказалось, что негде работать и нечего есть. Остался только дом, где жил когда-то дед, и семья его брата. И брат деда — живой.





Бабушка была в отчаянии. Но на улице ее увидел из окна автомобиля знакомый деда — Юра. Юра был в наших краях большим начальником, он устроил бабушку работать в комиссию по приему возвращавшихся из эвакуации. И даже как-то, получив американскую посылку к Новому году — две детские шубки, консервы, яичный порошок и бутылку виски, — забрал виски себе, а остальное отдал бабушке. Шубки продали — на эти деньги перезимовали.

Бабушка очень радовалась когда «Юрочку» показывали по телевизору. Фамилия у Юры была Андропов. Потом я где-то прочитал, что он всем напиткам предпочитал виски — и я знаю, с каких именно пор.

Высоцкий об этом не пел, конечно. Но именно после его песен я повзрослел на несколько лет — как раз в тот день, когда папа перепутал боины.

25 июля, в день моего рождения, папа купил приемник «Океан-202», и мы стали крутить его настройки, в надежде услышать «голоса». Так я узнал, что Высоцкого больше нет. Это был самый худший день рождения в моей жизни.

А через неделю я достал из шкафа гитару и стал играть. Первые аккорды я нашел сам, шесть штук. Потом мне кое-что объяснил Леша, сын дяди Эйно. Первый год я пел исключительно Высоцкого, потом уже появились «Машина времени», «Воскресение», «Аквариум». Потом — Джо Пасс, Августин Барриос и Наполеон Кост. Потом книжки по музыкальной теории, свои песни, концерты и даже небольшие гастролы...

Гитара дома есть до сих пор, — но я все реже к ней прикасаюсь.

Бабушка поддерживала отношения с сестрами — со всеми, кроме одной, той самой, с баржи. А моего двоюродного брата Иринка назвала Виктором — в честь деда.

БУЙСТВО ТРЕХ СТИХИЙ

Их привезли морозным вечером и сбросили возле нашей футбольной площадки. Сперва они падали сами — борт машины был открыт, и часть из них просто соскользнула вниз. Они бились о землю и друг о друга, они не гудели, а кричали, и у каждой был свой голос. Те, что примерзли или просто лежали на дне, выковыривал с помощью лома человек с медвежьей осанкой и медвежьей же силой. Казалось, что посреди двора безумный великан играет на огромном расстроенном металлофоне. Тогда никто не понял, что этот кошмарный набат может предвещать.

А потом они начали петь. Стоило подуть ветерку — и казалось, особенно темным зимним вечером, что двор оккупирован призраками. Этот пронизывающий вой привел в бешенство всех дворовых собак. Они присоединились к адскому пению...

В Финляндии есть памятник композитору Сибелиусу. Его автор — скульптор Эйла Хилтунен. Она собрала из нескольких десятков медных трубок подобие органа, на котором играет ветер. У того ветра тоже не всегда складно получается, но валяющиеся в нашем дворе трубы превзошли самые смелые акустические проекты. Вот по ним-то и должна была наконец-то прийти в наши квартиры горячая вода.

Потом появился сварной, из уголков, верстак с двумя колесами и рычагом. Возле него замер человек в грязном тулупе и в неизменной синей шляпе. Он трагически смотрел на изделие с колесами, прибывшее во двор после первого грузовика. Сняв шляпу, как на панихиде, он повторил:

— Ну что за люди! Ну что за люди...

За время, пока везли тот самый верстак, на котором предполагалось гнуть трубы, половину труб растащили со двора. Подозревали дачников, проводили проверки, даже ходил милиционер по квартирам. Все было тщетно — трубы исчезли.

Реакция жильцов дома на эти события была неожиданной: никто не возмущался. Во-первых, никто уже не помнил, для чего в санузлах проделали дырки. Во-вторых, когда трубы сперли, грудные дети стали спать спокойно, а собаки перестали давать ежевечерние концерты.



Верстак стоял до весны, когда человек в шляпе появился снова. Теперь трубы привозили небольшими партиями. Человек в шляпе снова ходил, как лихой капитан пиратского корабля, по всему дому и орал:

— Убрать полки! Сказано же, никаких холодильников в коридорах! Обувь вон! Начинается монтаж!

В подъезде, который первым подвергся этой операции, сразу же выбили окно вместе с рамой на лестнице, пытаясь завести трубу изнутри. Потом решили действовать с чердака, обвалив в одной квартире потолок в туалете и в ванной. Приволокли подъемник. Одна из труб с него, как и положено, слетела и расколотила лобовое стекло машины Плейшнера. Двор содрогнулся, услышав из уст почтенного профессора вместо привычно-равнодушного «Ну-с-с, как мы себя сегодня ощущаем?» родное и душевное про мать и других родственников уронившего, после чего машины стали немедленно убирать из опасной зоны.

Потом один из монтажников решил прокатиться на подъемнике, заглянул в комнату, где миловалась с мужем истеричная дамочка, и получил горшком с кактусом по голове. Его счастье — этаж был второй. Его несчастье — проживавший с хозяйкой эрдельтерьер был об этом осведомлен и прыгнул следом, но любитель аттракционов вовремя нажал кнопку и вознесся под самую крышу. Потом, при проведении монтажа в этой квартире, человек в синей шляпе попытался рывкнуть на собаку, но ушел оттуда, лаская спиной стенку и бормоча:

— Еще бы крокодилов поназаводили, сволочи!

Дядя Эйно был суров и мрачен. Монтажники разворотили его уголок с инструментами и сломали маленький домашний верстак. Следом за монтажниками пришли сварщики. Эти, как водится, чуть не сожгли чердак и устроили небольшие пожары в двух квартирах.

Буйство монтажников и сварщиков продолжалось три месяца. За это время жильцы стали агрессивны и опасны. Они вздрагивали при слове «здравствуйте», а если кто-то говорил, что собрался *варить*, многие кричали: «Нет!» — хотя речь шла о магазинных пельменях.

Трубы были готовы. К ним присоединили тонкие трубки-отводы, установлены смесители. Но, как и раньше, мыть затоптанные коридоры приходилось, нагревая воду на газовой плите в ведрах. Ну и дыры, конечно, тоже никто не заделал.

Синяя Шляпа ушел с благодушным лицом, крикнув во дворе всем и никому:

— Подождите! Будет вам и белка, будет и свисток! А то все им сразу подай! Тут и так с ума сойдешь...

Дядя Эйно посмотрел ему вслед и вздохнул:

— Да. Это точно.

Дом озверел. Но чего-то еще недоставало для полного самовыражения, буйства трех стихий было недостаточно. Четвертая была только на дальних подступах к месту событий...

«TANGO»

Каждый во дворе знал, как называется лучший футбольный мяч. Его можно было увидеть. Он был совсем рядом, с надписью «Super Cup», читавшейся во дворе как «суперкуп», синего цвета, с короткой шнуровкой, и продавался он в «Спорттоварах», а стоил одиннадцать рублей. Это было слишком дорого, чтобы сброситься на него всем двором, а накопить не получалось. Зимой у одного из наших не было клюшки — он жил без отца, на пенсию больной матери, и даже летом ходил в суконных зимних ботинках на молниях. Молнии все время расстегивались, так что он, как и все, пришел ниточку слева, пропускал ее через ушко замка и застегивал на пуговицу. Клюшку ему покупали всем двором, — не искали особого повода, чтобы вручить, просто сунули в руки и крикнули: «Играй!» А кто-то отдал еще и свои старые валенки.



Но клюшка стоила пятерку. Одиннадцать — это в два с лишним раза больше. А хитрый «суперкуп» еще и подорожал до восемнадцати рублей. Задача усложнилась.

Но и мы росли вместе с ценами. Наш Родиончик получил в своем ПТУ загадочную бумагу, удостоверявшую, что он «прослушал курс и прошел производственную практику». Уже через неделю он пасся возле кооперативных гаражей и мог все починить и достать. А уж если человек обладал такими талантами, с деньгами у него было все в порядке. Колька Васильев получал стипендию в машиностроительном техникуме. У других тоже случались поступления средств: Валет, например, еще не зарабатывал, но увлекся биатлоном и стал ездить на соревнования, где получал талоны на питание и командировочные. Даже давние приятели, Костолом и Казбич, имели стабильный доход: Казбич, несмотря на юный возраст, уже отпустил под носом полоску пуха и играл в кабаке на ударных, а Костолом занимался вольной борьбой и, кажется, фарцевал по мелочи. Так что покупка «суперкупа» была вопросом времени.

Никто не сомневался, что хранителем «суперкупа» будет Колька Васильев. К тому времени уже подрос, окреп и начал играть с нами его младший брат Леха, вдвоем они стали непобедимым игровым звеном. Но в мае и июне нам мешали экзамены, потом всех гнали в колхозы убирать турнепс или культивировать картошку, так что выбраться на игру удавалось все реже, — потому еще больше хотелось играть приличным мячом.

В середине июня вопрос о покупке «суперкупа» решил сам собой. Наш старый мячик погиб смертью достойных. Он неоднократно бывал и на базаре, и в тюрьме, и в окне парикмахерской во время бритья клиента, едва не оставшегося без уха, и даже в салоне машины у Плейшнера. Он разбил десятки стекол и испачкал сотни платьев, плащей и костюмов. Его грозились отобрать, сжечь, пытались украсть... Такой мяч мог умереть только на нашем поле. После розыгрыша стандартного положения и чудовищного удара Костолома пыром бедняга взлетел на полметра — и пал, разорвавшись от старости пополам.

Родиончик не мог оставить такое событие без комментария:

— Тебе еще надо кирпич на головку подать с углового! Расколотишь ведь его своей тупой башкой, рыжим станешь, как Цунич! Кто ж пыром-то бьет, ты что, убить кого-то собрался?! Щечкой надо, пяточкой... Нет ведь, жажнул же... как по Рейхстагу... Поиграли...

Решили не валять дурака и купить «суперкуп» немедленно, на что Родиончик тут же выдал:

— Деньги на стол прямо шас, а у кого нету, тот гондурас! — и обрадовался: — Блин, стихи! Скоро буду в газете тискать, к праздникам.

Скинулись, сбежав по домам. Вышло больше двадцати рублей. Торжественно купили и принесли «суперкуп» во двор. Полчаса искали иглу для насоса, — «суперкуп» был новомодный, без шнуровки. Накачали до звона и стали играть... И тут я сделал страшное.

По новому мячу можно было лупить пыром без всяких сомнений. Так и сделал Костолом; и мяч был бы в наших воротах, если бы я не подставил ногу. От моей ноги по заковыристой траектории мяч взметнулся над крышей базара, угодил прямо в трубу и там, наверху, исчез. Достать его оттуда было невозможно.

Красноречие Родиончика иссякло. Он только покрутил пальцем у виска и сказал:

— Что и требовалось доказать... Дурдом на выезде!

Дома я рассказал о случившемся папе. Он высказался так:

— Ну что? Не удивляюсь... Все, в общем, в порядке вещей.

А поздно вечером папа принес мяч из натуральной кожи... с надписью «Tango Durlast 1978» — официальный мяч чемпионата мира по футболу 1978 года!

Три дня во двор никто не выходил, — как назло! На четвертый день не смог выйти я... Наконец, когда Олег зашил проволокой убитого Костоломом ветерана, хотя тот уже не летал, а ползал, и все собрались, я вынес во двор это чудо...



Замолкло все. Даже машины на улице. Кто-то прошептал:

— А как по нему — ногами... А?..

— А вот так! — Родиончик деловито установил «Танго» на угловую точку, потребовал, чтобы Казбич встал в ворота, и, приложив все мастерство, положил в верхнюю «девятку» идеальный «сухой лист», после чего не смог сдержать чувств, простонав: — Это кайф! Это же... как с бабой!

Мы в тот вечер толком и не играли, мы просто разыгрывали стандарты, пасовались, накидывали на голову... Это было действительно танго, но такое, для которого нужны не двое, а двадцать два — и футбольный газон. Нас было меньше, газона не было, но кайф был неопишуемый.

Мы сыграли этим мячом раза четыре и разъехались на каникулы. «Tango» унес с собой Колька. А мы не знали еще, что на вопросы времени чаще всего получаешь ответы судьбы...

КОЛЬКА

Когда я вернулся из Астрахани, куда ездил к тетке и брату, первая, кого я встретил, была Танька Лобанова. И сразу захотел притвориться, что я ее не вижу... или тороплюсь. Ноги не несли в ее сторону. И не в Таньке самой было дело...

Обычно она только торчала из окна с магнитофоном, издававшим медляки, и любовалась на Валета, но в кино предпочитала ходить с Колькой Васильевым. Таньку слегка раздвинуло в ширину, она уже носила лифчик третьего номера и с Колькой выглядела гармоничнее, да и Валет в ее сторону даже не смотрел, — ему по-прежнему были интересны только книжки про мушкетеров и лыжи со стрельбой.

Она сидела теперь не на своем окне, а на земле у теннисного стола. Я еще ничего не успел сказать, как услышал от нее:

— Коля Васильев умер...

Помню, что еще дошколенком я определял с одного взгляда, кто добрый, а кто злой, от кого ждать плохого, а от кого — хорошего. Наверное, каждому сначала дается интуиция — чтобы защитить беззащитных, предупредить незнающих. А потом постепенно заменяет ее, совершенную и безошибочную, неказистый, примитивный, грубый и неточный опыт. Интуиция до самого конца, даже сквозь толщу опыта, нарастающего как сало по бокам мозгов, что-то кричит нам, — а мы не слышим. Или не слушаем...

На производственной практике Коле достался самый худший станок. Не повезло и с мастером — тот с утра посылал ученика за портвейном, а сам валился спать. Станок, еще с гитлеровской свастикой, купленный у Германии в тридцатые годы, сохранил верность фюреру и выстрелил в Кольку лопнувшим на шкиве ремнем. И Кольку еще можно было спасти, — но был обеденный перерыв, наставник во дворе резался в козла за штабелем старых шпал от заводской узкоколейки.

На похоронах мы были всем двором, держась одной компанией вместе с Колькиным братом Лехой, которого невозможно было заставить сесть на скамейку рядом с гробом. Со щек Кольки так и не сбрили пух, который через пару месяцев мог стать бородой.

Прошло несколько дней. Мы по привычке выползали во двор, но больше сидели на теннисном столе и болтали. Кто-то уже курил в открытую. Казбич и Родиончик поднимали себе настроение «слезой Мичурина».

Постепенно забылись похороны. Мы стали травить анекдоты, к нам присоединились доселе никогда не искавшие нашей компании дворовые девчонки. Приходила и Танька. Уже скоро она снова стала смеяться.

Потом настала осень. Умер Брежнев. На фоне смерти Кольки Васильева это событие прошло почти незамеченным.

Больше мы не играли во дворе в футбол, и он опустел. Мы — ровесники демографической ямы. Следующих за нами не было еще долго.

ISOLATION



Итак, наши квартиры получили полный комплект оборудования для доставки горячей воды, но без самой воды, и по здоровенной дыре в самом, можно сказать, потаенном уголке. Некоторое время, пока дом был гигантской коммуналкой, эти отверстия хотя и мешали, но не слишком. Но все меняется... Кто-то из дома уехал, перебрался в другой город, разменял квартиру, умер. Кто-то поселился в их квартирах, кто-то родился... Оставшиеся ссорились, мирились, заводили новых друзей, менялся состав традиционных компаний. После Кубка Канады никто уже не собирал соседей у единственного на весь подъезд цветного телевизора, — телевизоры стали цветными почти у всех.

Во всех квартирах установили домашние телефоны. Проигрыватели и магнитофоны тоже приобрели почти все, каждая квартира потребовала акустической независимости. Ждать милостей от жилконторы уже не собирались, стали заделывать дыры самостоятельно, забивать фанерой, цементировать.

Леша, сын дяди Эйно Леша приезжал из Полярных Зорь и рассказывал о своей новой работе. Он уже не строитель, он «эксплуататор» им же построенной атомной станции. У него от восхищения горели глаза:

— Вы не представляете себе, как это интересно!

Год назад он подарил мне кассету с Ленноном...

Я помогал отцу подставлять дюймовую доску под фанерный щит. Сверху дядя Эйно уже положил арматуру, сетку, собирался лить цементный раствор...

Чернобыль будет потом. А тогда была какая-то другая авария, совсем небольшая. Леша умер от лучевой болезни. Он весил меньше сорока килограммов.

Мне уже не так горько. Ком в горле стоит, — но у меня уже есть опыт. Умерла одноклассница от заражения крови, а одноклассник — от рака. Погиб на заводе Коля Васильев. Умер Юрий Львович. Мертвый, он был совершенно не похож на себя. А на его рабочем столе нашли фотографию, на которой он, доверяя своей по-детски безукоризненной интуиции, написал сверху: «Вспоминайте меня веселым!» Через несколько дней, прорывавшись, я вдруг понял, что вспоминаю его и улыбаюсь. Мне уже не надо помогать папе держать доску — она встала как надо, но я все равно стоял рядом, рядом с папой мне спокойнее. Нам обоим не по себе порознь. Я снова вспомнил сначала Лешу, а потом Юрия Львовича. И почему-то вообразил его скачущим на коне рядом с Юлом Бриннером.

Дядя Эйно не плакал при нас. А еще — он не любил беспорядка. Он давно мечтал заделать эту дыру.

Джон Леннон поет из магнитофона:

— People say we got it made,
Don't they know we're so afraid
Isolation,
We're afraid to be alone.
Everybody got to have a home.
Isolation...

Мы слышали, как сосед аккуратно шлепает мастерком раствор на нашу фанерку, на сетку, выравнивает ровный пол сверху шпателем. Шуршание стихло. Дядя Эйно всегда считал, что горе должно быть отделено от счастья — стеной, полом, потолком... Отверстие исчезло. Дядя Эйно запечатал дыру, которую бесстыдно устроивший уклад проделал в его доме.

Еще мы разобрали никому не нужную старую антресоль и выкинули весь хлам из дома, даже сдали в пункт приема вторсырья старые газеты и тряпье. За это нас одали правом купить три блока жевательной резинки и книг на выбор: исторические романы писателя Балашова, «Проклятых королей» Мориса Дрюона или роман неизбежного Дюма — «Асканио», который приемщица называла «Асканио Ново». Вместо книг мы взяли еще два блока жвачки. Поделились по честному: папе тоже



нужна жевательная резинка — ему предстоит поездка по дальним районам, агитировать жителей деревень поступать в институт, где он работает. Дорога дальняя, а жвачка помогает не задремать за рулем...

Люди, которые въехали в квартиру Беленьких, поставили первыми в подъезде железную дверь с сигнализацией. Эти соседи не только зажиточные, но и прозорливые люди: миру, в котором мы жили, оставалось не так много. Скоро он станет совсем другим...

Когда исчезли в доме почти все дыры, снова явился он, Синяя Шляпа! Как злой дух, как сын неизбежного противоречия между каменным центром и деревянной окраиной без всяких удобств. Самостоятельно заделанные дыры он объявлял заделанными с нарушением технологий, и снова явились долбежники. В одном подъезде их даже взяли в заложники разъяренные пенсионеры. В наш подъезд их не пустили. У нас поселился крупный строительный чиновник, он заверил Синюю Шляпу, что здесь все сделано с точным соблюдением технологий — и тот ушел.

А горячей воды так и не было.

ЭМУЛЬСИОНКА

В квартирах стало уютнее и теплее. На пол мы купили серое покрытие, а еще — пылесос. Постельное белье относили в прачечную, оттуда его выдавали сухим и поглаженным. С прочим справлялась стиральная машина «Малютка» — «тазик с вентилятором». У нас появился большой холодильник, и папа раз в пару месяцев ездил в Питер за продуктами, иногда даже брал меня с собой. Быт налаживался.

Но вот с посудой все оставалось по-прежнему. Грели чайник и кастрюлю, смешивали в тазике воду до терпимой температуры, мылили тряпку номер один хозяйственным мылом, драили все на первый раз; чайник на это уходил полностью. Затем все споласкивали холодной водой, ошпаривали кипятком из кастрюли, чтобы отбить запах мыла. А еще надо было выдраить плиту, вытереть со стола...

Теперь и в ванной, которая стала просторнее, и над раковиной было два крана, а не один. Во время последнего визита Синей Шляпы его приспешница с тетрадкой явилась с кучей бумажек с синими штампами и проинструктировала всех устно, повесив внизу объявление:

«Ув. тов. квартиросъемщики!

О начале подачи горячей воды будет сообщено ко времени готовности централи. До особого распоряжения краны ГВ опечатываются. Крутить краны ГВ, снимать или менять смесители категорически запрещается! К нарушителям данного распоряжения будут применяться самые строгие меры (до выселения)».

Подписи, естественно, не было.

Это средоточие глупостей забавляло весь дом.

Во-первых, как это не покрутить то, что крутить запрещается? Не в ГДР живем какой-нибудь... Во-вторых, как проверить, крутил я или нет? И высели меня потом. А я скажу, что так и было!.. В-третьих, — мой кран! Мой! Что хочу, то и делаю!..

Несколько лет ничего не было слышно. Никаких централей и горячих вод. И все привычно шли по субботам в баню с газеткой и кремом для бритвы с красной полосой...

У меня всегда играла музыка, я нередко притаскивал домой все новые и новые кассеты с неизвестными группами, вот и в этот раз засунул кассету в магнитофон, не успев прочесть названия. Пока разматывался ракорд, решил поставить чайник, вышел в коридор.

Что-то насторожило меня... Этот звук напоминал скрип двери и свист паровоза одновременно. Затем свист превратился в рев атакующего слона, мрачный и угрожающий звук труб Иерихона пронесся над домом, отовсюду раздался пулеметный треск и отдельные гаубичные выстрелы, вой привидений и стоны убитых при падении стен иерихонцев...

Я, дрожа от ужаса, зашел в ванную. Из смесителя шипело и рокотало, он трясся и шевелился. Заглянув на кухню, я увидел, что тамошний смеситель повернулся хоботом вверх, и принялся крутить его обратно. Справившись, я бросился в ванную. Там из крана и из душевого рожка трубы плюнуло коричневым порошком, затем на кране надулся пузырь и лопнул тысячей брызг, обдав меня коричневым месивом с ног до головы.

Не помню, как справился с краном и вернулся в комнату, чтобы переодеться, помню только, что магнитофон в это время орал голосом Петра Мамонова:

— Миллион кубометров горячей воды!

Я войду незаметно, пока дрыхнешь ты!

Кипяток! Кипяток не оставит следов.

Я приду незаметно, будь готов!

В подъезде уже орали люди, по двору бегали старухи, дети, интеллигентные и неинтеллигентные мужчины, выбивало чопики из еще вчера молчавших труб. Потопки кипящей ржавчины били, как гейзеры, в стены и потолки, текло, текло по всей Земле, во все пределы!

«Ты думаешь я согреваю тебя? Не надейся, не жди! Я теку до тех пор, пока длится труба! Я теку до конца, погоди!» — надрывался Мамонов, но рев труб его перекрывал.

Жилконторские бабы орали, что «всех же предупредили и всем все опечатали». Их посылали на редкость далеко. Где-то рухнул потолок: пьяница-сосед сверху продал смесители, ушел принимать амброзию во двор — и исчез. В первом подъезде орала в окно Танька Лобанова — у нее в квартире случилось короткое замыкание. Навозного цвета мерзость хлестала в три ручья, а на улице уже было темно...

К дому устремились аварийные бригады; люк во дворе замерз, его отогревали паяльной лампой, чтобы повернуть вентиль.

«Миллион кубометров горячей воды!..»

Один из аварийщиков спустился в люк. Тут же раздался дикий вопль, рабочий вылетел наружу ошпаренным. Фонтана не было, но лужа выросла мгновенно, над ней поднялся не пропускающий света пар...

«Я теку до конца, погоди!..»

А у нас в подъезде было тихо, все были на работе.

Когда вечером пришла мама, у нее чуть не прихватило сердце:

— Я думала, что ты уже взрослый! Что ты натворил?.. Ну сколько можно... Что это было? Что ты сделал, говори быстро?!..

Я сел на стул и посмотрел маме в глаза.

— Мама... Все хорошо... Нам дали горячую воду.

Тут пришел папа. Он все понял еще во дворе. Осмотрел ванну и кухню и вдруг как-то легко и радостно выдохнул:

— Бывает же! Я только что оторвал в хозяйственном пять банок эмульсионки. Без очереди! Ничего, закрасим...

Кипяток продолжал заполнять дворы и улицы.

Нам все-таки дали горячую воду.



НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР

Маленькая повесть

Это, скорее, конец повествования, а не начало, эпилог на месте пролога. Так бывает?.. Не знаю, может быть, знаете вы...

«Я так и не получил от тебя письма. Не понимаю — почему?»

«Даже не знаю, в чем дело... Почему-то наши почты несовместимы. Может, это знак? Я отправляла несколько писем. В одном из них было то, что я бы хотела, чтобы вы услышали. Сейчас вот снова пишу и думаю, дойдет ли...»

Читаю стихи Верстакова, — мы с вами говорили о нем, — и они меня в большинстве своем не впечатляют. И все-таки... Прочитайте вот это, в нем почти все то, что я хотела сказать в одном из недошедших до вас писем:

“Был дождь со снегом в праздник Покрова. Иства была сыра, крыши белы. Мы говорили глупые слова и в лужи попадали то и дело.

Она умна, красива, молода — зачем я ей... Да и она мне тоже... Пройдет октябрь, наступят холода. Ну а пока — гуляем иногда, снег на ресницах, на щеках вода, — на дождевую, впрочем, не похожа”».

«Теперь ты не отвечаешь на мои звонки. Неужели все действительно так страшно?.. Жаль. Я думал, высокий промысел на моей стороне».

«Все не так страшно, но... Я должна кое-что сказать вам. Простите, что не сказала раньше. Я действительно сожалею об этом... Но... мы не можем быть вместе. Может быть, когда-нибудь я расскажу, в чем дело.

Это не означает, что я не могу говорить с вами, писать вам, но ведь это так мало... А я... Я не смогу дать вам то, чего вам, наверное, хочется и чего вы достойны. А если смогу, то это меня разрушит.

Простите и поймите меня».

Вот и вся наша история в письмах. Да, пожалуй, вместе с этим и конец всей истории вообще. Я, правда, ответил ей что-то вроде «такова жизнь», — и здесь трудно что-либо добавить. Сожалеть? Конечно, можно! Но жизнь проистекала по своим законам задолго до наших встреч, дальше она будет двигаться тем же порядком. И вот еще что... Громкие выводы, определения, заявления со временем теряют не только свою силу, но и вообще самый смысл. Они чаще всего меняются на собственную противоположность. Но проверить справедливость этого может только время. На него и полагаемся.



Один освободил свою измученную душу, другой упражняется в познании родного языка

В общем, я не удержался, чтобы не высказать обиду, тем самым поставив себя в положение побежденного. Да какого черта! Положение... приложение... изложение... Мне сейчас слова надоедают еще до того как они произнесены. Мне они действуют на нервы. Какой-то идиот придумал их, с тех пор нет больше ничего, только они. «В начале было...» Ха-ха! Это так, всего лишь фраза, привычное звучание. Оно, это слово, в середине. И в конце. Сумеете — проверьте!

Один мой знакомый принял смерть, сидя в кругу семьи, в полном сознании. Неожиданно для всех потребовал бумагу и карандаш. Написал ровным почерком: «Все! Мне конец!» — и умер. Я бы отнесся к этому жесту с пониманием, если б он говорить не мог, если б ему вдруг захотелось запечатлеть на бумаге свою последнюю волю, начертать что-то сокровенное, греховное или стыдное. А вот так... Смерть неповторима в каждом отдельном случае, надо ли ее украшать? Впрочем, о каких это украшениях идет речь? Все те же слова! Разница — на бумаге. А на месте родственников я бы использовал эти слова в качестве надписи на надгробии. Представляю подобную эпитафию... Загадка! Прочел прохожий — и задумался: казалось бы, здесь покоятся все, кто в разное время уже принял свой конец. Какой смысл возвещать миру без того очевидное? Или речь идет о каком-то ином измерении *конечности*? Может, кончилась чья-то бессмертная душа — возможно ли такое вообще? Измыкалась, истощилась, отмаливая грехи того, в чьем теле была постояльцем...

Все началось намного раньше. За ее столом сидела другая; я был чуть моложе, до дня нашего знакомства думая, что свобода — это самое главное в жизни. Мне казалось, будто она, та, другая, думала так же.

Более дурацкой конторы, чем наша, наверно, найти было трудно.

Я сижу за своим столом, изучаю сообщения в Интернете и в печатных изданиях, где упоминается наша продукция или фирма. Она за столом напротив занимается тем же самым. Начальница отдела, удивительно красивая стерва, сводит наши отчеты и отправляет в другой отдел. Сводит и сводит, — я об этом не слишком задумывался. Наивный дурак! Она все объяснила мне, когда я показал число на моей зарплатной квитанции: «-16».

— У тебя именно на столько сообщений меньше, чем у меня.

— Значит, выходит, мы контролируем друг друга? — уточнил я.

— Вроде того.

Разговор этот состоялся давно, когда мы еще не были вместе, да и вообще имели друг о друге отдаленное представление. Но с тех пор у меня ни разу не было числа с плюсом. Может, и раньше тоже не было, откуда мне знать. Квитанции стали выдавать на руки не так давно.

Она, сколько ни просил, никогда не показывала мне свои цифры. Скорее всего, щадила, поскольку у нее наверняка начисления были выше.

Я определил начальницу стервой еще до того как узнал про свои минусы, после лишь утвердив это звание. В толковом словаре мне не очень понравилось значение звучного и многозначительного слова — падаль, мертвечина, дохлятина. Я решил, что в словарях напутали. И еще больше уверился в этом, когда прочитал в каком-то романе, как русский эмигрант объяснял своему немецкому другу, что стерва — это чисто русская характеристика женщины, ее не перевести, не объяснить.

Начальница сидела в одной комнате с нами, но была далека, как крайний флажок на карте продвижения нашей продукции. Вон там она, где-то на Курильских островах.

— Как думаешь, кто такая стерва? — спросил я однажды у нее.

— Думаю, женщина, которая умеет обращаться с мужчинами. Они и придумали это слово, вкладывая в него самый различный смысл. В отместку.

Еще в те времена, когда она не была моей, я заметил эту ее особенность отвечать. Да и вообще разговаривать. Говорит, говорит... — и вдруг закончит фразу одним словом. Иной раз и мысль оборвет, ей это ничего не стоило.

Сейчас я с трудом вспоминаю ее лицо, даже не верится — как это я мог забыть... Иногда мне кажется, что она была точь-в-точь похожа на нашу начальницу, те же длинные и пепельные — у моей чуть темнее — волосы (наращенные, — сказала мне она, а у меня фантазии не хватало представить, как это — приклеить волосы к волосам), тот же немного удлинненный породистый нос с горбинкой, чуть раскосые лазуритовые глаза с пиритовыми искрами, чувственные губы, застывшие в полуулыбке. А главная примета в замечательном лице нашей начальницы — широко расставленные скулы, что делает ее похожей на монгольскую княжну из далеких веков.

Да нет же, моя — она совсем другая: и волосы темнее, и скулы — хотя и выдаются, но не так сильно. И глаза — серые, с запрятанным в глубине светом, как прозрачный обсидиан. И губы... Никакой заранее придуманной улыбки, они у нее чуть приоткрыты и расслаблены, будто всегда готовы к поцелую.

— А если я тебя соблазну, — спросил я однажды. Просто так спросил, от нечего делать.

— А если я?..

Об умении внезапно исчезать, ненаписанном романе и тяге к здоровому образу жизни

...Встала и ушла. И больше в этот день не возвращалась. И начальница, вернувшись из главной конторы, ни слова не сказала по поводу ее отсутствия. Будто бы ее и не было никогда, и стол напротив меня пустовал изо дня в день. Лишь некоторое время спустя я задумался об этой ее способности исчезать, словно растворяясь в небытии.

Все-таки ее работа отличалась от моей. Хотя бы тем, что она часто ездила в командировки. В Москву, например, или в Питер. Что она там делала — неизвестно. Раз спросил — ответа не получил. Зато она присылала мне по электронной почте письма... скорее — записочки.

«В Москве с утра такой плотный туман, что солнце похоже на подзорную трубу бога. Он наблюдает за нами, а мы этого не замечаем... Бабушка всегда говорила, что он сидит наверху и все видит... Вспомнила, как несколько лет назад написала стихи про возраст. А еще — про дерево, которое никак не хотело желтеть. Тогда я была немножко влюблена, и получился еще один небольшой стишок, просто как ассоциация с весенним перелетом птиц. Это так красиво... и чем-то напоминает любовь. А вообще... интересно наблюдать за тем, что происходит вокруг. К примеру, ехала вчера в метро, по воздушке между Киевской и Смоленской, и увидела, как утомленное жарой солнце медленно сползло в Москву-реку. Красота — обалдеть!..»

— Ты не поэтка? — спрашивал я ее, специально избегая слов «поэт» и «поэтесса».

— Нет, — отвечала она серьезно, — я пишу роман.

Я рассказал ей историю о своем давнем знакомом, творческом человеке, работавшем в толстом журнале, а потом — в издательстве. Дома у него постоянно толпились писатели, художники, критики, все ценили его мнение по любому обсуждаемому предмету искусства, но больше всего он разбирался в литературе. Вел он затворнический образ жизни. Принимая гостей у себя, сам никуда не ходил. И все думали, что однажды из-под его пера выйдет нечто значительное. Роман-эпопея, к примеру. Даже его жена нисколько в этом не сомневалась. Чем еще мог заниматься знаток слова, закрывшись у себя в кабинете, не гася свет до пяти утра... И вот однажды человек умер. Вдова перевернула все его бумаги, которых, кстати, оказалось совсем не много, и ничего толкового не нашла, так, почеркушки ни о чем, заготовки редакционных отзывов и несколько рецептов, как солить капусту. Не было намека ни на роман, ни даже на повесть или рассказ. Не было ничего. Вдове выпало на всю ос-



тавшуюся жизнь гадать, что же происходило в часы ночных бдений в кабинете у мужа, а писатели, вечные завистники, тихо похихикивали, вспоминая своего товарища...

Однажды к концу рабочего дня мой старый приятель прислал за мной машину. На тот день у него была баня. Так он называл оздоровительный центр с тренажерным залом, боксерским рингом, сауной и массажным кабинетом. Там был даже бар с несколькими столиками. В предыдущей жизни мой друг служил в милиции, потому знал, как обходить запреты, ограничения и прочие помехи подобному бизнесу.

— Могу подвезти до центра, хочешь? — предложил я ей.

Она молча закрыла программу на компьютере и пошла за мной.

— Может, пойдем оздоравливаться вместе? — спросил я, когда машина остановилась.

Вряд ли она поняла, о чем шла речь, но все так же молча ступила на асфальт и отправилась за мной следом.

Оставив ее за спиной, я заглянул в кабинет приятеля.

— А, привет! — бросил он, едва глянув в мою сторону. — Отдыхай. Позже должны подвезти классных...

Тут он осекся. Я всегда удивлялся его необыкновенному чутью. На мой вопрос, не специально ли их, ментов, этому обучают, он как-то ответил, что *этому* никого и нигде не научат. Таких на пару сотен — один, и все они нынче ушли со службы. Лучше, по его словам, босоножками на рынке торговать. Как бы там ни было, он поднялся со своего места и распахнул дверь:

— Прошу, — указав на мягкое кресло у противоположной стены. — Владимир.

Она тоже назвала себя, и они начали болтать с непринужденностью старых знакомых, — о рабочих местах на рынке труда, о ценах, о челночниках и частных извозчиках... Когда они дошли до книг, я не выдержал:

— Не мешаю?!

— Не-а, — последовал простодушный ответ. — А ты, если хочешь, можешь пойти в зал, мышцы помять.

— Мы вообще-то собирались в сауну, — сказал я, как о давно решенном.

Она удивленно вскинула глаза, но промолчала.

— В сауну так в сауну. — Моего друга ничем не прошибешь. — Где полотенца, простыни, шлепанцы — знаешь. Печка нагрета, вода в бассейне свежая. Отдыхайте!

И уткнулся в бумаги, водрузив на нос очки.

Мы обернулись простынями, каждый в своей раздевалке, — я от пояса, она от подмышек. Я все ждал, что она заговорит, но она молчала. Так же молча мы зашли в парилку и взобрались на полук.

Разница температур при сложении дает необыкновенный результат

— Ноги надо поставить выше, чтобы тепло одинаково грело все тело.

Других познаний в банном деле у меня не обнаружилось, и мы опять погрузились в молчание.

— Жарко! — вымолвила она наконец.

— Если хорошо прогрелась, можно в бассейн.

Бассейном назывался лягушатник размером четыре на три метра, зато вода в нем всегда была проточная — чистая и холодная.

— Не в простынях же туда залезать... — высказал я сомнение. — Могу окунуться лицом к стене, а ты — к другой.

Она опять ничего не сказала, лишь тронула свою простыню и... Я был уверен, что сейчас она резко пригнется, прикрывая себя руками, плюхнется неуклюже в воду или отвернется... Ничего подобного: она стояла передо мной открытая и безумно красивая — трепетная, прохладная и жаркая одновременно. Бог свидетель, я

повидал обнаженных женщин, но сейчас передо мной открылось нечто особенное. Почти мальчишеская фигура, плоский живот, маленькие груди, волосы, рассыпанные по плечам, темный треугольник внизу живота — вроде ничего необычного, но была какая-то сумасшедшая сила, внезапно потянувшая к ней. Я же растерялся, сорвал с себя простыню и с пронзительным криком бултыхнулся в ледяную воду. Она прыгнула следом, но тут же, охнув, стала выбираться обратно. Вода оказалась чересчур холодной.

Потом мы грелись в сауне, уже без простыней, не стесняясь друг друга. Потом мы устроились на диванчике в комнате отдыха, и я протянул руку к ее груди:

— Можно?..

Она смотрела на меня, и из глубины ее обсидиановых глаз лилась загадочная, завораживающая темнота...

Мне хватило легкого прикосновения к упругой груди, чтобы закружилась голова и возникло ощущение, выплывшее издалека, словно от первой близости с женщиной. «Да что же это со мной такое!» — думал я, нежно обнимая ее, зарываясь лицом в темные волосы, которые никогда и ни у кого так не пахли.

Мы долго ласкали друг друга, едва соприкасаясь телами, а потом... как-то незаметно, естественно и легко мы соединились, — точно дети, заигравшиеся в песочнице и забывшие, что пирожные и пирожки из формочек ненастоящие. Впрочем, сравнение это здесь неуместно, все было на удивление настоящим. А мне вообще ничего путного в голову тогда не приходило. И это было так похоже на счастье — болтать глупости, хохотать над ними, снова и снова любить друг друга.

Лишь некоторое время спустя я подумал, что нас никто ни разу не побеспокоил, — очевидно, мой деликатный приятель перекрыл все подходы к сауне и бассейну. И сам понес немалый урон, судя по недоговоренной фразе о «классных девушках»...

Так у нас все и началось — неожиданно и просто.

Я снимал комнату в бывшем общежитии, где из прошлого осталась только коридорная система. Кто-то из жильцов сумел приватизировать несколько комнат, превратив их в квартиру со всеми удобствами. У меня тоже были все удобства, только располагались они на чересчур малой территории, для жилой комнаты осталось всего двенадцать квадратных метров.

Излюбленным местом она сразу же избрала подоконник, — в кирпичных домах они были широченными. Она могла часами сидеть и смотреть на улицу, где, честное слово, никогда ничего не происходило. Окно выходило во двор, сплошь засаженный тополями, их кроны закрывали все обозримое пространство. В эти минуты ее здесь как бы и не было, и мне казалось, что она в моей комнате не насовсем, не всерьез. Я тогда и не задумывался: а надо ли — насовсем?.. И вспомнил стишок для нее, автора только никак не мог припомнить.

Тень метнулась у окошка,
 И взмахнули два крыла.
 То ли птица, то ли кошка,
 То ли женщина была?..

Но все это случилось немного позднее — моя съемная малосемейка, сумка с ее вещами, окно с видом в никуда...

После той нашей бани она не пошла на работу, а я сидел, опасаясь смотреть на начальницу, и ждал, что та вот-вот заговорит о ней.

«Резеда» — духи из прошлого столетия.

А еще были «Серебристый ландыш» и «Сирень»

Ничего подобного не произошло, но когда я поднял глаза, то обнаружил в кресле начальницы *ее*. Мне показалось, что я схожу с ума, потому что этого попросту не могло быть, никто из кабинета не выходил, никто новый не появлялся. Но сомнений не было: хотя и похожи чем-то — не перепутать. Да и вообще...



Теперь я смотрел во все глаза, не отрываясь, боясь пропустить мгновение, когда произойдет... А что должно было произойти? Я ни о чем не догадывался, представить себе не мог ничего такого. И ведь произошло. Это было... как в слайд-шоу, когда меняется не вся картинка, а постепенно замещаются детали — волосы, лицо, глаза, одежда... У меня появилось ощущение, которое я испытал, когда в детстве читал Конан Дойла. Помните, в одной из новелл человека-невидимку избили до смерти, и все невидимые его части тела начали поочередно проявляться... И теперь передо мной та, кто и сидел тут все это время. Просто я задремал. Со мной это уже случилось: пялюсь, пялюсь в монитор — и закемарил. Большой у меня монитор, двадцать два дюйма, за ним легко спрятаться...

Вечером мы отправились гулять. А дело было, как сейчас помню, в конце июля... или, может, в самом начале августа. Городок наш — обыкновенная провинция в глубине Западно-Сибирской низменности. Но вот правители, все, сколько помню, отличались особенным пристрастием (может, это по наследству передается, вместе с должностью?) к веселеньким краскам. Дома на центральных улицах выкрашены в розовые, голубые, светло-зеленые тона, оранжевые, — просто майский праздник колеров. А еще — цветы, множество цветов, посаженных в клумбы самых замысловатых форм.

Несколько раз мы обошли клумбу в виде огромной запятой с красными революционными цветами, посаженными здесь по старой памяти — площадь Революции, так называется это место. Клумбу опоясывало неширокое кольцо мелколистных белых цветочков — резеда. Не люблю сильных запахов, но этот всегда волнует меня, напоминающая, что лето в разгаре, что еще не съездил в горы, не сходил на рыбалку. Когда думаю об этом, предупреждаю себя: скоро кончатся теплые деньки, ничего не успеешь!

— Пахнет, — сказала она, и было непонятно, нравится ей это или нет.

— Слушай, — решился я на вопрос, — а если б не было вчерашнего дня? То есть... вообще не было. Или случилось бы, но когда-нибудь потом-потом, много дней спустя...

— Я думаю о том же самом, только почему-то говорить об этом не хочется. Случилось... Только не спрашивай, пожалуйста, понравилось ли мне. Я потом тебе скажу, ладно?..

И опять этот взгляд — обжигающий, прозрачный.

— Хочешь, я подарю тебе камень обсидиан? Это вулканическое стекло, оно бывает самых разных оттенков — от желтовато-коричневого, до дымчато-серого и совсем черного. Твои глаза напоминают его, они меняют оттенки в разное время дня и при разном настроении.

— Мне кажется, не стоит дарить человеку то, что напоминает ему его самого. Как старая фотокарточка — она всегда врет... А ты про камни откуда знаешь?

Я пожал плечами: мало ли что мне известно, жизнь позади большая. И тут она заставила меня вздрогнуть.

— Жизнь позади большая, да?..

В ответ я сказал первое, что пришло в голову.

— Чтобы узнать камень, увидеть рисунок, надо его распилить, отшлифовать, отполировать...

— Отполировать... — задумчиво повторила она. — Видишь, ты и про камни знаешь, и, судя по всему, еще много чего. Странно, что ты сидишь в нашей конторе, с этой работой любой школьник справился бы.

— А ты? — Я далеко не высокого мнения о своей работе, но за школьника стало немного обидно. — Меня, к примеру, карьера не интересует.

— А меня — вообще любая работа. У меня, как я считаю, нет амбиций, мне уже просто неохота ничего доказывать кому-то, я вполне самодостаточна... А еще мне неинтересно взирать на чьи-то амбиции. Просто не вижу смысла в этом. Может, потому и случилось вчера... Ты был без стула, приросшего к заднице... Хотя... Вполне вероятно, я ошибаюсь.

Я слушал ее, смотрел на нее и не чувствовал никакого сближения. А ведь я хотел этого. Я полночи провел у окна, я думал о ней, я не хотел скорого расставания. Даже удивительно: подумаешь — переспали...

— Ты ведь знаешь, что я почти вдвое старше тебя.

— Знаю, конечно. И что? Я же не собираюсь за тебя замуж...

Завтра она летит в Питер, а он приглашен на свидание с борщом и горилкой

— Не собираешься. Ну да, конечно...

«Сорок восемь и двадцать пять», — подсчитал я; в эти минуты мне казалось, что я больше всего на свете хочу, чтобы она была рядом. Это я-то, распустивший по белу свету все, развеявший по ветру сущее и святое — лишь бы остаться одному, наслаждаться одиночеством. И вот — снова заводить отношения...

— Отношения, говоришь? — опять заставила она меня вздрогнуть. — Знаешь, я хочу, чтобы у меня были красивые отношения, а не как у всех. И если они не получаются таковыми, так пусть лучше вообще не будет отношений... Я, к сожалению, как черно-белое кино: либо все, либо ничего. А всеми другими *отношениями* я сыта по горло. И даже больше. И повтора не переживу. Впрочем, даже попробовать не стану...

Вечер уже, но в это время года разницы дневных и вечерних температур почти нет. Разве что запах резеды становится еще более насыщенным.

— Завтра лечу в Питер.

Вот так. Между прочим. И язык мой не поворачивается спросить — зачем?

— Зачем? — она расстегнула свою сумку и тут же закрыла вновь. — Понятия не имею.

Событие есть — и события нет. Во всяком случае, говорить не о чем.

— Хочешь, я пока поживу у тебя? — неожиданно предложила она.

— Пока?..

— Ну да, пока мы не надоедим друг другу.

— Нет, не хочу. Не хочу — чтобы *пока*.

Она рассмеялась, закрыв глаза. А мне так хотелось получить хотя бы один ответ на бесконечное множество вопросов. Завтра же спрошу у начальницы, решил я.

И спросил.

— Где она? — повторила мой вопрос светловолосая красавица, являвшая всем своим обликом женское совершенство, скользнув пренебрежительным взглядом по мне. — Понятия не имею.

«Стерва! Стерва! Стерва!» — рвалось из моей груди, но вместо этого я спросил как можно спокойнее:

— Вам муж не изменяет?

Последовала весьма странная реакция. Она вытянула перед собой тонкие пальцы с модно обработанными ногтями, внимательно посмотрела на них и сказала так же спокойно.

— Я вас не уволю, вы мне нравитесь. Разве что подкорректировать вас чуть-чуть. Но это — потом...

— Как бы там ни было, в ресторан я вас не приглашу, — совершенно обнаглел я.

— Ах, какой отгадчик! Именно это я только что собралась сделать — пригласить вас в ресторан. Для начала — пообедать.

— Для начала?

— Ну да, ужин у меня занят.

— И я, конечно же, подпрыгнул бы и побежал... до туалетной комнаты вас проводил, креслице придвинул, официанту щелкнул бы пальцами...

— Вот как здорово! И учить ничему не надо! — Она потянулась, как кошка со сна. — Вперед!



И я — боже правый, когда ты лишил меня разума! — пошел вслед за ней. На полшага позади, — такое расстояние, решил я, говорит о том, что идем мы вместе, но близких отношений между нами нет.

— Вы что, молвы боитесь? — опять отгадала она мои мысли. — Я чувствую себя подконвойной.

А ведь хороша, черт возьми! Все в этой синеглазой блондинке ладно — прическа (приклеенные волосы! — напомнил я себе), фигура без малейшего изъяна, костюм, край которого можно отнести и к деловому стилю, и к фасону для прогулок. Даже длина юбки и высота каблучков сочетаются, я убежден, благодаря тщательному подбору.

Станным образом мы оказались возле знакомой клумбы с резедой. Днем цветочный аромат не такой резкий, но все-таки не заметить его нельзя. Кстати, мою начальницу зовут Марией. На работе Сергеевной, а здесь... Уж и не знаю.

— Как повелите обращаться к вам? — спросил я с издевкой.

И только тут обратил внимание, что она стоит, прикрыв глаза, и ловит трепетными ноздрями запах резеды.

— Нулевой километр, — она кивнула на стоящий поодаль гранитный столб с этим самым обозначением. — Подойди, сделай шаг — и началась новая жизнь! Может, так и надо? Ведь все очень просто. Даже отмерено за тебя...

В ресторанчике под названием «Печки-лавочки» нам принесли борщ в глиняных горшках, к нему — плоски со смальцем, горчицей, хреном и горячие булочки.

— Украинская кухня. Не хватает горилки, — заметил я.

— Но-но, мы на работе!

— Совсем забыл, вам же еще надо дожить до ужина. А я, пожалуй, хлопну граммов сто.

В меню и вправду обнаружилась горилка, Бог знает, какого качества, но назывался напиток именно так.

Борщ оказался по-домашнему вкусным, я наслаждался едой, но это не мешало мне мучиться вопросом: чего же хочет эта женщина? Вспомнил фильм с похожим названием, попытался оживить в памяти некоторые из своих многочисленных попыток ответить на этот вопрос... Увы, ничего путного в голову не пришло.

Следующим номером ресторанной программы была сковорода с шипящей бараниной (сорт мяса она согласовала со мной) на деревянной подставке.

— А называть вы меня можете... Марией Сергеевной, — вам же прекрасно известно мое имя.

Вот как... Мария Сергеевна. Даже вне работы.

— Думаю, это никак не повлияет на наши отношения. Хотя я прекрасно понимаю, что моложе вас. И прилично.

Мне захотелось надерзить ей.

— Во всяком случае, в дочери вы мне не годитесь.

— Да, здесь у нее изрядное преимущество!

Я сразу понял, что речь идет о моей напарнице. Вот так! Получи!

С бараниной мне пришлось расправляться одному. Я ел и думал, что калорий теперь хватит на неделю, так сытно мне поесть редко удастся. Я нахваливал блюдо и что-то говорил ей насчет экономии места в ее желудке для предстоящего ужина, который, судя по всему, обещает быть судьбоносным. Я так и сказал — судьбоносным. И еще добавил, что, разумеется, он будет проходить не в этой забегаловке. Тут я перебрал, — ресторан, где мы сидели, называется простенько, но считается вполне приличным местом. И не дешевым.

— Официант! — позвал я. — Еще двести горилочки! Дюже гарна самогонка!



В сорок восемь забывают про любовь. В сорок восемь влюбляются, как в двадцать

Странное дело, почему-то в этот момент я абсолютно выпустил из головы мысль о состоянии моего кошелька.

Она потягивала брусничный морс, фирменный напиток заведения, и смотрела на меня. И не было в этих лазуритовых глазах той прозрачной глубины, в которой я недавно купался и тонул. Передо мной была стена, твердыня.

— А муж мне изменяет. Вас, кажется, не так давно интересовала эта тема. И знаете, почему он это делает? Да по той же причине, из-за чего изменяет своим женам половина из вашего племени. Это своего рода оборона, превентивная мера. Он убежден, что я изменяю ему, и вот — достойный ответ господина, властелина, хозяина...

— А на самом деле...

— Только собираюсь. Но соберусь непременно, можете не сомневаться.

Ну какая после всего этого работа... Я простился с ней у входа в ресторан и, сделав круг по площади, вернулся к нулевому километру. Надо же, здесь проходят тысячи людей, у которых нулевая отметка находится где угодно, только не на этой площади. Моя, например, в одноэтажном сером бараче, общаге для вчерашних зеков, и случилась она в тот час и миг, когда только что вернувшийся из лагеря сосед Кривун зарезал другую нашу соседку — тихую Петуню. От любви. Чтобы, говорит, никому больше не досталась, а его, Кривуна, жизнь все равно пропащая. Загубил одного, загубил двоих, троих, а потом — какая разница... Я смотрел на каменный столб с отметиной, и дурной голос блажил в глубоком моем нутре: «Начни сначала!»

Итак, мне сорок восемь лет. Я работаю в фирме, которая никакого значения для экономики и в целом для жизни нашего замечательного отечества не имеет. Поначалу я, признаться, думал, что наши предприятия выпускают презервативы. Не успел я отработать неделю — заявляется дама прискорбного возраста и начинает меня укорять за отвратительное качество нашей продукции. В конторе никого, а из сумки у дамочки торчит несколько упаковок с презервативами. Я, конечно, растерялся, но решил проявить инициативу, заявив, что мы заменим весь приобретенный ею товар на доброкачественный. При этом я указал на ее полураскрытую сумочку. Я, к сожалению, не отгадал — и тут началось!.. Не знаю, запомнит ли посетительница меня, но я ее помнить буду долго...

Про любовь я забыл, когда расстался со своей женой и вслед за тем со спокойной легкостью начал сходить до крайней близости с любой более-менее привлекательной женщиной. Потом это никчемное занятие мне приелось, после чего опять возымело некоторое значение для моей пустующей жизни. Но вскоре я стал замечать, что далеко не с каждой могу сойтись, чтобы иметь эту самую близость. И тогда я стал задумываться, что дело не только в привлекательности. И понял, что, скорее всего, сначала мне надо влюбиться, а уж потом затевать плотские отношения...

И вот я влюбился. Но, конечно, в той жаркой парной и ледяном бассейне у меня и мысли об этом не было, все началось потом, когда она уехала. Сначала совсем немного. А когда она уехала в следующий раз, это чувство во мне многократно разрослось, и я начал тосковать.

Был разгар лета. Все цвело и зеленело, больше всего хотелось на реку и в горы, меньше всего — на работу. Она явилась в полупрозрачной блузе из белоснежной жатой марлевки и желтых бриджах под цвет сандалий. Я прекрасно знал, что она вернулась всего лишь из Питера, и все-таки меня не покидало ощущение, будто она побывала где-то за далекими морями. Когда начальница отвлеклась, она поцеловала меня в висок, и я неожиданно для самого себя выдохнул:

— Аленький цветочек...

После работы мы опять пришли к нашей клумбе.



— А зачем ты сказал про Аленький цветочек?

— А зачем ты притворяешься, что не знаешь?..

— Ты хочешь сказать, что поцелуй — это был желанный подарок из-за трех морей, из тридевятого царства и тридесятого государства?

— Что-то в этом роде, только я не помню, сколько в той сказке было морей и государств.

Мы купили свежих булочек, сыра с плесенью и полдюжины бутылок пива. Я не сразу поверил, что ей тоже нравится этот подозрительный сыр.

— Знаешь, вообще-то этот сыр рекомендуется есть с орехами и виноградом, — просветила она меня. — Ты должен еще попробовать французский рокфор, итальянскую горгонзолу и английский стилтон. Это что-то!

Мягко говоря, я был ошарашен.

— А ты что, все это уже пробовала? Я в наших магазинах ничего подобного не встречал.

— В наших — да, — уклонилась она от прямого ответа.

Придя домой, мы сняли с себя все, поскольку даже самая мануфактурная малость прилипла к телу, пытаюсь его расплавить. Пиво было недостаточно холодным, сыр тоже не мешало бы подержать в холодильнике, а булочки... да что может случиться с булочками. И мы обняли друг друга, несмотря на жару, несмотря на жажду, ибо другая жажда была попросту невыносима...

— Я больше не смогу так подолгу тебя ждать, обходиться без тебя, слышишь?..

— Слышу, милый, но я думаю, только там, за тремя морями, можно понять и почувствовать, что же происходит здесь. Со мной, с тобой, с нами...

С этими словами она откатилась на другой край постели и раскинула руки, точно уставший странник, встречающий долгожданный рассвет. И показалась настолько чужой и далекой, что у меня даже дыхание сбилось.

А потом мы остужали себя холодным (остывшим за время наших объятий) пивом, и это было божественно — немецкий сыр с плесенью, а вместо винограда и орехов — пиво и булочки.

— Ты знаешь, — сказала она, — вот мы вроде бы употребляем калорийную пищу, а я все больше и больше хочу есть. Странно, да?

— Глупая! Это же так просто — это называется любовным голодом!..

Бывший человек хочет возобновить свою бывшую жизнь и вспоминает бывшую любовь на родине предков

— У-у, а это, — она провела рукой по моей груди, — любовный пот.

— А это, — я резко перевернулся на живот, — любовное ложе. А над нами — любовный свод, там — любовное окно, за стенкой любовный душ... И... У меня замечательная идея! Давай наберем номер какого-нибудь кафе или ресторана и закажем пиццу. И нам принесут ее прямо сюда, в нашу любовную квартирку, и пицца будет любовной пищей...

— Которая не даст нам умереть от любовного голода! Ты хорошо придумал, только это ужасно дорого, у нас не хватит денег.

— Чертовы деньги! — опять я выпустил это обстоятельство из виду. — Ладно, поступим иначе. Я быстро сгоняю в магазин, куплю сосисок и еще булочек. Будем их есть и думать, что это наша любовная пища. А пиво — это божественный нектар, доставленный нам прямо из садов Семирамиды.

Я так и сделал, но, вернувшись, застал ее одетой, готовой к уходу.

— Вот как?

Можно легко представить мою физиономию в эту минуту.

Она рассмеялась.

— Я ухожу ненадолго, а до конца наших дней еще целая вечность.



Лучше бы она этого не говорила! Лучше бы не приходила сегодня! Лучше бы не возвращалась из Питера! Лучше бы ее вообще не было! Я не находил себе места в смятении, я пытался остановить себя: остынь, стань прежним... Но ничего не получилось, я даже к зеркалу подошел — я ли это?! «Исчезли юные забавы...» — издали прилетела строчка. А следом — вихрь в голове: уволюсь, уйду, исчезну, уберусь куда подальше! Зачем мне эти испытания, эта унижительная должность и столь же унижительная зарплата, эта красивая начальница, эта — *эта!*.. Я же не пропащий, я многое могу, я был человеком уже в восемнадцать...

«Но сейчас тебе сорок восемь, — подсказал я сам себе, — и никому твой диплом, твои знания и умения не нужны. Ты жалкий регистратор, ты даже толком не знаешь, как твоя должность называется...»

Я включил компьютер, пошарил по социальным сетям и наткнулся на одной из страниц на предложение: «Доставка обедов на дом предлагает дружить». Думаю, если бы дружба и состоялась — на цену заказа это вряд ли повлияло бы. Впрочем, разговор запоздалый.

Тем временем маленькие шустрые испанцы победили здоровенных медлительных голландцев. Вот и завершился чемпионат мира по футболу. Жалко принцессу Беатрикс, она верила в победу своих... Привет, Беатрикс, не грусти!

Новый день начался как обычно. Я написал ей в ICQ: «Как спалось?» В ответ она прислала рожицу с алым отпечатком губ на щеке — поцелуй.

На обед мы с ней не ходим. Я привык вообще не обедать, она приносит в пластиковом контейнере какую-нибудь готовую еду и разогревает ее в микроволновке, в задней комнате, напоминающей чулан.

— Будешь? — обычный вопрос.

— Нет, — всегда отвечаю я.

Начальница каждый день уезжает на обед. Но сегодня что-то произошло, она никуда не поехала, вообще не тронулась с места. В общем, я едва дотерпел до конца рабочего дня.

— Пойдем, поужинаем где-нибудь?

— Сегодня не могу, — сказала она куда-то в стол.

Я едва удержался от расспросов.

— Давай хоть провожу немного.

Мы вышли на крыльцо, перегретое дневной жарой.

— Кстати, ты ничего не рассказала про Питер. Что там, как?..

— Питер... — она задумалась на минуту. — Я бы никогда не стала жить в Питере. Город-памятник... Чувствуешь себя в нем, в центре особенно, как школьник на экскурсии. Идешь — и кажется, что сейчас увидишь на доме табличку «руками не трогать»

— Странно! У меня от Питера были совсем другие ощущения. Правда, это случилось давно...

Она будто и не слышала меня.

— Интересно другое — присутствие всех времен... А еще — из Питера трудно возвращаться, и это при том, что я уже сказала: никогда не стала бы там жить. Не знаю, в чем дело, но я думала о тебе, и ты казался таким же нереальным, как встреча где-нибудь на Фонтанке с Пушкиным. А в другие дни я чувствовала тебя даже ближе, чем здесь, хотя должно бы быть иначе. Я несколько раз видела тебя во сне, смутно, правда, помню их... вроде бы я прикасалась к тебе — непонятному, запредельному и демоническому... И приставала с вопросами — какой ты на самом деле?

Смотрю на нее и думаю: тот же самый вопрос я уже много раз мысленно задавал ей. И это было не во сне.

— А где ты живешь? До сих пор ведь не знаю.

— Там, — она махнула рукой в направлении спальных кварталов. — С мамой.

Та-ак... Тема развития не получила. А с языка готово было сорваться глупейшее из глупого — про знакомство с мамой.

— А у меня с Питером связано многое, — решил я вернуться к началу разговора, — и неудивительно, что я там являлся тебе в неких представлениях. На улице Рубинштейна жила моя матушка, там же родилась моя сестра 5 октября 1941 года. Нетрудно представить, что постигло нашу семью: блокада, голод, цинга, дистрофия, Барнаул... Так что я, хотя и родился в городе Б., корнями все из того же Питера. Страстно влюбился в начале 80-х в питерскую женщину. Она была замужем, я — женат, и связь наша — греховна... Я срывался из любого конца страны и мчался к ней в Питер, и так продолжалось два года. Мой лучший друг Георгий Алексеев, в чью честь я назвал сына, живет в Питере, художник. Я приезжаю к нему, когда могу. Свой медовый месяц с последней женой я провел в Питере, рванув на самолет прямо из загса. Там и чудеса случались. Идем с молодой женой возле Исаакиевского — навстречу моя родная сестра, которая жила тогда в Рязани. Оказывается, ей, как блокаднице, дали экскурсионную путевку в Питер. У них в автобусе была куча свободных мест, и мы попали на такие экскурсии, куда бы в жизнь не собрались. Вот так, дорогая моя, ничего случайного в мире нет. Как я вообще не свел там тебя с ума своим присутствием?

— А она, та, из Питера, где сейчас? И почему ты не остался с ней?

— Я хотел развестись и жениться на ней, я настаивал, даже требовал, но она сказала, что не может предать мужа. Да, он не смог бросить весь мир к ее ногам, да, она готова в любой час сорваться и лететь ко мне хоть за тридевять земель, но бросить его она не в силах... Где она сейчас? Была в Америке, в Сан-Франциско. Новый муж (заметь, все-таки новый!), американец, увез ее туда и вскоре скончался. Вроде бы там наследство приличное... Сейчас, по-моему, она снова в Питере.

Я не стал продолжать, иначе пришлось бы рассказывать, что я однажды взял и набрал старый телефон моей питерской возлюбленной. И — о, чудо! — ответила мне она сама...

Всему свое время, путешествию с котомкой — тоже. И опять — похожие друг на друга женщины

Ответила после двух десятков лет, после того страшного разрыва, когда я настаивал на браке, а она говорила, что муж не виноват в том, что не смог заполнить собой весь мир... Это для нее сделал я, — но не ценой же предательства наслаждаться миром.

Хрипловатый голос курящей женщины отозвался в телефоне:

— Это ты?

Потом мы говорили и говорили. Будто не было всего между *тогда* и *сегодня*. А может, и не было?.. Вот и адрес прежний, и телефон, только голос изменился. Мне запомнились ее слова о желании странствовать по миру всего лишь с котомкой. Мне не хватило этой ночи, этого бесконечного разговора, и я послал ей письмо по электронной почте:

«Давно так не разговаривал с тобой. Хотя разговаривал постоянно, годами. Сколько их прошло! Все перед глазами, все близко — потрогать можно. Это аксиома — мы знаем себя только молодыми, мы никогда не признаемся в собственной старости. Да и не случится она, я-то знаю, как человек, проживающий одиннадцатую жизнь. Как не отбивайся — ты в моих объятиях, сильная, смелая, противостоящая и... сдающаяся. Нельзя прекрасное выбрасывать из жизни, это безнравственно, это бесчеловечно. Мы уйдем паломниками — в Индию ли, в Афон... или на плато Укок, — нас никому не догнать. С котомкой, говоришь? Пусть будет с котомкой».

И все. Ответ затерялся в космосе. Ответа попросту не последовало. День, другой, месяц... Тогда я написал:



«Неужели напугал? Поспешу заверить: все мои движения сегодня совершаются, как нынче говорят, *виртуально*. Иными словами, я дерзновен, не сходя с дивана. Понимаю, дальше должно последовать разочарование — закон жанра. Впрочем, ерунда это все. Ох, какая же ерунда!»

И опять нет ответа. Я позвонил.

— Наверно, первое письмо озадачило тебя?

— Ты знаешь, мне кажется, в этом случае ты выразился точно — озадачило.

И больше не было ничего — ни писем, ни звонков.

Остаток дня я ходил по городу, отсчитывая автобусные остановки, пытаюсь измотать себя ходьбой. И вдруг я подумал о том, что они очень похожи, моя питерская подруга и *она!*

Почему-то раньше мне это не приходило в голову, а ведь сходство просто удивительное: фигура, волосы, скулы, глаза... Впрочем, разрез глаз одинаков, а радужка у той, далекой, под цвет питерского серого неба, ненастье в глазах. Слово зацепило — *далекой*... А она разве близкая? И кто же из них дальше?..

Я пришел домой, когда начало темнеть. Квартирка моя в этот вечер показалась мне как-то по-особенному неудобной. Из угла в угол, из угла в угол — я не знал, куда себя девать. Мечась по комнате в полумраке, я чувствовал, как у меня закипают мозги, и ничего не мог придумать, чтобы успокоиться. Бухнулся на колени перед образами, выставленными на книжной полке.

— Господи! Ты помог мне, дав возможность снова почувствовать свое сердце, найти его живым, ты позволил мне полюбить. Помоги теперь, прошу тебя, сохранить обретенное, не спугнуть, не растратить, удержать ее, птицу неведомую!

Поднявшись с колен, я приблизился к образам и с изумлением обнаружил, что все они повернуты ликами к стене. Кому это понадобилось, для чего?.. В последние месяцы здесь вообще никого не было. Неужели она? Нет, чушь какая-то... Я расставил иконы, как было раньше, задержал в руках маленький образок своего ангела хранителя — мученика Анатолия.

— Поминай меня в благоприятных твоих молитвах пред Христом... Да защитит Он нас от искушений, болезней и скорбей. Да дарует Он нам смирение, любовь и кротость... Смирение, любовь и кротость!

Анатолий с иконки смотрит одновременно на меня и куда-то дальше, словно сквозь прозрачное тело... Эту иконку привезла мне дочь из Иерусалима, когда ей только что исполнилось десять лет, и их возили в Израиль с концертами. Она всем привезла их покровителей — и брату, и маме, и мне. Рядом с моим маленьким киотом портрет дочери с обезьянкой на руках. Обезьянка живая, я помню, как мы собирали деньги, чтобы привезли ее в садик, а потом все ребятишки фотографировались с ней по очереди. Дочери здесь пять лет, и она совсем не похожа на свою мать. Сходство появилось гораздо позднее, ближе к окончанию школы, и с тех пор никуда не девалось, только усиливалось. У меня защемило сердце: скучать по своим близким и родным я научился совсем недавно. Это произошло как-то незаметно, — так же, как подкрадывается старость. Всех раскидало по белу свету, ко всем дороги лежат через тысячи километров, даже вечные поселения тех, кто ушел навсегда, слишком далеки от меня. И сердце не то просится к ним, не то зовет: придите, хотя бы загляните на огонек!

Несколько дней повторялось одно и то же: день на работе, вечер — в пустой квартире. Без нее. А потом она уехала в Москву. А потом — приехала. Вечером она не давала мне рта раскрыть, рассказывала всякие истории. Как она, к примеру, встретила там свою подругу, и они пошли в салон делать прически. (Я еще подумал: какая ей прическа — гладкие длинные волосы, расчесанные на ровный пробор. И откуда у нее подруга в Москве?)

— Салон в Китай-городе, на Солянке, — говорила она с каким-то новым возбуждением. — А тут пошел дождь. Наши прически вымокнуть не должны, рассуди-



ли мы, и решили переждать дождь в ближайшем кафе. Я вспомнила, что рядом, за углом, знаменитая «Экспедиция», где мы иногда бываем с Иван Егорычем (они с директором ресторана — партнеры по бизнесу), но цены там заоблачные, нам не по карману... Но Любка захотела именно в «Экспедицию», чисто по-русски выдав: «Гуляем, я получила отпускные!» Блюда там готовятся из самых натуральных сибирских продуктов: лось, медведь, барашки, муксуны-нерпы... И тут Наташа, наша официантка, делает глаза по блюдцу и шепчет, что к ним едут президент с премьером! Не могли предупредить заранее. Зал почти полон, оставалось только два столика, вот они за крайний и сели. Заказали строганину, пиво... Ничего особенного, как все... И тут приходит пара. Она... такая, знаешь, блондинка, с во-о-от таким декольте, туда такие вообще не ходят. Но ее кавалер, видно, из богатых. Официантка подала им меню, сидят, выбирают... И тут она что-то стала спрашивать у своего бойфренда, подняла глаза... А как раз за спиной бойфренда сидит президент. Как его увидела, так и окаменела! Глаза у нее сделались такими... невероятно круглыми, и она замерла. Я, конечно, точно сказать не могу, но мне показалось, что она не ела и говорить не могла, так окаменела и сидела... Мы с Любкой прям обхохотались! А тут еще один из посетителей сбежал в магазин внизу (у «Экспедиции») собственная сеть магазинов, баня, бар, кафе), притащил шкуру тигра или леопарда — и подарил президенту, за автограф. И мы с Любкой, конечно, пошли в магазин... Нет, это не магазин, это целый музей! Чего и кого там только нет! Основное — всякие меха, ковер из песка, соболиные шапки, шубы, муфты, бивни мамонта... В общем, навалом всякой всячины. Мы там сделали фотосессию и ушли довольными.

— И это все, зачем ты ездила? — не нашел ничего лучшего спросить я. — И кто такой Иван Егорыч?..

Хороший аппетит, мечты о Черногории и месте, где все еще живут умные и чуткие

— Иван Егорыч — старинный знакомый; он старше меня, по-моему, на полвека. И вообще, это все из другой жизни.

— Интересно, сколько у тебя этих других жизней? — я заранее знал, что не получу ответа, и тут же поинтересовался: — И куда ж мы теперь с тобой пойдем, после «Экспедиции»?

— А давай пойдем в блинную, страшно захотелось блинов.

Заведение, куда мы пришли, называлось «Блин-картошка», там, помимо блинов с различной начинкой, давали печеные картофелины, которые тоже начиняли мясом с овощами, тертым сыром и грибами. Она заказала себе картошку с овощами и блин с мясом, я взял два блина с начинкой, называемой «деревенской».

— Пиво?

— Пиво.

Мне вспомнился тот вечер, когда тоже было пиво, а на закуску — сыр с плесенью. Тогда все было иначе — и вкус пива, и запахи вечера.

За молчаливой трапезой в какой-то момент мы показались мне парой давних сослуживцев, надоевших друг другу на работе и по чистой случайности оказавшихся за одним обеденным столом. Я посмотрел через ее плечо за окно и увидел (как разглядел — не пойму) ускользящее лето. На дворе был август — месяц, который у нас в Сибири всегда несет в себе прощальные мотивы. Мне стало грустно и страшно одновременно. «Заговори же!» — мысленно просил я ее, почему-то не думая о том, что мне ничего не стоило заговорить первым.

— Знаешь, я бы съела еще блин, — это были ее первые слова после затянувшегося молчания.

«Ничего себе, аппетит!» — подумал я, направляясь к стойке заказов.

— Кстати, — молвила она, сосредоточенно разделявая блин, — в издательство «Олма-пресс» требуется — уже целый месяц ищут — главный редактор. Де-

фицит кандидатов! Мне кажется, ты бы смог. Хочешь в «Олма» работать? Москва, зарплата...

— И ты составишь мне протекцию? — усмехнулся я, удивляясь в очередной раз: откуда она все это знает...

— Ну-у... — она сделала движение рукой, и это могло означать что угодно. — Ты прости меня, я же любя. Ладно, не буду больше будоражить твою жизнь, ты сам все в ней решишь.

Наверное...

Когда с блинами было покончено, она сказала:

— Хочу к резеде. Ты ведь понимаешь, о чем я?

Я прекрасно понимал, только немного удивился, что она тоже запомнила цветы, их одуряющий запах и то место.

Там ничего не изменилось, прощальные мотивы уходящего лета пока еще не добрались туда. Вот уж не знал, что резеда так долго не вынет.

— Я хочу, чтобы мы поехали куда-нибудь вместе.

От неожиданности я потерял почву под ногами: честное слово, я шагнул — и моя нога будто опустилась в пустоту.

— Ты же всегда едешь одна... Ну и не поеду же я за твой счет, а своих у меня... сама знаешь.

Господи, каким же занудой я сам себе казался!

— А куда, к примеру?

— К примеру... С тобой я бы поехала в Черногорию. Съездить — и успокоиться уже. А то эти страсти-мордасти крутят-вертят, покоя не дают... — она будто бы разговаривала сама с собой.

И тут... словно прорвало плотину, — она нежно прильнула ко мне и горячо заговорила:

— Меня иной раз просто тоска душит... Не хуже той старухи, живущей у самого синего моря: хочу видеть тебя — и все, башку сносит. Кое-как успокаиваю себя, что тебе не место здесь, в этой конторе, ты замечательный, умный, талантливый, ты, может, сам не знаешь, какой ты, и я вполне допускаю, что ты человек, место которого — в другом измерении... Там, где живут умные, с еще не умершими душами. Наверно, это какой-то другой город должен быть. Или та же Черногория, где люди живут спокойно, размеренно, не гонятся за несбыточным. А может, все-таки не в городе дело... забери тебя отсюда — и что ты будешь делать без своей Оби, Катуня, чемальских сосен? Понимаю, ты видишь себя в этом зеркале. Но это не твое зеркало! И жизнь твоя совсем иная, хоть и чем-то похожа...

Внезапно она остановилась, будто споткнулась, схватила меня за руку и потащила за собой.

— Пойдем скорее к тебе, я больше не могу терпеть! Во мне что-то такое, переревшее... мне кажется, еще чуть-чуть — и я взорвусь!

Мы не дошли — долетели до моей квартирки. Перед глазами у меня плыл какой-то желто-красный туман, и я совсем не помню, как она стаскивала с себя блузку, еще не переступив порог. Это действительно трудно — вспомнить тот вечер в деталях, потому что сознание отключилось, и мы на какое-то время превратились в дикарей, мы перестали быть людьми: смесь ярости, страсти и чего-то темного и неопишимо прекрасного, все это билось в нас и вырывалось наружу. Осталось ощущение небывалого — когда нежность переходит все мыслимые и немыслимые границы и становится похожей на убийство...

Первое, что она спросила, едва мы пришли в себя:

— Разве ты не убил меня, любимый?

— Не спрашивай, я сам еще не слишком живой.

— Разве можно так набрасываться на людей?



— На людей — нельзя. А ты... И когда ты успела всему этому научиться?

— Сегодня. Только сегодня. Но еще раньше я знала: все, что делается под знаком любви, не может быть порочным, стыдным. А еще... Поскольку тебе не удалось убить меня на нашем преступном ложе, ты выбрал другое — уморить меня голодом. В холодильник можно не заглядывать, так ведь?..

Разумеется, в холодильнике у меня было пусто. Да, аппетит у моей девушки отменный. Однако меня неприятно задело это первое желание, пробудившееся в ней после нашей любовной схватки. Кстати, который теперь час?.. Нормальные магазины закрыты, остался один суточный, который большинство покупателей обходят стороной: продукты там частенько оказываются просроченными. Но я все же отправился в ночной поход и добыл — о, чудо! — пиво и сыр с плесенью.

В очередной раз она исчезла, ничего не сказав мне накануне. А через пару дней позвонила на мобильник:

— Привет! Я в Париже. На Монмартре фиалки. Говорят, они здесь цветут почти круглый год. Даже в декабре! Знаешь, такие, как у нас на подоконниках растут. В лесу совсем другие... Тут еще совсем рано, а в кафешках полно народу. А народ — это тетки, нечесаные, невымытые, прямо со сна. И все трещат, не умолкая, как сороки. Кофе, круассаны... Я в книжке, помню, читала про все это. Только про невымытых и нечесаных там не пишут. А на улице полно негров, черные такие, прямо синевой отливают...

— Ты что там делаешь? — не удержался я, заранее зная, что ответа не получу...

Утекающее время и уходящее уличное счастье. А еще — спасительная бутылка пива

— В данный момент стою на площади Этуаль. Жуткий туман, в котором Триумфальная арка кажется безногим и безголовым каменным чудищем. Она плывет в непонятном пространстве, — такое впечатление, что вскоре накатит на тебя. Я вспомнила Ремарка, его замечательный роман про эту самую арку, где герой, едва познакомившись со своей возлюбленной, увидел в ней до странности близкое существо, а ведь она была ему чужой. Впрочем, и он чувствовал себя везде чужим, это странным образом их сближало... А еще я помню из того же романа, что жизнь — нечто большее, чем свод сентиментальных заповедей. Один знакомый того самого героя, узнав о смерти жены, провел ночь в публичном доме. Проститутки спасли его, а с попами ему было бы худо... Все, пока! Я тебя целую и люблю, не забывай об этом!

На следующий день я пришел на работу полный решимости задать пару вопросов начальнице, вышел в почту и обнаружил послание от нее: «Меня не будет несколько дней. Справляйтесь без меня».

Очень интересно! И с чем это я должен справляться? Обязанностей начальницы я толком не знаю... да и знать не хочу. Со своими без подсказок разберусь. Из-под меня будто выбили стул: я ведь собирался задать вопросы, запасных вариантов не было.

Ее стол был первозданно чист.

У меня появилось ощущение, которое я испытал в день, когда исполнился ровно месяц после моего сорокапятилетия: время идет, месяц прошел — и что с того? «Надо что-то предпринять! Надо что-то сделать!» — вертелось у меня в голове, и не находилось ни одного предложения по поводу этого «что-то».

У нас в городе еще осталось несколько летних кафе, где за скромные деньги можно выпить и закусить. Правда, все закуски упакованы в разовую посуду и обтянуты пленкой. Понятное дело, их готовили где-то далеко и не сегодня, зато ты сидишь безо всяких соглядатаев, называемых красиво — метрдотель, менеджер по обслуживанию, официант. Никто не заглядывает к тебе в тарелку и не ждет, что ты вот-вот



удерешь, не рассчитавшись. Взял у буфетчицы, что тебе заугодилось, — и ты полный хозяин своего угла и нехитрой снеди. Другой плюс — цены. Это, пожалуй, самое важное для меня. Они почти не отличаются от магазинных. Ну, скажем, бутылка вина с романтическим названием «Изабелла» стоит на десять процентов дороже, чем в магазине. Всего-то! Да кто ж из неустанно заботящихся о моем благе с этим смирится! Ни за что!.. Но есть на этих маленьких островках всенародной привязанности еще одна неповторимая деталь, которую я не побоюсь назвать наслаждением: мимо тебя ходят люди. Не снуют между столиками, а просто идут по своим делам, не имеющим никакого отношения ни к тебе, ни к этому кафе. Они, может, даже и не замечают его, притаившегося в нише между домами. И я могу их не замечать, этих торопливых прохожих. А могу, напротив, выцеливать красивых девушек и, провожая взглядом, долго смотреть им вслед. Могу на скорую руку набросать психологический портрет медленно бредущего человека с пустым взором. Могу придумать историю весело болтающей о чем-то пары. Могу сочинить целый роман о жизни человека, горделиво поглядывающего поверх окружения. На нем выношенный китайский плащ, явно опережающий сезон, в руках у него старый кожаный портфель, в каких носит бумаги вымирающее племя ученых и педсостава. И только своей истории я никак не могу придумать...

Я на старости лет сошел с ума. Да, я пользуюсь взаимностью... по ее словам. И нам действительно хорошо вместе. Ну что мне еще надо?..

Третья бутылка «Изабеллы». В общем-то, это дрянное вино, изготовленное из отжимков бывшей нормальной продукции. Специалисты придумали подобным напиткам оригинальное название — «спиртосодержащий продукт». Судя по всему, содержание спирта в моей «Изабелле» достаточное, я уже подхожу к той блаженной черте, когда сидишь, улыбаешься... и никакими силами твоей физиономии не придать серьезности. Все проплывает мимо меня — люди, автомобили, листья, поднятые ветром. Напротив меня привалился к парапету молодой человек в ярком световозвратном жилете, на котором крупно выведено: «Золото»; в руках у него пачка рекламных проспектов. Подзываю его жестом.

— А почему ты не предлагаешь свой товар мне?..

Тот подошел и, пожав плечами, сунул мне разноцветную бумажку, сказав только:

— Вы все равно не купите своей даме бриллианты...

Я долго сижу, раздумывая, брать четвертую бутылку или нет. Вряд ли осилю. А в голове все крутится и крутится фраза: «Вы все равно не купите...» Какое чудесное кафе. Как мало денег я потратил на то, чтобы нарезать вдрызг... Какая сволочная жизнь, когда сопляк заранее решил за тебя, что ты никогда не купишь... Да я куплю ей остров в Карибском архипелаге!

— Эй! — закричал я ему вслед, вскочив из-за столика и опрокинув стул. — Стой! Ты что-то знаешь, чего не знаю я, да?!..

Слава богу, у меня хватило остатков разума, чтобы понять: я не только не доберусь до разносчика, я не смогу двинуться с места.

— Можно вас?.. — позвал я мальчика, убирающего грязную посуду. — Вы не могли бы вызвать мне такси?

Все в тот вечер закончилось благополучно. Во всяком случае, после мальчика с грязными тарелками я уже ничего не помнил, очнувшись у себя в ночлежке. Я лежал на спине, не в силах повернуть голову и даже повести по сторонам глазами. Мне было плохо, однако в эту минуту я любил портрет Фицджеральда, засиженный далекими от творчества мухами, стеклянную половинку дверцы побитого книжного шкафа, соединенного от тесноты с посудной горкой... Я был без ума от вечно включенного уюга на табурете, моего спасителя, потому что он, забытый торопливым хозяином, сгорел сам. Я боготворил грязное пятно на потолке, оставшееся после неудачной охоты на комара... Все прекрасно, все на месте сегодня, этот мир меня не



предал. Но для полного и окончательного счастья мне не хватало самой ничтожной малости — бутылки пива. Превозмогая боль и ужас, вызванный перемещением в пространстве, я дополз до холодильника. И что же?.. Она там была! Одна в этом страшном белом безмолвии. Первая дурацкая реакция — мне стало обидно за нее: это кто же тебя, милая, оставил здесь на съеденье пустоте или на разор случайного упыря?.. Но я спасен!..

Вот дьявол! Когда же я перестану вздрагивать от неожиданности, едва увидев начальницу! Иногда я почти уверен, что становлюсь свидетелем какого-то немислимого превращения, происходящего в тот самый момент, когда я распахиваю двери. Только что, мгновение назад, за этим столом сидела *она* — и вот уже передо мной совсем другой человек. Впрочем, я говорил уже, что они похожи, только цвет глаз, волос, кожи — это все другое. Возможно, постаравшись, я обнаружил бы еще какие-то детали, но сама мысль об их похожести возмущала меня.

— Итак, — начал я, будто наш разговор был прерван совсем недавно. — Где же наша сотрудница? Или я, согласно вашему идиотскому внутреннему уставу, не вправе знать это?..

Игра продолжается. Правила по-прежнему неизвестны. И кто-то теряет рассудок

Я ожидал чего угодно — взрыва негодования, презрительного «пшел», пустого взгляда... Но начальница лишь улыбнулась (*ее* улыбкой!) и сладко потянулась:

— После работы, дорогой... Хорошо?

И, подхватив со стола несколько папок, стремительно вышла.

Вот тут я точно понял, что схожу с ума. «Дорогой!» Я сошел с ума, но не оглох, это точно. Дорогой... Какая, к черту, работа!

И вот очередной звонок.

— Дорогой! Ты не удивляйся, так получилось... я в Америке. Думала, меня будут возить по всяким вашингтонам и нью-йоркам, а попадают какие-то тихие места. Американцы такие потешные, улыбаются все время и говорят, что у них нет гипертонии. У нас же от нее помирает каждый третий! А все потому что у них почти нет проблем или они не принимают их близко к сердцу... Мы сейчас в местечке, называемом Уэллсли. Здесь знаменитый колледж, в котором — представляешь! — преподавал сам Набоков. Тут неподалеку полянки, на которых он ловил своих бабочек. Он занимался лепидоптерой, вернее, отрядом чешуекрылых, и знал о них все — эволюцию, ареалы, таксономию, морфологию... Набоков говорил о бабочке, наколотой на булавку, что она переживет свой прах. Помнишь, Пушкин о своих стихах: «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит...» А Набоков — о бабочке. И он же ограничивает срок стихов, которым, как он считает, нужна тысяча лет, чтобы умереть. Какая-то тысяча, господи!.. Алло! Ты меня слышишь?

— Я тебя не слышу. Я даже видеть тебя перестал... Ты какая?..

— Здесь жуткая жара — мозги слипаются, ходишь все время в мокрой футболке, ужасно хочется пить. Ты не скучай, дорогой! Я скоро приеду и привезу тебе одну замечательную штучку. Пока, пока! Целую!

«Надо все это заканчивать!» — твержу себе с самого утра и не знаю, с чего начать. Выбросить из головы — это, разумеется, первое. Уволиться, чтобы не видеть ее никогда. Уволиться, да... Можно ли излечиться от любви?.. Есть ли жизнь на Марсе?..

Начальница сидит на своем месте, направив взгляд куда-то мимо монитора.

— Меня не покидает ощущение, что все это ваши проделки.

— Я тоже обычно при первой встрече утром здороваюсь, — молвит она, счастливо улыбаясь.

«Я бы убил тебя при первой же возможности!» — думаю я, невольно делая шаг в ее сторону.

— Какого черта вы гоняете ее по белу свету? Что это за командировки, что за вояжи? Вы это назовете производственной необходимостью? А нельзя ли мне, мелкому клерку вашей унылой конторы, поинтересоваться, в чем эта самая необходимость заключается? Будьте так любезны, откройтесь!..

Неожиданно она поднялась, подхватила свою изящную сумку из бежевой замши и, взмахнув ей, как бы прощаясь, обронила на ходу:

— Некогда... дела, понимаете ли. Вечером... Хорошо? Всё вечером. Надеюсь, у вас хватит терпения дожидаться?

Видимо, терпение дожидаться — это то, что придется мне отныне вырабатывать в себе неустанно. Я включил монитор, нашел ее фотографию — хоть с картинкой поговорю.

— И вот скажи мне, отчего шлюхи всего мира, заряжая свои фотки на Topfaic, обязательно помещают себя на острова, в дорогие машины, экзотические отели? Потому что знают, что сами по себе ничего не стоят? Ты чего делаешь там, в своих парижках и венах? Я был там в свое время... Открытки на память — и ничего больше.

— Ты же не хочешь меня обидеть, правда? Не знаю, мне кажется, я повзрослела уже давно, задолго до тебя. Может, это покажется смешным, но иногда я чувствую себя даже слишком взрослой. Не знаю, что тебе сказать... Вот не знаю — и все! Хочется, чтобы все определилось вдруг... как в сказке. Люблю тебя, — а о последствиях пока не думала. Мне хочется с тобой разговаривать, разговаривать... и не только разговаривать. А то нас иногда заносит в разговорах. Мне кажется, у меня включается какая-то защита... и происходит это произвольно. А ты... ты вообще уникальный случай — я часто поражаюсь молниеносности твоих реакций на слово, на интонацию. И я боюсь твоей непредсказуемости, хотя мне и хорошо рядом с тобой. А еще я эгоистка, к тому же упрямая. Поэтому без вины виноватой я вряд ли могу стать. И ты же прекрасно понимаешь, что особое отношение между двумя аномальными влюбленными может существовать до тех пор, пока существует между ними эфемерная субстанция, непонятно откуда возникающая и непонятно куда уходящая, эта самая любовь. Захочется ли ей оставаться с нами? С тобой — ленивым и самовлюбленным... и мной — упрямой и ветреной.

— Знаешь, мне кажется, что происходящее с нами сейчас — уже было. Не здесь, где-то в другом месте. Что это? Память прошлых жизней? Почему-то я не могу с тобой сдерживать себя, безосновательно злюсь, когда ты исчезаешь. Я верю и не верю тебе, меня пугает лавина моих чувств, я могу не устоять, меня пронзит или сметет вечной болью, если я не приму противоядие. Я понимаю и не понимаю тебя, я уже не понимаю себя...

— Перевернула календарь на несколько недель назад и обнаружила, что мы прозевали замечательный праздник — день поцелуев. Не помню уж теперь, поцеловалась ли я хоть с кем в тот день... Решила тебя поцеловать, задним числом. Несмотря на твое необыкновенное упрямство, неординарность и извращенный талант всех шокировать. А еще — ребячество и умение вредить самому себе. Я, наверно, тебя люблю. «Наверно» — это потому что еще сомневаюсь, уж очень странные чувства я к тебе испытываю. К примеру, когда влюбляются, стараются быть — или казаться? — лучше... и всякое такое прочее, женские, в общем, штучки. А для меня с тобой это совсем не важно. Все! Попытку анализировать решила прекратить, пусть думает сердце. И твое — пусть думает, чувствует и радуется. Спокойной ночи!

Вот это ее «спокойной ночи» привело меня в чувство. Во-первых, день на дворе, во-вторых, пустое и прохладное пространство, окружающее меня, не может ни говорить, ни отделять день от ночи. Я разговаривал?... С ней?... Во весь голос?... И я вслух порол всю эту ерунду про лавину своих чувств?... Хорошенькая репети-



ция! Осталось выложить все это ей при встрече. Можно еще присочинить про слабеющие колени.

А что мы знаем друг о друге? Что-то я уже напридумывал за нее про себя. Но ведь это я придумал, она-то может думать совсем по-другому.

— И то правда, — сказал кто-то моим голосом, — тем более что говорить с тобой она в данную минуту попросту не могла.

Я огляделся, проверил звуковые колонки — выключены. А голос тем временем продолжил:

— И где, говоришь, она нынче? В Америке? Ну-ну!

Он засмеялся, и смех этот был невыносимо противным. И тут из невидимого динамика послышался ее голос:

— Сегодня исчезла Москва-Сити. Как-то Рената Литвинова, сама того, видимо, не осознавая, ввела в нашу жизнь афоризм на века: «Как страшно жить!» И в самом деле: жара +40 в тени, дымовая завеса, как будто все находятся на съемках остросюжетного фильма, где в тумане надо выследить преступника. Нынче я не обнаружила Сити. Страшно. Каждый день перед глазами стоял город небоскребов, а тут — пропал... Церковь напротив таможни стоит, хотя и вся в тумане, а Сити — нету! Есть фотографии, подтверждающие факт пропажи... Вспомнилось: как-то давно, еще в пору, когда в проходных стояли вахтеры, один руководитель региональной телевизионной компании приехал ранним утром зимой на работу. Проходя мимо вахтера, спрашивает бедолагу: «Макарыч, а вышка-то где?.. Проспал?! Сперли вышку-то!» А мороз, туман плотный, телебашни не видно... Макарыч, белый от страха, побег глядеть. И вправду: нету вышки! Вот так и со мной сегодня: нету Сити! Сперли!

И тут меня начал разбирать смех, неожиданный и какой-то безудержный — истерика. Нет, меня не разыгрывают, это точно... Да и кому это надо. Я не сошел с ума — у меня нормальная реакция, я адекватно воспринимаю окружающий мир. И это все — голоса, звуки, сюжеты — не галлюцинации, это происходит за стеной, отделяющей мой мир от какого-то постороннего, чужого. Этого вообще не было... Сон! Минутная потеря сознания. Сколько раз я засыпал за компьютером, и какой только чуши не привиделось в этих снах...

Нью-Йорк, Париж, Москва-Сити... Милая моя, желанная! Страшная сказка, в которой теряют и находят, теряют и находят... И так — три, девять, двенадцать раз. Тридевятое царство!..

Оставалось всего несколько минут до окончания рабочего дня, и тут вернулась начальница.

— Поехали! — весело объявила она.

Мир перевернулся, хотя вечер оставался вечером

У меня не было никакого желания ни сопротивляться, ни отговариваться, ни предпринимать хоть что-то. Я покорно поплелся за ней и уселся на заднее сиденье ее машины. Почему на заднее?.. Честное слово, никакой акции протеста тем самым я не выражал. Еще подумал вяло: багаж всегда бросают на заднее сиденье.

Мы остановились, и я даже не удивился, когда она подвела меня к подъезду, возле которого висела знакомая табличка — «Оздоровительный центр». Я сразу же по привычке прошел к кабинету своего приятеля.

— Привет! — окликнул его.

Он кивнул, чересчур сосредоточенно копясь в бумагах.

— Проходите в раздевалки, Нина вам все устроит. Нина! — крикнул в открытую дверь. И нам: — Удачного отдыха!

Поначалу я все пытался поймать его взгляд, не решаясь напрямую поинтересоваться, чего он строит из себя идиота. А потом понял, что в этой игре правила уста-

навливал не я, и для каждого роли распределены задолго до моего появления, мизансцены расписаны, круг героев строго очерчен. Что ж, надеюсь, все встанет на свои места.

И тут каким-то странным образом все в мире поменялось. Не просто вокруг, около или напротив, — нет, во всем мире. С чем сравнить — не знаю. Или я внезапно переселился на дно морское, или вознесся к горным высотам, за облака и выше... Нет, все не так, неправильно, неточно. У меня по-другому стали работать все органы чувств: их не то чтобы подменили — наделили другими функциями, возможностями. К примеру, дают тебе понюхать розу — а ты ощущаешь дождь на своем лице; он становится все сильнее и сильнее, и вот уже струи воды заливают рот, глаза, нос... Нет, пожалуй, и это сравнение не очень удачное. Вот другое: вы полностью одеты — и вдруг ощущаете себя голым. Неудобно, неловко, люди кругом... Момент, вы скидываете с себя все до последней нитки — и неудобства как ни бывало.

Потом мы сидели в баре и пили напитки, которые, как и следовало ожидать, по вкусу совсем не походили на те, к которым я привык или вообще хотя бы раз пробовал. Мария Сергеевна успела переодеться в нечто, напоминающее сари из переливающегося разноцветными сполохами шелка. Наряд был ей к лицу. И еще я подумал тогда: что ни надень на нее — все будет элегантным, красивым и как-то по-особенному дразнящим. Мне не хотелось, чтобы она выглядела столь обворожительно, мне не хотелось, чтобы она в своем наряде являла совершенство, как не хотелось любого совершенства, связанного с ней. Я чувствовал в ней врага, но не понимал, как можно ей противостоять, противодействовать, что это такое вообще сейчас передо мной.

— Мария — это Маша? — тупо спросил я.

— Мария — это Мария и есть. — Она посмотрела на меня сквозь искрящуюся жидкость в бокале и добавила: — Сергеевна.

И тут я сделал то, что никогда в жизни не посмел бы сделать, будь хотя бы часть окружающего или меня самого в нормальном состоянии. Я вылил на ее сверкающее сари содержимое своего бокала. Не выплеснул, а именно вылил — ровной, неторопливой струей.

Она не вспыхнула гневом, не охнула, не подскочила от неожиданности. Лишь едва заметно дрогнуло плечо.

— И что теперь с этим делать?

Было непонятно, что имеет в виду вопрос — испорченную ли одежду или ситуацию в целом...

— Марш в бассейн! — заорал я, переставая понимать, что происходит и что я вытворяю.

Она покорно двинулась в сторону банного комплекса — через раздевалки, комнату отдыха, мимо парной, — будто неоднократно уже проделывала этот путь. Я догнал ее у самой воды, но ничего не успел предпринять: как была, в сари и в туфлях, она прыгнула в бассейн. Я за ней; и первое, что ощутил — вода вовсе не ледяная, как я думал, как знал, — она была шелковисто-теплой, будто не водой вовсе, а сгустившимся продолжением воздуха.

Не сговариваясь, мы начали прямо в воде стягивать с себя одежду, что мне, например, стоило немалых усилий. Когда моя дама освободила себя от сверкающих покровов, я с изумлением обнаружил перед собой *ее*. Ошибки быть не могло — темные волосы, скулы, ноги с едва заметными ямочками в середине коленных чашечек, а главное — обсидиановые глаза! Какая ошибка, если я изучал ее и в лучах заходящего солнца, и в бархате утреннего света, и при свечах, и во мраке, где видели лишь мои пальцы...

И мы сплелись в объятьях. Мы тянули друг друга ко дну, но не размыкали ни рук, ни ног. Мы впилась друг в друга, глотая воду с соленой приправой наших раскаленных тел. Наши легкие были полны воды, мы уже почти утонули, пока кто-то из нас,



наконец, не догадался ухватиться за низкий бортик бассейна. Мы выкатились на мозаичный пол купальни, все так же не отпуская один другого.

Есть несколько вопросов, на которые я никогда в жизни не смогу дать ответа. Один из них: сколько времени все это продолжалось?..

Помню, мы несколько раз возвращались в бар, кутаясь в простыни, грелись возле остывающей печки парной, снова прятались от жары и нехватки воздуха в прохладной купальне. А в голове у меня едва теплились абсолютно ничемные, хотя и знакомые мысли: почему нас никто за все это время не побеспокоил? Неужели мой друг специально перекрыл все ходы и выходы, чтобы нас не потревожили? И вроде бы должна же быть какая-то Нина... где она?

Потом все изменилось — в который уже раз за нынешний вечер! А изменилось следующим образом. Мы сидим в баре, в бокале у меня какая-то бурда из тех, что заказывают девчонки-первокурсницы в дешевых кафешках. Напротив меня Мария Сергеевна, моя начальница, и выглядит она точно так, какой я вижу ее ежедневно с девяти до семнадцати, — подтянутая, модно и недешево одетая, тронутая косметикой, точно отмеренной дорогим визажистом. И смотрит она на меня, как в то самое урочное время — рассредоточено, размыто.

Вот она встает со своего места, вот укладывает что-то в свою сумочку, встряхивает своими светлыми, приведенными в полный порядок волосами.

— Поехали?! — приказывает и вопрошает одновременно.

— А можно, я еще посижу здесь?..

В эту минуту я напоминаю себе школьника, отпрашивающегося с урока.

Она пожимает плечами и направляется к выходу. В дверях останавливается.

— Кстати, Мария — это Маша и есть.

Лето заканчивается, это видно по всему: листья падают, еще не желтые, но уже сухие, хрустят под ногами. Вечера короче и холодней. Облака размазаны по небу в неуверенности — собраться им в кучу или рассеяться... И только резеда по-прежнему одуряюще кружит голову, не сдается.

Я ловлю себя на том, что делаю круг за кругом около отметки нулевого километра. Будто пытаюсь начать заново отмерять какой-то неведомый путь — и сбиваюсь, сбиваюсь... Откуда? Куда? Зачем?.. Вечные вопросы, самые простые... И за малым исключением — безответные...

Театральные афиши истрепал ветер времен.

Нашим актерам афиши не нужны

Меньше всего мне хотелось бы сейчас идти домой, но именно это я и сделал. Я никогда не включаю свет, шагнув в прихожую, в какое бы время ни появлялся здесь, — сначала захожу в комнату, осматриваюсь. Что я там намереваюсь обнаружить каждый раз — не знаю. Сегодня, благодаря этой привычке, я не разбудил ее. Она раскинулась поперек нашей лежанки, нагая, хрупкая и удивительно бледная в последнем свете умирающего дня. У меня перехватило дыхание от радости и горя, накативших одновременно. Так, очевидно, обретают уже ставшую безнадежной потерю. И тут же теряют вновь.

Стараясь двигаться бесшумно, я вышел за дверь. Я не мог сейчас оставаться с ней, не мог ни будить, ни прикасаться, ни даже обмолвиться словом. Ведь я только что был с той, другой, так похожей на нее и так непохожей...

И вот я снова у нулевого километра, будто нет в моем городе другого места, другого пути, будто нет у меня выбора.

Занавес. Все как в театре: короткая пьеса — и целая жизнь. Но здесь театр абсурда — жизнь пролетела в мгновение, ее разглядеть не удалось. А что в антракте? Рюмка коньяка в верхнем буфете? Двое-трое знакомых, подчеркнута гордо кивающих: видишь, и мы — театралы? Нет, не вспоминается ничего. Не было никакого

антракта... Не было ни следочка в квартире, ни вмятинки на покрывале, ни запаха духов, которые обычно неделю жили после ее ухода.

Утро. Контора. Мария Сергеевна. Звонок по межгороду. В трубке жуткий треск, эфирные помехи, непонятные голоса, звучащие на нескольких языках.

— Алло! Алло! — кричу я в микрофон и вопросительно смотрю на начальницу.

В ответ она машет рукой, что означает: это тебя, тебя.

А сквозь толщу голосов пробивается испанский.

— Diskulpete, no oido bien...

— А я вас не слышу совсем, — кричу в ответ.

— Agui hay mucho trafiko...

Это же ее голос, черт возьми! Но почему по-испански? И при чем тут движение?

— Ты на улице, что ли? Зайди в помещение!

— Esto no funciona...

И все. Тишина.

И вообще — все.

Я несколько раз порывался заговорить с начальницей, но что я мог сказать, о чем спросить... Еще раз задать вопрос, где и по какому поводу обретается она? И получить известный заранее ответ...

Спустя несколько дней Мария Сергеевна заговорила сама.

— А почему ты (она подчеркнула — ты!) не хочешь задуматься однажды, что у нее, к примеру, богатый покровитель, который позволяет ей бродить по белу свету, где и когда вздумается? Нет, это я так, навскидку, на самом-то деле я ничего не знаю, да и знать не хочу, если честно. Мне поступило распоряжение — не трогать ее и не обращать на нее внимания. Вот и все, что я могу тебе поведать...

Знала она куда больше! Но что толку, когда мне дали понять: с тебя хватит. Да, с меня хватит! Того, этого, прожитых лет, впечатлений и любовей... С меня хватит! Я сейчас напоминаю себе путника, который вышел в дорогу с изрядным багажом. И вот я шел, шел, постепенно оставляя на этом своем пути одно, другое, пятое, десятое... Пока не добрался до пункта назначения, определенного мне кем-то, кого трудно назвать союзником. Ни нитки на мне, ни трюнки со мной, даже жилье, принявшее меня на исходе, чужое, случайное, пустое.

Но как же быть с великим благом, именуемым одним, но очень важным словом — временное! И наплевать, в каком месте филологический подсказчик поставит ударение. Временное! Время во мне, со мной, вокруг меня и рядом. Да оно во мне так же, как я в нем! Время... Tiempo, sono, hora... Ну вот, не забыл испанский! И английский... Правда, в свое время не захотел учить французский, но это не беда: три-четыре недели — и освою. С немецким было бы, наверно, проще, Но ничего, справлюсь...

Я ни с кем не хотел ни видаться, ни разговаривать. Только с ней. Да где же она? И я опять разговаривал с ней — без нее.

— Увы, годы не приносят опыта любви. Любовных отношений — да, но это совсем другое. Я и сегодня могу смутить молодую девушку, могу даже при определенных стараниях влюбить в себя, но нынче получается так, что смущен я сам. Как просто все было в прошедшие годы, как трудно и сложно сейчас! Самое главное — сердце не сдается, голова не подчиняется расчету и разуму, и я не знаю, что со всем этим делать. Надо как-то облегчить дыхание, что-то предпринять... Твоя мятущаяся душа вряд ли когда обретет покой, по себе знаю, только не ведаю, что с этим можно поделаться. Легко сказать: влюбиться окончательно и на всю оставшуюся жизнь. А придти к этому в жизни вряд ли возможно. Не знаю, ничего не знаю, и чем больше живу, тем знаю все меньше и меньше... Я представляю картинку, как мы с тобой на пару взяли и смылись ото всех — уехали в тайгу, или в другое малознакомое место. Избушка, маленькое хозяйство — и мы с тобой. Наверно, пришлось бы некоторое



время привыкать друг к другу... Не знаю, трудно представить волков-одиночек в компании друг с другом. Хотя картинка желанная, я ее вижу... как сказочную реальность. Я не один раз оказывался в подобных состояниях, воспринимая окружающее как сказку...

— ...Птичка моя златокрылая! Что молчишь? Мне не хватает тебя. А-а! Ты же должна приехать... А вдруг меня не будет? А вдруг я уеду в романтическое путешествие, к примеру, в Павловск, за грибами. Скучно жить на белом свете, господа! И вообще — пушусь в разгул. Я уже, можно сказать, пустился: пью и гуляю. У меня, как ты не успела заметить, день рождения был давеча. А не ты ли как-то мне напомнила, что день рождения празднуют две недели после главной даты, по числу месяцев в году. Я прилежный ученик, все запоминаю с первого раза. А выводы... выводы есть, — решений нет. Вывод первый: у меня есть хороший человек в некоем месте, которое я никак не могу отследить. Я могу с ним разговаривать без натуги. Второй вывод: этот человек — женщина. И третий: она мне нравится. И нравится настолько, что я притрагиваюсь к ней, как к тонкому хрустальному цветку, — не сломать бы, не повредить.

— Наши отношения и чувства я не берусь оценивать и обозначать — все будет не слишком точно... и верно лишь отчасти. Но то, что судьба нас свела — это не напрасно. Я, наверно, не очень смелый человек, я боюсь своих болячек, своего вибрирующего на какой-то тонкой грани организма — он меня подводил уже не раз. Потому вряд ли когда решусь хотя бы малой долей взвалить ответственность за себя на кого бы то ни было. Но это все ерунда по сравнению с тем, как тает во мне лед в твоём присутствии, как оживает душа и растягивается в улыбке рот...

— ...Меня бы обрадовало твое письмо, настоящее, с ароматом чистого тела и быстрой реки. Я чувствую себя усталым... и не могу тебе высказать всего, что на душе. А там кипит! А там взрывается!.. Вечер сгущается, а я будто вне времени... Кажется, я чувствую твою кожу под своими ладонями. Мне иногда только воздухом подышать одним с тобой — и достаточно. Хотя... Сегодня день семьи, верности, еще чего-то в этом духе. Все — мимо меня. Может, хоть к тебе имеет (будет иметь!) какое-нибудь отношение... Дай бог... У нас вчера дождь лил целые сутки, иногда переходил в обвальную ливень... Смотрю вокруг — и мне кажется, молодые сегодня успешно избавляются от любви, этого наваждения. А мы (читай — я!) — всего лишь старые дураки-романтики. Хотя остается непонятным, что же хуже...

— ...У меня времени нет, как нет и «потом», у меня все «сейчас». Ты еще достаточно молода, чтобы иметь в запасе время на «потом». О предназначении женщины и ее случайных ролях я бы поговорил с тобой, если б этот разговор состоялся хотя бы лет тридцать назад. Сегодня все иначе! Женщина... Бесполое создание с внешностью Венеры! Вот так я вижу все это, дорогая! А цветы на пепелище и прочая романтика — из области беллетристики. Кстати, в прошлые жизни я верю. Мне сказали, что я редкий экземпляр — проживаю сейчас одиннадцатую. По-моему, я уже говорил об этом. В бессмертие души верю, но как-то не очень. Я думаю, оставив бренное тело, она не самостоятельно путешествует, а переселяется в другое «не-что». И тогда уже она вроде бы и не моя душа. Здесь у меня много сомнений...

Пролетела неделя, другая. Однажды я пришел на работу и увидел начальницу за ее столом.

— Здравствуйте!..

**Может, пора прощаться со сказочным городом,
со сказочными цветами и сказочными звуками...
Только не со сказкой! Прошу вас!..**

Продолжение фразы застряло у меня на языке. Это была не Мария Сергеевна. Незнакомая девушка, удивительно похожая на нее. И, разумеется, на нее. Некое промежуточное создание между той и этой. Волосы чуть темнее, чем у начальницы, но

светлее, чем у *нее*; скулы выдаются чуть больше, чем у *нее*, но меньше, чем у Марии Сергеевны; фигуры, насколько можно разглядеть из-за стола, схожи. Глаза... Я всмотрелся в них... и был потрясен их способностью меняться в зависимости от времени суток, погоды, освещенности помещения.

— Это наша новая работница, — объявила вошедшая следом за мной Мария Сергеевна.

Она назвала имя, но я тут же забыл его. И не стал расспрашивать, уверовавший вдруг, что *ее* уже никогда здесь не будет. И нет смысла задавать вопросы, и ни к чему поминать вслух ее имя. Забыть. Не было — как не было до сего дня всех моих долгих лет. И принести цветы к нулевому километру.

Легко сказать... Шли дни — и я все больше понимал, что продолжаю любить ее, и от этой любви мне никуда не убежать. Но что удивительнее всего, по-моему, я люблю ее в той, кто занял чужое место — за прежним рабочим столом, но в новом облике. Люблю, когда она (как раньше! Как тогда! Как *она!*) идет по левую руку от меня к неистово пахнущей резеде. Люблю — в наших ежедневных встречах со знаком, указывающим на вечное начало. Я уже не помню, ждал ли я того дня, когда мы вместе переступим порог моего съемного жилья, подкарауливал ли ту случайность, которая приведет нас в бассейн к моему другу. Может, ждал, а может, и нет. Ведь для меня почти ничего не изменилось. Но как это, оказывается, бывает много — маленькое-маленькое «почти»!

— Мне не хватает некоего сказочного города, где бы мы оказались вдруг, где не было бы ни одного знакомого лица. Я знаю, что через него, через этот город, не раз пролетало перо моей судьбы... так, по нечаянности. А ты в абрисе города-сказки осталась для меня некой фата-морганой, мечтой в тумане и девочкой в теплом вечере. Хорошо, честное слово! В общем, я застреваю в сентябре, снова праздную свой день рождения и думаю, что ты надолго останешься со мной...

— Я тоже люблю сентябрь. Но мне в сентябре иногда бывает настолько же плохо, насколько хорошо. Сейчас как раз такой сентябрь. Эмоциональные качели. Не знаю, отчего это, что это?... Осень, ощущение уходящего лета и неизбежность зимы... Есть теория, что ближе ко дню рождения у человека нарастает напряжение, завершается какой-то очередной цикл, а потом все начинается заново. Может, это так и есть, тогда не удивительно, что наши сентябрьские ощущения схожи. Вы меня не знаете, у вас есть какой-то образ, который вам нравится. Он не соответствует реальности, уверяю вас. Но, пока он не разрушится, выкинуть из головы вы меня не сможете.

— Все так, все правильно, только у правильности мало красивых одежд. Она почти всегда голая. Да, со временем приходит потребность называть вещи простыми именами. Только не надо впадать в заблуждение, что это — от приобретенной мудрости. Ерунда! Издержки возраста, возрастной лени, возрастного слабоумия... Мы потому и говорим друг с другом, испытывая наслаждение (я, во всяком случае), что отголоски главного пока что заменяют это самое главное, вернее, выступают в роли наместников. Ждать и надеяться — это почти синонимы. Никто не ждет без надежды, иное — лукавство. Можно не дожидаться, это другое дело. Фокус в том, что ожидание чего-то уже *что-то* и есть.

— Я с удивлением для себя обнаруживаю, как похожи наши взгляды на мир. И это приятно. Я понимаю все, о чем вы говорите... во всяком случае, так мне кажется. И я тоже считаю, что ожидание — уже есть *что-то*, что мы живем ощущениями, пытаемся поймать отголоски...

— Я люблю тебя, девочка! А это значит, что ты свободна ото всего, что касается меня. Таковы законы любви — жертвовать. К сожалению, слова все делают не просто неточным, но и неправильным. А!.. Я совсем забыл, что слово «любовь» требует особенной подготовки, ситуации... Что его нельзя произносить всуе... У меня свои законы, я — сильный. Я переживу. Но во всей этой ситуации мне хотелось бы боль-



ше всего думать о тебе, не навредить тебе, не ранить. Ты просто скажи себе: вот он, старый маразматик, ищущий приключений напоследок... Ну и что-нибудь в таком роде... Это не мешает мне нежно прикоснуться к тебе.

— Я не хочу, чтобы вам приходилось что-то переживать... и без этого, наверное, многое пережили. Но, похоже, от меня ничего не зависит. Я ценю свободу, которую вы предлагаете, и, пожалуй, воспользуюсь ею. Не воспользоваться — у меня не хватит сил. Не хочу обманывать вас, вы заслуживаете счастья. Я не могу, не знаю, как ответить на ваше признание в любви. И еще меня расстраивает, что я делаю вам больно, возможно, каждым своим словом. Берегите сердце от мыслей, которые вас удручают. И не называйте себя старым маразматиком, это ведь полная чушь...

Голова раскалывается. Природа творит чудеса. День ото дня вокруг становится все красивее и печальнее.

Однажды мы все-таки дошли до моей ночлежки. По дороге купили пиво и сыр «Дорблю». Я настаивал на красном вине и козьем сыре, дорогом, между прочим, но она потребовала пиво и сыр с плесенью. Пытаясь найти хоть какое-то объяснение в глазах моей спутницы, я обеими руками развернул ее лицом к себе и увидел небывалое: в несколько мгновений стылая вулканическая бездна сменилась ртутным отливом предзакатного моря, а тот перешел в яркую голубизну памирского лазурита. Все так знакомо — и все непонятно чье.

Когда мы расположились за столом, на меня вдруг нашел какой-то ступор — не знал, о чем говорить. Вроде уже многое сказано — а в жизни ничего не происходит, не меняется. И тогда я сказал, не придумав ничего другого, что скоро будет день, который называется «Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин».

— Не знала, что есть такой праздник, как борьба с насилием в отношении женщин, — усмехнулась она. — Интересно, кто его придумал? Состоявшиеся или потенциальные жертвы?

— Наверно, это не совсем праздник, — сказал я. — А придумать его могли сами насильники, не обязательно жертвы. Во всяком случае, меня бы это не удивило.

Мы сели за стол. Пока я разливал пиво по стаканам, она крошила сыр. Резать его не всегда получается. Первый глоток, кусочек сыра — и первое разочарование: пиво оказалось сладковатым, сыр чересчур горчил. Пауза затянулась, надо было о чем-то говорить, и я решил продолжить наш недавний разговор. Или это была переписка по электронной почте? Что-то в последнее время я все путаю...

— Увы, я не по годам влюбчив. Это совсем не значит, что я создан, как заводная игрушка на определенную тему... Порой я боюсь себя, потому что не знаю, как со всем этим справиться. А еще — я старый романтик, и это непростительно.

— Думаете, я себя не боюсь? Страшнее, чем ты сам, ничего не существует. Я — натуральное чудовище... Только вы не подумайте, будто мне что-то от вас надо. Я живу очень обособленно, уединенно, я сама романтик, а все мои внешние проявления — это своего рода крик в пустыне. Ну нравится мне орать...

— Не стоит отказываться ни от себя, ни от чего-то своего... Впрочем, ты орешь в своей пустыне, я — в своей.

— Я не всегда ору в своей пустыне. Большею частью я просто там молчу. И живу.

— Чертова ситуация! — взорвало меня. — Мы в каком-то невообразимом тупике... я, во всяком случае. Спроси, чего я хочу... Ответу с возможной прямоотой — не знаю. Вроде хочу поболтать с тобой, но не всегда знаю — о чем именно. Интересно, получилось бы у нас просто поцеловаться?.. Наверно, ты отнесешь это к области «кому-то опять что-то надо»...

**Не попробовав — не вкусишь. Не хотелось бы,
чтоб расплавленная магма пролилась
на какую-нибудь невинную Помпею**

— Иногда я жалею, что родилась в женском теле... Просто поцеловаться? Я не знаю, что ответить. На этот вопрос есть два ответа: либо «да», либо «нет», но я пока не вижу никаких дополнительных факторов. Или я чего-то не понимаю.

— Просто поцеловаться... А мне нравится как раз то, что может последовать за этим (или не последовать, эка печаль!). Твою нежную душу, в какой пергамент ты ее ни заворачивай, разглядеть не так уж трудно. И не потому что она вся на виду, просто она вопиет о том, что ее гложет. Слова... Я уже говорил, по-моему, — они словами и остаются. Что касается земного пути, он действительно малоинтересен. Но вот есть же пара моих любимых речек... и одна гора на Алтае. Вот только людей, к сожалению, совсем не осталось, ради кого стоило бы находиться здесь. Да и что они, люди... Они вообще неинтересны. Даже самим себе. И многие даже не подозревают об этом... Я никогда не думал о последствиях, о результате или вообще о чем-либо подобном. Отношений или «продолжений» не боялся и не боюсь, напротив, всегда стремился к ним. И это не огонь коллекционера, это попытка раскрасить ту самую постыльную обыденность или — если хочешь — назови ее жизнью. Я не разочарованный мальчик, я голодный пес. Но что-то странное в мире происходит. Очевидно — в моем мире. Я никогда еще столь сильно не хотел не жить. Никогда не было так плоско вокруг, так замылено и плохо протерто...

Я напрягся, наблюдая, как она медленно расстегивает кофту, стягивает один рукав, другой... Увиденное изумляет меня, и с каждым последующим ее движением изумление растет. Все руки у нее, открытые теперь майкой-безрукавкой, испещрены шрамами. Можно сначала подумать, будто она побывала в какой-то аварии, где ее исполосовало битым стеклом. Но нет, все жуткие отметины расположены строго поперек руки, так обычно режут сами себя. И вполне объяснимо, когда область запястий... Чувствительные девушки пытаются вскрыть себе вены, некоторым это удается. Но у нее все изрезано — запястья, предплечья, плечи... У меня перехватило дыхание и запершило в горле.

— Очень жалею, — продолжила она как ни в чем ни бывало, — что бог дал мне такую ранимую душу, хотя временами она не такая уж и ранимая, как кажется... А шрамы я очень люблю, считаю их лучшим украшением... И как же не вопить о том, что гложет? Между прочим, мне нравятся слова и их смысл... в них можно вложить душу, словами можно объяснить то, что, казалось бы, объяснить нельзя. А еще люблю цифры... Мне кажется, они лучше слов могут объяснить необъяснимое... но, увы, с математикой у нас непонимание. Я никогда не была в горах, к рекам у меня настроенное отношение (не люблю воду, у нас затяжной конфликт). Нет, обыденность назвать жизнью я бы не решилась, уж слишком они разные. Я никогда не ценила жизнь, были случаи, когда меня спасали, но благодарности не могли дожидаться. А почему у вас все так плоско и замылено? Замыленное сначала надо хорошенько промыть, а потом уже протирать.

— С помощью тряпочки не прорвешься к ясному дню. Мы все живем в обособленном мире, что лично я считаю вполне нормальным. Но для того чтобы оценить эту манеру жития, способ существования, необходимо изредка проклевывать свою скорлупу. А что это там, снаружи?.. Все та же мерзость... Полезли обратно!

— Что ж, приходится жить в собственном мире, но я уверена, что мир, который вокруг — он лучше. У кого-то скорлупа, у кого-то необитаемый остров... и вечная надежда, что кто-нибудь приплывет и спасет от одиночества или разделит его на много-много мелких кусочков, чтобы уже нельзя было собрать и склеить обратно, но не приходит в голову уплыть с этого острова в неизвестность... Вы по ночам спите?





— По-разному, это не важно... Думаю, ты совсем другая... Скажем, больше похожая на меня... какой-то немотивированной жестокостью к себе. И как это так — человек может быть интересен жестокостью?.. Не знаю. Я многого не знаю. И не собираюсь жалеть об этом, раскаиваться или разочаровываться. Мне, может, и интересно покуда в этой гнусной атмосфере, потому что я незнайка! Моя маленькая коробочка — стул, стол с компом, пол-окошка — чересчур часто закрыта для всяческого проникновения. Голова и сердце часто дополняют названный интерьер и ведут себя соответствующим образом. Странно, чем больше хочется замкнуть мир на самого себя, тем сильнее тяга к таким... как ты. Неосознанная, впрочем.

— Без таблеток я засыпаю часов в семь или восемь утра, а от таблеток я по утрам не очень вменяемая... как зомби, только миролюбивое. Иногда я даже разговаривать не могу. Не хотелось, чтобы кто-то меня видел в таком состоянии, но что поделаешь...

— Мы ушли от начальной темы разговора далеко в сторону. Я не знаток отношений полов, но предполагаю, что за нашей вероятной близостью может последовать самая пестрая гамма чувств — разочарование, возмущение, неловкость, даже злость. Или вообще — пустота. Честное слово, не было задачи вот так взять и завоевать тебя, тем более что я давно уже понял: завоевать невозможно ни так, ни эдак. Завоеванный человек рано или поздно становится врагом — это аксиома. Лучше сотрудничество, договор, сговор... Черт знает, что у меня творится в голове, часто я не могу дать себе отчет в этом. Что касается нас с тобой...

И тут меня словно накрыло лавиной тумана. Нечто плотное, осязаемое заполнило всю комнату и стало проникать внутрь моего тела, путая мысли настолько, что я почувствовал, будто некто говорит за меня, а меня тут нет вообще, мной представляется отделившаяся от моего существа непонятная субстанция.

В этом тумане, скорее напоминавшем липкую вату, она надевала свою кофточку, снимала со спинки стула сумочку, перемещалась к двери... Последнее — взмах руки и странный взгляд, растаявший в тумане. Я сидел, будто парализованный, не в силах ни пошевелиться, ни промолвить слово.

На другой день на работе не было ни ее, ни начальницы. На следующий — то же самое. На третий ноги сами привели меня к оздоровительному центру моего приятеля. Странно, на входе не оказалось дежурного. И в коридоре никто мне не встретился, только в конце его через приоткрытую дверь пробивался свет. Там кабинет моего приятеля, — очевидно, тот на месте. Что-то подтолкнуло меня, и я, не дойдя до его двери, повернул в сторону сауны и бассейна. И в баре никого, и в комнате отдыха, а вот за ее стеной — голоса. Я слегка приоткрыл дверь, ведущую в бассейн, и обмер от неожиданности: в зеленоватой от специальной подсветки воде плескались трое.

Это были они! Никакого сомнения! Их сейчас невозможно было спутать, хотя сколько уж раз со мной случалось подобное, когда я видел их порознь. Что же это такое? Зачем они сошлись? Как это вообще могло произойти? Да и в реальном ли измерении я нахожусь?.. Почему все-таки я решил, что это не одна из них в трех лицах?..

Их нагота открывала абсолютно одинаковые фигуры, мокрые волосы было не различить по цвету, как и глаза, да и отличия в лицах не просто разглядеть. Зато хорошо видны шрамы! У всех троих — одинаковые: на плечах, предплечьях, запястьях... А еще я увидел, похолодев, такие же страшные отметины на груди, на бедрах, по всему телу... В силу какой же такой причины можно этак истязать себя? Это противно разуму, противно всему сущему и даже выдуманному! Я смотрел на них завороченно, а они резвились и хохотали, как и положено юным купальщицам в подобном месте...

Боже мой! Еще и это свалилось на мою голову, в которой без того давно уже царит беспорядок... Войти или остаться? Войти! Остаться! Войти!.. И что?..

Я прикрыл двери и направился к выходу, так никого и не встретив по пути...

Мы подошли к концу истории и началу повести

Мы больше не виделись. Сначала, как объяснила начальница, она заболела. Потом, по истечении нескольких дней, Мария Сергеевна сказала:

— Она уехала в командировку. — И добавила: — Мы с тобой можем отправиться туда, где нам двоим было хорошо. Прямо сейчас.

Я промолчал... и только подумал: ключевое слово — «было».

И тут меня обуял страх. Нет, это был не просто страх — в меня вторгался самый настоящий ужас! Я вдруг подумал, что пройдет совсем немного времени — и обязательно явится четвертая! Но и тем дело не кончится — я обречен, я приговорен!

И это не важно, что я давно уже решил расстаться с вами, что ежедневно, ежедневно посылаю вам вослед:

— Принеси им, Господи, удачу... и избавь от новых украшений в виде шрамов!

Нет ничего забавнее самой жизни. Лучше ее, заковыристой... Хочу человека. Чтобы не путался под ногами и был рядом, не утверждался и был самим собой, не кричал и был убедительным. И любил бы себя. Меня — не надо, мне хватит любви, оставшейся от любви к себе, к ней, к тебе... Отраженный свет всегда «правильнее» прямого.

Привычное место — отметка нулевого километра. Я пришел сюда один. И не знаю, куда мне идти дальше. Честное слово, не знаю! Не станешь же спрашивать встречных-поперечных, в какой стороне мой дом, в какую сторону мне надо... Сочтут за сумасшедшего.



ДОРОГИЕ РОССИЯНЕ

Миниатюры

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАШИН

Сегодня ко мне в гости зашел председатель ТСЖ по фамилии Кашин. Председатель Кашин — это крепкий старик лет восьмидесяти с лысиной журналиста Познера и лицом красного директора (или красным лицом директора — это зависит от выбранной системы координат).

Свои дни он проводит в походах по квартирам, развлекаая жильцов парадоксальными историями и просьбами.

Мне он, в частности, рассказал о том, как в прошлом году ему досаждали ремонтом одной из соседних квартир. Несколько дней председатель терпел перманентный шум, после чего поднялся к соседям, где обнаружил смуглого нурсултана, орудующего отбойным молотком. На вопросительный взгляд председателя Кашина усидчивый работник ответил со сдержанным достоинством: «Ляминат укладываю». Воспитанный в традициях уважения к человеку труда, председатель не стал устраивать скандал и посоветовал нурсултану работать с перерывами. Потому что всем нужно отдыхать.

Поделившись этой и некоторыми другими сагами, председатель вдруг серьезно спросил, что меня беспокоит, на что я жалуюсь.

— Многое меня беспокоит, — ответил я, не понимая всей серьезности ситуации.

— Выбери что-то одно, — отрезал председатель.

Ну и что я мог ему сказать? На кого пожаловаться?.. На орущих круглосуточно детей из квартиры напротив? На вонючек в лифте? На кашляющего сифилитика, живущего этажом выше? На преступное правительство?.. Это же все мелочи, а мне нужно было выбрать одну самую серьезную проблему и доложить о ней председателю.

И я нашел ее. Выпрямив спину и глядя прямо в глаза пожилому Кашину, я произнес:

— Меня очень беспокоит, что люди в Интернете пишут глупости.

— В Интернете? — уточнил председатель.

Я кивнул.

Председатель обещал разобраться.

СЛАВА И СЛИВЫ

В Одессе мы поселились в старом доме с зеленым фасадом и эклектичным двором.

Город встретил нас ливнем, штормом и градом — идеальный набор для сухопутных крыс, незнакомых с разгулом стихии. В разгар этого водного апокалипсиса из моря вышел веский мужчина с бронзовым загаром и полной авоськой моллюсков. Он вежливо поинтересовался, как мы себя чувствуем, предложил отведать пойманных им мидий, после чего, расстроившись, кажется, нашим отказом, пошлепал дальше босиком по лужам, побиваемый градинами.

Я хочу верить, что это был настоящий одессит, и жалею, что отказался от мидий. Я мог бы поделиться мидиями с дворовыми котами. Они оккупировали все соседние крыши — на каждой греются по две-три особи парадоксальных расцветок, — и, судя по безразличному выражению упитанных мордочек, я их интересую гораздо меньше, чем они меня. В принципе, это неудивительно — мидий ведь я им так и не принес.

Две очаровательные девушки, одна из них в тельняшке, вторая, судя по всему, без нижнего белья, идут по бульвару и задорно обсуждают свои соски (ударение на втором слоге). Я понимаю, что в Одессе это лучший повод для рефлексии (ударение опять на втором слоге).

Посреди Привоза разгорается нешуточный конфликт: два продавца обсуждают, чьи сливы вкуснее. К дискуссии подключаются все новые и новые участники; кажется, достоинства и недостатки слив (а также родственников продавцов вплоть до седьмого колена) интересуют уже весь рынок. Я вижу, что вкус фруктов — это единственный, пожалуй, достойный спора повод в Одессе.

Больше ста лет назад мой прапрадед вместе с сыновьями собрал нехитрые пожитки, оставил родную деревушку в ста восьмидесяти верстах от Одессы и переехал в Сибирь, где умер в 1945 году накануне своего сто третьего дня рождения.

Сегодня я сижу на террасе, наблюдаю за жизнью эклектичного двора, пью пиво «Слава країни» и мечтаю сдать обратный билет.

КОФЕ С МОЛОКОМ

Знакомые удивляются, когда узнают, что натуральному свежесваренному кофе я предпочитаю растворимую гранулированную бурду.

Признаться в любви к растворимому кофе — все равно что сознаться в пристрастии к просмотру отечественных телепередач. Обычная реакция на оба эти заявления — плохо скрываемая смесь жалости и презрения.

Не станешь же объяснять кофейным снобам, что вкус и, в первую очередь, запах растворимого кофе с молоком — это главное, вероятно, воспоминание о детстве. Как только чашка ненавистного многим напитка оказывается рядом, я сразу переносюсь в конец восьмидесятых и обнаруживаю себя в самолете «Аэрофлота», совершающем рейс Новосибирск — Сочи или Новосибирск — Кишинев (с пересадкой в Уфе).

Машина времени приведена в действие, и ничто не остановит поток воспоминаний. Вот я обещаю себе стойко перенести взлет, но уши опять предательски закладывает, и я, кажется, громко плачу. Тут помогла бы барбариска, но она сгрызена еще во время руления на полосе.

Если заглянуть в иллюминатор (а заглянуть туда надо обязательно, иначе зачем вообще было соглашаться на все эти муки со взлетом, посадкой и заложенными ушами), то можно увидеть лоскутное одеяло полей с ниточками дорог, по которым — и это, разумеется, самое важное — ползут игрушечные грузовички. Потом, уже дома, нужно будет непременно разыграть эту сцену на ковре со своими машинками. А здорово было бы, если бы родители купили ковер с раскраской под эти зелено-рыжие поля!

Кажется, я лечу уже целую вечность. Мама, мы скоро приземлимся?.. Лететь еще столько же?.. Я устал и хочу в туалет... Туалет в самолете чем-то напоминает космический корабль. Наверное, Гагарин с Леоновым летали в таких же тесных аппаратах и, как и я, сосредоточенно крутили блестящие рукоятки. Земля, Земля, как слышите меня? Прием!..

Наверное, я мог бы провести в этом космическом туалете весь полет, но в дверь уже настойчиво стучат. Теперь меня занимает один серьезный вопрос: а что происходит с тем, что мы смыли в самолетный унитаз? Вероятно, всё это падает на тайгу или на колхозные поля... Кто-то из взрослых с непроницаемым лицом подтверждает мою теорию. Одной загадкой мироздания становится меньше.

Строгие и красивые стюардессы начинают разносить обед. Курица и даже пряник меня интересуют мало, все внимание приковано к бумажным пакетикам с пер-

цем, солью и пахнувшей одеколоном салфеткой. Все это настолько не похоже на встречающееся в земной жизни, что было бы преступлением оставлять такое богатство на борту. Пакетики (вместе с выпрошенными у папы, — двойное сокровище сильнее греет душу) отправляются в мамину сумку.

Проходит несколько минут... и стюардесса с доброй улыбкой ведущей «Спокойной ночи, малыши» приносит ее — чашечку горячего растворимого кофе с молоком... Добавим сахара. Ничего вкуснее в жизни я не пил! Дома мне обычно наливают чай, но в небе свои законы, и я наслаждаюсь этой кофейной свободой.

Двадцать лет спустя я храню верность растворимому кофе, но не могу объяснить друзьям причину своей любви к этому странному сочетанию вкуса и запаха.

ЭМИГРАЦИЯ ИЗ ОЧЕРЕДИ

— А вы почему еще не эмигрировали? — строго спросила пожилая женщина в очереди к врачу. — Что вас может держать в этой стране?

Я растерялся. Во-первых, это определено не тот вопрос, который ждешь услышать в поликлинике. Я был готов к обсуждению цен на лекарства, деятельности правительства и гениальной политики Сталина, но точно не к этому. Во-вторых, я действительно не знаю, что ответить на этот вопрос...

Почему я не эмигрировал?.. Возможно, потому что меня там никто не ждет, никто туда не приглашал, и вообще, — непонятно, что там делать.

Один мой добрый друг, переводчик-синхронист с немецкого, рассказал мне, в ответ на вопрос, почему не уехал он, про знакомых русских эмигрантов в Германии. Рассказ был долгим и печальным, там фигурировали фразы «люди второго сорта» и «нахлебники». Возможно, я остался, потому что не хочу быть таким нахлебником и чувствовать себя человеком второго сорта.

С другой стороны, мне хорошо здесь. Мне нравится работать несколько часов в неделю. Нравятся красивые девушки на улицах. Нравятся пейзажи с березками, ну как без них...

Смогу ли я прожить без всего этого? Вероятно, да. Но стоит ли тогда уезжать? Не факт.

Обо всем этом я думал, когда пожилая женщина задала мне свой вопрос об эмиграции. Ее выцветшие глаза терпеливо ждали ответа. Но как в одной фразе выразить весь мой ворох мыслей? Так что я отделался стандартным:

— Не уехал, потому что не понял пока, зачем.

Женщину явно расстроил мой ответ.

— Да, — произнесла она. — Вы утратили нашу хватку.

Какую хватку, о чем она?!.. Я на всякий случай кивнул.

— Я не националист, — доверительно сообщила моя собеседница. — Но вы посмотрите вокруг! — Тут она выразительно оглядела приемный покой и кивнула в сторону табличек с нерусскими фамилиями на дверях кабинетов.

— Я не националист, — повторила пожилая женщина. — Но вы ни в одной стране мира не увидите такого засилья евреев и китайцев. Это же каждый третий! Я понимаю, откуда они появились, — это переселенцы во время войны. Но это же не повод!..

В этот момент я очень хотел провалиться сквозь кафельный пол. Заметив мой опущенный к полу взгляд, женщина подхватила:

— Да я выросла среди этих клеточек!

Из последующего монолога выяснилось, что ее сын эмигрировал в Англию двадцать лет назад, потом забрал с собой какую-то Лерочку, которая знала язык, а потом — внимание — нашел брата в соцсетях. Брат, разумеется, тоже эмигрировал.

Полагаю, я и дальше узнавал бы подробности жизни этой мужественной женщины в мире, управляемом евреями и китайцами в белых халатах, но тут из кабинета вышел ее спутник, и они удалились, костеря отечественную медицину.

И только тогда я понял, как ответить на ее первый вопрос. Я остался здесь, потому что нигде больше не услышу таких поразительных историй.

Михаил ЩУКИН

«БЕЛЫЙ ФАРТУК, БЕЛЫЙ БАНТ...»

Судьба гимназии и гимназисток

*Гимназистка-гимназистка, белый фартук, белый бант,
Солнца луч ударил в парту: «На, вытягивай свой бант!»*

Сергей Цлаф

1. «Устроить жизнь на лучших началах»

И все-таки зря говорят, что чудес в нынешней жизни не бывает... Бывают! Теперь я в этом совершенно уверен.

Вот легли они на стол, старые папки, развязал я матерчатые тесемки, перевернул первые бумажные листы, высохшие, чуть пожелтевшие от времени, и — открылась передо мной прошлая жизнь, давно минувшая, канувшая в лету, но не потерявшая своего обаяния и прелести даже сейчас, спустя больше века.

Там, за стенами, совсем рядом, бежал, ехал, суетился и торопился по своим неотложным делам огромный полуторамиллионный город, в котором из-за плотного шума порою не различить людских голосов, а здесь, в тишине городского архива, неторопливо и обстоятельно разворачивались картины совсем иного времени и звонкие юные голоса, перемежаемые задорным смехом, звучали так явственно, словно пробегала мимо веселая стайка новониколаевских гимназисток...

Они жили на заре нового века, на заре своей туманной юности, они мечтали и влюблялись, они огорчались и, случалось, плакали; они ходили на праздничные вечера, тайком бегали в кинематограф и мечтали о будущей жизни, которая непременно должна была быть счастливой...

Давайте взглянемся в них, а заодно и в историю нашего города, тогда еще совсем юного Ново-Николаевска.

В 1898 году журнал «Нива» писал: «В настоящее время Ново-Николаевский поселок по виду представляет нечто хотя и весьма грандиозное, но в то же время все еще хаотическое: у центра густо сплотились дома, по большей части неотстроенные, не имеющие ни ограды, ни надворных построек; от центра правильными улицами тянутся по бору к северу и югу разбросанные дома на большое пространство. Что будет с поселком дальше — неизвестно, а пока он растянулся к югу, вверх по р. Оби, версты на три, к северу поселок ушел за станцию Обь, находящуюся от центра поселка в трех верстах, но тут поселок еще не кончается, так как расчищенная улица далеко уходит от последних домов. Все это пока еще строится, и теперь совершенно законченными и вполне приличными можно считать только здания железной дороги близ станции Обь».

Как видим, столичный корреспондент задавался вопросом — что будет дальше с поселком? Он, по всей вероятности, и предположить не мог, что здесь будет город, порожденный народной волей и энергией.

И вот уже на календаре 1902 год.



Совсем мало времени минуло с тех пор, как после торжественного молебна началось строительство железнодорожного моста через Обь, а уже летят по рельсам, пересекая реку и обозначая свой ход бойкими дымами, быстрые паровозы, курсирующие по Великому Сибирскому рельсовому пути, именно так называли тогда Транссибирскую магистраль. Не по дням, а по часам рос город. Заводил ремесла и торговлю, ставил дома и корчевал последние пни на прямой и ровной просеке, которая легла посреди дикого бора, как стрела, обозначив главную улицу — Николаевский (ныне Красный) проспект.

Бойкий, расторопный мастеровой народ селился на берегу Оби в юном городе, который притягивал к себе, словно магнит, людей особых, с душевной искрой, умевших собственными руками и трудами устраивать жизнь «на лучших началах», как принято было тогда говорить.

Почетное и достойное место среди этих людей занимает Павла Алексеевна Смирнова.

Родилась Павла Алексеевна в 1869 году, в семье священника. Это значит, что выросла и воспитывалась она, прежде всего, в семье православной, с ее вечными ценностями, воплощенными в Божеских заповедях. В 1884 году окончила Самарское епархиальное женское училище и получила звание домашней учительницы. Ей было за тридцать, когда она, вместе со строителями из Самары, приехала в Ново-Николаевск и открыла частное учебное заведение — двухклассную начальную школу. При школе Павла Алексеевна сразу же организовала два кружка — хоровой и музыкальный. Будто крепкий зеленый росток поднялся на холодной сибирской земле, а затем стал быстро крепнуть, набираясь сил: 7 мая 1905 Павла Алексеевна открывает женское училище 2-го разряда, в нем четыре класса; в 1907 году появляется пятый класс, и в том же году училище преобразовывается в женское учебное заведение 1-го разряда. Еще через год открывается шестой класс, а еще через год — седьмой. И сразу же Павла Алексеевна начинает хлопотать об открытии восьмого класса — педагогического. Дело в том, что, согласно существовавшим тогда правилам, после окончания седьмого класса гимназистки получали аттестат учительницы начальной школы, а после окончания восьмого — домашней учительницы. Последнее, как бы сказали сегодня, было уже намного престижней. Павла Алексеевна, как видно из обширной переписки и просьб, стремилась к созданию полноценной, классической гимназии.

Второго августа 1910 года попечитель Западно-Сибирского учебного округа издает приказ о том, что частное учебное заведение, учрежденное госпожой П.А. Смирновой, становится женской гимназией Министерства народного просвещения. Этому долгожданному приказу предшествовала целая история. Для того чтобы получать финансовую и иную помощь как от министерства, так и от местных властей, учебное заведение должно было иметь статус казенного. И Павла Алексеевна совершает поступок, который вызывает искреннее восхищение — она передает свое детище городу. Даже не задумываясь о личной выгоде, она делает все, чтобы ее гимназия процветала.

И хотя до полного процветания было еще далеко, дело значительно улучшилось. Теперь руководство всеми финансовыми и хозяйственными вопросами осуществлял Попечительный совет, в который входили самые уважаемые горожане. А насколько серьезно относились к этому вопросу, можно судить по документам.

«Милостивый Государь, Михаил Павлович [1]!»

Господин Попечитель Западно-Сибирского Учебного Округа 3 августа сего года (1910. — М. Ц.) уведомил, что частному женскому учебному заведению 1 разряда П. А. Смирновой предоставлены права казенных гимназий, и вместе с тем, принимая во внимание, что Новониколаевское Городское Общественное Управление изъявило свое согласие оказывать вышеупомянутой гимназии весьма существенную в финансовом отношении поддержку, предложил Новониколаевской Городской Думе приступить к избранию членов Попечительного Совета правительственной женской гимназии в гор. Ново-Николаевске, учрежденной П. А. Смирновой, по соглашению с сей последней.

Зная Ваше просвещенное внимание к нуждам образования и Вашу отзывчивость, Городская Управа и П. А. Смирнова надеются, что Вы, Милостивый Государь, не откажете принять на себя звание Члена Попечительного Совета при женской гимназии.

Ввиду открытия с 1-го сентября занятий в гимназии, Городская Управа почтеннейше просит Вас заявить о своем согласии по возможности в непродолжительное время...»

Далее следует подробная выписка из Закона Российской Империи (Том XI, часть 1-я, статья 2689), в которой, в частности, говорится о правах и обязанностях Попечительного Совета:

«Права и обязанности Попечительного Совета суть следующие: 1 — выборы Попечительницы и Начальницы; 2 — изыскание средств к материальному улучшению гимназии и прогимназии; 3 — составление ежегодной сметы расходов по гимназии и прогимназии; 4 — определение жалованья Начальнице и прочим должностным лицам; 5 — наблюдение за правильным употреблением училищных сумм; 6 — определение размера платы за ученье; ...8 — покровительство и пособие беднейшим ученицам, отличающимся прилежанием и благонаравием; 9 — попечение в установлении и постоянном сохранении в гимназии и прогимназии надлежащего порядка и благоустройства».

Подписано это письмо было городским головой Владимиром Ипполитовичем Жернаковым.

Сам стиль письма и подпись первого лица в городе — все это свидетельствует о не показном, а по-настоящему искреннем уважении.

Стоит ли после этого удивляться, что Михаил Павлович Востоков дал свое согласие стать членом Попечительного Совета.

В октябре того же 1910 года Павла Алексеевна Смирнова получает из Городской Управы письмо следующего содержания:

«Городская Управа уведомляет Вас, Милостивая Государыня, что отношениям г. Попечителя Западно-Сибирского Учебного Округа от 11 октября сего года утверждены членами Попечительного Совета при Вашей гимназии на трехлетие с 10 сентября с. г. следующие лица:

Екатерина Николаевна Вставская, Калисфения Платоновна Лапшина, Елена Иосифовна Питон, Алексей Григорьевич Беседин, Михаил Павлович Востоков и Сергей Владимирович Горохов».

И далее приписка: «Вместе с тем просим Вас пожаловать завтра в 1 час дня в помещение гор. Управы на заседание Попечительного Совета».

Приписка эта тоже красноречива. Первое заседание Попечительного Совета проводилось не где-нибудь, а в Городской Управе, что также свидетельствовало о важности события.

Чуть позднее в Попечительный Совет вошли Александр Михайлович Луканин и Митрофан Алексеевич Рунин, а в последующие годы его членами были Андрей Дмитриевич Крячков и Николай Михайлович Тихомиров — люди знаковые для истории Ново-Николаевска.

Председателем Попечительного Совета был избран Михаил Павлович Востоков. И, забегая вперед, скажем, что Попечительный Совет под его руководством сделал очень многое.

А Павле Алексеевне пришлось еще раз, уже в 1912 году подтверждать, что она передает свою гимназию городу — бюрократические зигзаги порою не имеют логического объяснения, о чем свидетельствует письмо городского головы Владимира Ипполитовича Жернакова, направленное в декабре 1912 года:

«Г-же П. А. Смирновой

В бытность в Петербурге г. Попечителя округа и М. П. Востокова обсуждался вопрос о внесении в Государственную роспись сумм на постройку здания для женской гимназии в городе Ново-Николаевске и приняли к тому заключение, что учрежденную Вами гимназию нужно официально считать городской, управляемой Попечительным Советом, а для этого, между прочим, нужно от Вас письменное заявление о том, что Вы согласны продать городу инвентарь за такую-то сумму и на таких-то условиях, так как продолжать содержать свою частную





женскую гимназию из-за недостатка средств Вы далее не имеете возможности. Город же со своей стороны будет просить Вас остаться начальницей гимназии, получая обоюдно обусловленный оклад жалованья.

Доводя об этом до Вашего сведения, покорнейше прошу не отказать в присылке Вашего заявления».

Возникает резонный вопрос: но ведь Попечительный Совет уже действует, а от «частного владения» гимназией Павла Алексеевна уже отказалась — зачем понадобилась еще одна бумага? Неизвестно.

Ответ Павлы Алексеевны разыскать не удалось, но совсем не трудно предположить, что таковой был написан, ведь цена этого формального ответа была поистине сказочной — собственное здание гимназии. Но, увы, оно так и не появилось. Впрочем, подробнее об этом расскажем в ином месте...

А город жил...

С утра до вечера ползут по улицам бесконечные вереницы ломовых извозчиков. На длинных телегах — кирпичи и доски, железо и глина, неошкуренные бревна и жерди, а то и готовые уже навесные ворота и вычурно вырезанные наличники. Строится город, строится, без всякой оглядки, и расширяет свои границы от обского берега на три стороны света.

Теперь весь мир стал ближе. И вот уже в местной газете публикуют «Зимнее расписание прихода и отхода пассажирских поездов со станции Ново-Николаевск Сибирской железной дороги по местному времени». И значилось в том «Расписании...», что «На Россию, по четвергам, субботам и понедельникам, следует поезд № 1 скорый и прибытие его в 12 часов 59 минут, стоянка 15 минут, а отходит в 1 час 14 минут».

Сел в первый скорый — и отправляйся мир посмотреть.

Следуя обратно, в Сибирь, этот же поезд, но уже под № 2, доставлял в наш город самую разнообразную публику, в которой ярко и живописно были представлены все человеческие типы, какие только имелись на то время в Российской Империи: от жуликов и шулеров всевозможных мастей до знаковых личностей, составлявших гордость России.

Очень полюбился молодой город всяческим гастролерам. Иные из них просто умиляли своей изобретательностью. Впрочем, чего уж голословно рассказывать, вот вам зазывное объявление с первой страницы новониколаевской газеты «Народная летопись»:

«В понедельник 3-го и в среду 5-го апреля 1906 года

В общественном собрании придворный артист шаха персидского, французский престижизитатор и магнетизер

Роберт Сименс

при участии французской монтвизаторши Нелли Сименс будут иметь честь дать только два сеанса, состоящих в трех разнообразных отделениях физико-оптических опытов, невиданных доселе.

Прошу не сравнивать с подобными престижизитаторами и индийскими факирами, которых вам пришлось недавно видеть, г. Роберт Сименс имеет более пяти сот (! — М. Щ.) аттестатов от всех государств, также и подарки за свои научные опыты, которые производят громадный фурор. Билеты продаются в Общественном собрании. Подробности в афишах».

Здесь же и портрет «придворного артиста шаха персидского». Вглядываешься, и начинает одолевать сомнение: шибко уж обличием своим «французский престижизитатор и магнетизер» смахивает на выходца из Рязанской губернии.

2. «Свято и нерушимо, в чем и подписуемся...»

В 1916 году гимназия окончательно получила свое полное наименование. В связи с тем, что в городе к этому времени была открыта еще одна женская гимназия, последовало обращение к Попечителю Западно-Сибирского учебного округа:



*«Его Превосходительству,
Господину Попечителю Западно-Сибирского учебного округа
Предоставляя при сем выписку из журнала от 4 сего мая (1916 г. — М. Щ.) за
№ 1-м Попечительный Совет Ново-Николаевской женской гимназии имеет честь
покорнейше просить Ваше Превосходительство на основаниях, изложенных в
вышеупомянутом журнале, присвоить существующей в городе Ново-Николаевске
женской гимназии наименование: Первая Ново-Николаевская женская гимназия
Министерства народного просвещения».*

Наименование это было присвоено, и, надо полагать, вызывало законную гордость не только начальницы гимназии, но и всех, кто служил в гимназии, и самих гимназисток. А как же — первая!

Надо сказать и о том, что гимназия росла очень быстро, даже стремительно, столь же стремительно, как и сам город. Но когда знакомишься с документами, невольно думаешь, что «шапка», которую возложила на свою голову Павла Алексеевна, была отнюдь не легкой. И каждая ступень в быстром росте ее детища одолевалась с большими трудами. Не только связанными с организацией учебы воспитанниц, но и с делами хозяйственными, прежде всего, с отсутствием собственных помещений. Таковые приходилось арендовать у известного новониколаевского купца Федора Даниловича Маштакова, который одним из первых открыл в городе собственную торговлю и построил на Николаевском проспекте первый каменный магазин. Интересная деталь: договор об аренде с Маштаковым заключала не госпожа Смирнова, а Городское Общественное Управление, что свидетельствует лишь об одном: образованию в Ново-Николаевске придавалось очень важное значение, и считалось оно, даже если учебное заведение было частным, делом общественным.

Договор стоит того, чтобы его хотя бы частично процитировать:

«1908 года, июля 16 дня мы, нижеподписавшиеся Ново-Николаевское Городское Общественное Управление и Ново-Николаевский купец Федор Данилович Маштаков, заключили настоящее условие в нижеследующем:

1. Я, Маштаков, возобновил с Городским Управлением аренду принадлежащего мне двух этажного полукаменного дома с двором и всеми надворными постройками, оставляя заднюю часть двора для склада леса, находящегося в гор. Ново-Николаевске по Асинкритовской [2] улице в квартале 27, участки 18 и 19, под квартиру частной женской гимназии, сроком с 1 мая за плату по две тысячи пятьсот руб. в год, сроком аренды считается с 1 мая 1908 г. по 1-е мая 1911 года.

2. Я, Маштаков, в строительный сезон сего года обязан отремонтировать и приспособить отдаваемые в аренду здания по указанию городского управления или командированных им агентов и сдать их в полном исправном виде.

4. В случае, если мною, Маштаковым, к ремонту не будет приступлено в недельный срок со дня получения требования, Городское Управление имеет право произвести его за свой счет.

5. Я, Маштаков, занимать двор и прилегающие части улицы материалами либо какими другими предметами, кроме необходимых для ремонта, не имею права и двор, за исключением части, сказанной в пункте 1-м, предоставляю в полное пользование Городскому Управлению.

10. В случае нарушения настоящего договора сторона, нарушившая таковой, обязана уплатить другой неустойку в 2000 руб.

11. Подлинный договор хранится в Городском Управлении, а Маштакову выдается засвидетельствованная копия.

13. Настоящий договор обязуемся хранить свято и нерушимо, в чем подписуемся».

Ремонт здания стал в дальнейшем предметом долгой переписки. Правда, произошло это через несколько лет, когда Попечительный Совет женской гимназии забеспокоился о том, что в здании завелся грибок, пошли трещины, а «при осмотре обнаружен сильный прогиб потолочных балок первого этажа, а также найдено несколько подгнивших половых досок 2-го этажа», как сказано было в акте, который подписали М. П. Востоков (обязанности председателя Попечительного Совета Михаил Павлович исполнял истово!), А. Г. Беседин, Ф. Ф. Рамман (городской архитектор),



техник И. О. Клементьев и городской полицейский чиновник Воробьев. О беспокойстве своем известили официальным письмом Ф. Д. Маштакова. Но, как говорится, не на того напали. Федор Данилович, матерый купчина, умевший торговаться и свято берегущий свою выгоду, ответное письмо даже сам подписывать не стал, поручив это дело по доверенности своему агенту. Текст же письма был краток и неуступчив:

«В Попечительный Совет Ново-Николаевской Женской Гимназии, учрежденной П. А. Смирновой.

На сообщение от 1 июня сего года имею честь заявить Совету, что прежде, чем помещение было принято, меня договором обязали приспособить здание к специальному его назначению, что стоило мне больших затрат. Согласно договора, я производил крупный ремонт немедленно по требованию Попечительного Совета и Начальницы Гимназии; кроме того, по договору, окраска полов должна быть произведена спустя два года, а я по желанию Совета сделал через год; словом, выполнил все то, что от меня требовалось, строго выполняя условие по договору, и в будущем имею выполнять. Совет говорит о трещине и грибке, но ведь это естественно, что дом, в котором есть жильцы, должен поддерживаться ремонтом, что я никогда не отказывался и не отказываюсь. Поэтому с моей стороны нет нарушения договора, если же Совет оставляет помещение, то согласно договору, я имею просить неустойку и лишь тогда можно считать договор уничтоженным».

Иными словами, Федор Данилович сообщил: не нравится — съезжайте, но неустойку — отдайте!

А куда съезжать, если помещений в строящемся городе катастрофически не хватало, вопрос крыши над головой был вопросом очень и очень серьезным.

И все-таки в 1913 году гимназия «переехала». Барнаульский купец Иван Тимофеевич Суриков сдал в аренду два помещения. Одно из них — на углу улиц Кузнецкой [3] и Гондатти [4]. Дом этот был построен в начале двадцатого века, построен был качественно и с размахом. Третий этаж имел балкон с ажурной металлической решеткой. К ней была приделана вывеска: «Ново-Николаевская женская гимназия». На крыше имелся красивый парапет с фигурными лепными вазами. Верхние части печных и водопроводных труб были сделаны из фигурной жести.

Своеобразным «путеводителем» по зданию гимназии может служить один печальный документ, помеченный 1919 годом. В это время в городе шла масштабная реквизиция помещений для военных нужд. Не избежал этой участи и дом, где располагалась гимназия. Впрочем, лучше процитировать выдержки из самого документа. Следует лишь пояснить, что в акте подробно перечислялось состояние тех или иных помещений, что мы опускаем, нам важен лишь перечень. Итак:

«АКТ

Город Новониколаевск 2 мая 1919 года.

Комиссия в составе постоянного члена реквизиционной комиссии подпоручика Тимошенко, квартирмейстера 5-й польской стрелковой дивизии поручика Вродевского, заведующего хозяйственной частью 1-й женской гимназии священника Рябова, городского техника Пытзинского осматривала трехэтажное здание 1-й женской гимназии, находящееся на углу Кузнецкой и Гондатти улиц, на предмет реквизиции и одновременной передачи его частям польской армии, при чем при осмотре подлежащих реквизиции и передаче помещений выяснила следующее:

1-й каменный этаж

- 1. Комната врача в 4 окна...*
- 2. Раздевальная в 3 окна...*
- 3. Комната 1-го параллельного [5] класса. Пол деревянный, крашенный, прочный. Побелка стен и потолка чистая...*
- 4. Кухня. В кухне имеется один насос «Ниагара» и 4 водопроводные трубы. Русская печь, очаг с составной чугунной плитой...*
- 5. Часть столовой в одно окно отделена перегородкой...*
- 6. Половина коридора...*
- 7. Внутренняя лестница на второй этаж. Лестница прочная...*



II-й деревянный этаж

1. Кабинет научных пособий по естественной истории...
2. Комната 5-го класса в три окна...
3. Комната 4-го класса в четыре окна...
4. Комната 3-го класса в три окна...
5. Комната 6-го класса в три окна...
6. Учительская комната в два окна и библиотека...
7. Лестничная клетка парадного хода...

III-й деревянный этаж

1. Коридор...
2. Комната 1-го параллельного класса в три окна...
3. Комната 1-го основного класса в три окна...
4. Комната 7-го класса в три окна...
5. Комната 4-го класса в три окна...
6. Зало...
7. Комната 5-го класса в четыре окна...
8. Внутренняя лестничная клетка. Ступени прочные...

ПРИМЕЧАНИЕ:

В настоящем акте не указано, что во всех комнатах имеются в целости печи, при них: винтовые чугунные герметические затворки с чугунными шипиками и медные отдушники, а на кухне имеется бак железный, заслонка и вьюшки, кроме того, во время составления акта разбито солдатами стекло в оконных рамах: на кухне два, в параллельном классе одно, в канцелярии одно, в коридоре одно и в уборной одно.

Вот мы и прошлись по Первой Ново-Николаевской женской гимназии. Прошлись, правда, не в самый радостный момент ее истории... Там, где раньше звучал веселый девичий смех, по коридорам и классным комнатам загрохотали тяжелые сапоги польских легионеров, а в самом здании, пусть и ненадолго, поселился тяжелый, неустрашимый дух казармы...

А ведь Попечительный Совет во все предыдущие годы неустанно хлопотал о собственном помещении для гимназии, отправляя множество писем в Ново-Николаевскую городскую управу, в Министерство Народного Просвещения, Попечителю Западно-Сибирского учебного округа... И дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Да только грянула Первая мировая война, затем революция, Гражданская война, но и в это время хлопоты о собственном помещении не прекратились. Последний документ, посвященный этим многолетним усилиям, датируется февралем 1919 года — письмо от Попечительного Совета в Ново-Николаевскую городскую управу. Письмо очень большое, подробное, с полной хронологией всех мытарств, поэтому приведу его в сокращенном виде.

«Двадцать четвертого июля тысяча девятьсот восьмого года состоялось постановление Ново-Николаевской городской Думы... об отводе участка земли для постройки собственного здания женской гимназии...»

3 мая 1910 года Городская Дума вновь рассмотрела вопрос о постройке собственного здания для женской гимназии и постановила: отвести участок земли; единовременно ассигновать из средств города на постройку десять тысяч рублей...»

Далее перечисляются с указанием дат все прошения, просьбы, ходатайства и, как в хорошей бухгалтерии, подводятся итоги:

«Из сообщенных выше данных следует, что с 24-го июля 1908 года по 6-е июля 1913 года Ново-Николаевское Городское Общественное Управление настойчиво ходатайствовало пред Попечителем Западно-Сибирского Учебного Округа и пред Министерством Народного Просвещения... и со своей стороны назначило: под постройку этой гимназии участок земли в центральной части города, в квартале 47, по Асинкритовской улице, и единовременное пособие на означенную постройку в десять тысяч рублей.

В дальнейшем, с началом мировой войны, означенный вопрос отошел на задний план и новых ходатайств со стороны города, по известным причинам, не возбуждалось.



В настоящее время, в силу особенно неблагоприятных условий, создавшихся для Ново-Николаевской первой женской гимназии, основанной П. А. Смирновой, в отношении помещения, вопрос о собственном здании становится вновь обязательно необходимым».

Напомним еще раз — на календаре 1919 год. И «обязательно необходимый» вопрос, конечно, решен не будет.

А вот здание на углу улиц Кузнецкой и Гондатти простоит еще долго. В нем будет располагаться вечерняя школа рабочей молодежи. В семидесятых годах прошлого века здесь случится пожар, но здание устоит. В девяностых годах полыхнет новый пожар, и обгорелый остов будет долго пугать горожан своим жутким видом.

Правда, со временем здание восстановят, появится здесь странное кафе с не менее странным названием — «У Николая» (кто таков и с чем его едят — неведомо). Казалось бы, радоваться надо. Да только стою я у этого новодела, ищу на стенах хотя бы памятную табличку и не нахожу. И молчит душа, не встрепенется даже. Хотя... Может, и не стоит ворчать — хорошо, что хоть так закончилось, могло ведь быть значительно хуже, и торчала бы сейчас на этом месте аляповатая высотка времен первичного накопления капитала.

Вот уж воистину: что имеем — не храним, потерявши — плачем...

А город жил...

И самые душевные, самые добрые слова о нем написал в начале двадцатого века отец Митрофан Сребрянский.

Полковой священник 51-го драгунского Черниговского полка следовал в 1904 году на Дальний Восток, на русско-японскую войну. В Ново-Николаевске воинский эшелон сделал остановку. И вот какие впечатления оставил о нашем городе отец Митрофан в своем знаменитом дневнике [6]...

«24 июня.

Утро, 6 часов; наскоро оделся, сейчас переезжаем широкую и глубокую сибирскую реку Обь по мосту немного меньше волжского; на другой стороне станция Обь и новый город Николаевск. На станции Кривошеково простояли лишних два часа, так как в Оби собралось уже восемь эшелонов, и для нас не было места; накопец, тронулись. Переехали реку Обь... Река очень оживлена, много пароходов и барж; видимо, река Обь — хорошая водная торговая артерия, да еще на самом берегу — станция Обь. Соединение железного и водного путей сделало то, что здесь образовался торговый пункт — теперь уже город Ново-Николаевск, или, как здесь его зовут, Никольск. Девять лет назад на месте этого города была непроходимая тайга с дикими зверями, ни одного дома буквально, а теперь большой торговый город с сорока тысячами жителей, чудным собором, еще тремя церквями, прекрасными школами, магазинами... прямо по-американски. Город очень живописно расположен на крутом берегу Оби. Приехали, выгрузились; здесь стоим двое суток, путей запасных мало, а собралось уже десять эшелонов...

...Идет подполковник 52-го Нежинского драгунского полка и говорит: “Советую пойти в баню, здесь рядом казенная, хорошая, вот удовольствие-то!” Действительно, прекрасная баня, и мы вымылись отлично. Вообще на этом пункте построено несколько огромных каменных зданий в два и три этажа каждое; в них находятся: офицерские номера, солдатское помещение, столовые, офицерская и солдатская бани, лазарет, прачечная — все это даром, для отдыха и чистки проходящих войск! Спасибо великое организаторам сказали мы, да все, конечно, говорят то же. Около пристани стоял пароход — казенный, на который наши песенники, генерал, офицеры и поехали кататься по Оби; это «водяные», то есть чиновники по водной части, оказали любезность: пригласили наших покататься на их пароходе... И понеслась удалая черниговская песня в Сибири над водами быстрой Оби!

... Да, особенно поет войско русское: грянет ли хором с бубнами песню военную — заликует друг, затрепещет враг; запоют ли хором “Отче наш” — слышит Бог его веру и молитву сердечную! Люблю я своих воинов, с малолетства стал любить их, а теперь в восхищении от их терпения, безропотности, даже радости, что вот-де и они “сподобились” постоять за Русь-матушку, за царя-батюшку, за веру православную — это их слава!

25 июня.

Утро; стоим в Оби. Услышал звон в железнодорожной церкви и поспешил к богослужению. К обеду купил себе пару копченых стерлядей за двадцать пять копеек; не поверил, когда сказали цену, ведь это вкуснее сига, впрочем, стерляди в Оби сколько угодно, потому и дешево».

3. «Имеет честь покорнейше просить...»

А теперь давайте обратимся к делам бытовым и насущным. Их решать Павле Алексеевне Смирновой приходилось ежедневно — деньги, сметы, расчеты, доверенности... И ни от одной из этих бумаг нельзя было отмахнуться или отложить до лучших времен, ведь за все требовалось платить, потому что гимназия, как и всякое иное учебное заведение, нуждалось во многом. Возьмем, к примеру, воду. И вот вам — бумажка, написанная тяжелыми каракулями, но вполне разборчиво:

«Счет

1-й женской гимназии от водовоза Михаила Павлова Гутовских за ноябрь месяц 1908 г. Доставлено в первое здание воды 54 бочки по 6 рублей за бочку — 324 р. Во второе здание доставлено 26 бочек по 8 р. — 208 р. Всего следует получить 532 р.»

А вот Сибирское Торгово-Промышленное Товарищество тоже выкладывает счет и требует за бумагу, бязь, муслин, иголки и прочее 129 рублей 07 копеек.

Но особенно умиляет казенное письмо из Канцелярии Попечителя Западно-Сибирского учебного округа, которая *«по распоряжению начальства, имеет честь покорнейше просить Вас, Милостивый Государь (письмо отправлено на имя председателя Попечительного Совета. — М. Щ.), сделать распоряжение о высылке в Томское Губернское Казначейство для зачисления на депозиты Управления Западно-Сибирского учебного округа семи рублей за высланные... гимназии циркуляры по Западно-Сибирскому учебному округу».*

Вот так, господа дорогие! Мы вам — циркуляр, как вы жить и трудиться должны, а вы нам — денежки за этот циркуляр, не зря же мы старались! Что и говорить, во все времена российское чиновничество было изобретательно сверх меры, вызывая искреннее удивление даже у потомков.

Хозяйственная переписка гимназии со многими учреждениями, поставщиками, торговцами, хозяевами помещений и прочая, и прочая, убеждает в одном — гимназия в финансовом отношении всегда жила скромно и трудно. Больших и легких денег здесь никогда не было, а экономить приходилось буквально на всем, в том числе и на жалованье работников.

В 1912 году законоучитель гимназии пишет очень красноречивое письмо, которое, пожалуй, ни в каких комментариях не нуждается. Вот оно, дословно:

«В Попечительный Совет Ново-Николаевской женской гимназии.

Наблюдаю в течение почти двух лет за работой библиотекаря нашей гимназии учительницы г. Никольской по выдаче ученицам и приеме книг, по составлению каталога книг и вообще по улучшению библиотеки и по приведению ее в должный порядок, я всегда краснел от стыда за несоответствие вознаграждения за ее труд — 120 р. в год. За последнее же время, когда г. Никольская вместо летнего отпуска проводит вот уже около месяца не только дни, но иногда чуть ли не ночи за работой по библиотеке (подобное замечалось и в прошлом году), я не могу не доложить Попечительному Совету Гимназии, что плата г. Никольской — как библиотекарю — за ее тяжелый, беспокойный и ответственный труд, безусловно мала, а потому нахожу справедливым просить Попечительный Совет выдать теперь г. Никольской единовременное вознаграждение в размере не менее 70—80 рублей...»

К слову сказать, сохранилась справка, отправленная Попечителю Западно-Сибирского учебного округа, из которой можно узнать, какие периодические издания выписывала гимназия для своей библиотеки. Справка помечена 1916 годом, и речь в ней идет о подписке на будущий, 1917 год. Необходимо учитывать, что в это время, в связи с Первой мировой войной, приходилось экономить и на библиотечной подписке. Перечень периодических изданий утверждался Педагогическим Советом. И вот





что было утверждено на 1917 год: журналы «Законоучитель», «Русский паломник», «Правительственный Вестник», «Журнал Министерства Народного Просвещения», «Русская школа», «Вестник воспитания», «Естествознание и география», «Природа», «Голос минувшего», «Бюллетень литературы и жизни», «Вестник Европы».

Библиотека женской гимназии была одной из лучших в городе.

Но экономия периода Первой мировой войны и дороговизна товаров были еще только предвестниками более серьезных испытаний. В Гражданскую войну положение ухудшилось неимоверно. Невозможно без душевной боли читать два письма, направленные в Правление Союза Кредитных Товариществ и в Администрацию Ново-Николаевской Городской Думы. Текст этих писем примерно одинаков, поэтому приведем, с сокращениями, тот, который был направлен в Городскую думу.

«1-я женская гимназия, основанная П. А. Смирновой в 1902 году и получившая в 1910 году... права казенных гимназий, до сих пор содержалась исключительно на средства Попечительного Совета, пользуясь ничтожными субсидиями Городской Думы (2500 рублей) и казны (2500 рублей). До войны расходный бюджет гимназии не превышал 40 тысяч при плате за обучение во всех классах, за исключением 8-го, в размере 60 р. (в последнем 160 р.).

Попечительный Совет имел возможность не только оплачивать весь служащий персонал, производить необходимый ремонт и нести все хозяйственные расходы, но и снабжать гимназию всеми необходимыми общеобразовательными пособиями, пополнять физический кабинет, фундаментальную и ученическую библиотеки. В настоящее время физический кабинет и библиотека — лучшие в городе.

Увеличивающаяся со дня на день дороговизна жизни повлекла за собой увеличение расходов на хозяйственные нужды, оплату труда служащим и ставит все большие и большие затруднения Попечительному Совету в обслуживании гимназии. С одной стороны он вынужден был возможно сократить расходы на свои хозяйственные нужды, прекратить пополнение кабинета и библиотеки, с другой же повысить плату за обучение, доведя ее в нынешнем году до 140 р. во всех классах. Несмотря на это, он все же не мог дать справедливое удовлетворение своему педагогическому персоналу, увеличив ему заработную плату, и заставив вести полуголдное существование...

...В виду вышеизложенного Попечительный Совет и обращается к Городской Думе с просьбой придти на помощь в ассигновании возможной субсидии, чтобы дать возможность обслуживать гимназию, иначе предстоит опасность ликвидации гимназии и оставления за бортом 400 детей, по преимуществу городского населения...

...Попечительный Совет льстит себя надеждой, что Городская Дума не откажет в своем материальном содействии».

Напрасно члены Попечительного Совета «льстили себя надеждой». Но самое парадоксальное заключается не в этом, а совсем в ином — 400 детей «за бортом» не остались. Гимназия продолжала действовать, в ней шли занятия, и не иссякал поток тех, кто желал учиться.

В это время в Ново-Николаевске оказалось много беженцев из Центральной России, из поволжских губерний. По справкам, с которыми обращались для приема в гимназию, можно было изучать географию бывшей Российской Империи. Иногда, в суматохе эвакуации, никаких справок и документов захватить не удавалось, и тогда девочек принимали, заменяя все казенные бумаги заверениями родителей, которые к письменному заявлению прилагали своеобразное «свидетельство» — «свидетельствую, что дочь моя закончила такой-то класс такой-то гимназии».

А что было делать? Приходилось верить на слово.

Но среди множества заявлений о приеме в гимназию того времени меня поразило, пожалуй, одно из самых последних, помеченное октябрём 1919 года.

*«В педагогический Совет 1-й Ново-Николаевской женской гимназии.
Крестьянки с. Верх-Ирменского той же волости Новониколаевского уезда
Ольги Алексеевны Хухломиной
Прошение*

Покорнейше прошу Педагогический Совет допустить мою дочь от первого брака Капитолину Латину к испытанию знания для поступления в первый класс и

в случае удовлетворительного результата принять ее в Вашу гимназию. Своевременно явиться не могла ввиду большевистского восстания в деревне. Покорнейшая просьба не отказать. При сем прилагаю метрическое свидетельство за № 44 и свидетельство об оспопрививании за № 45.

Н-Николаевск.

Октября 13 дня 1919 года.

Ольга Хухломина».

Когда я прочитал этот документ в первый раз, невольно подумал: «Лучше бы тебя, милая Капочка, не приняли!» Ведь ни маленькая девочка, ни ее мама не могли знать, что всего лишь через два месяца Новониколаевск погрузится в страшный хаос эпидемии тифа, когда неубранные трупы будут лежать на улицах и оплакивать и заматывать их будет лишь холодная метель. Уцелеть, не заразиться смертельной болезнью в ту зиму было практически невозможно.

«Лучше бы тебя не приняли!»

Но, когда уже переписывал этот документ, разглядывая его более тщательно, увидел едва различимую, карандашом написанную резолюцию: «Принять 1 класс. 14 окт.»

А может, Бог все-таки смилостивился и уберег Капитолину Лапину?

А город жил...

Одно за другим вставали каменные здания, гудели паровые машины на мельницах и лесопильных заводах; появлялись, словно грибы после дождя, магазины и магазинчики, лавки и лавочки, рестораны и трактиры, гостиницы и постоялые дворы. Любое нужное ремесло находило в городе свое применение, и было таких ремесел изобильное количество: столярное, литейное, жестяное, слесарное, кузнечное, экипажное, колбасное, кондитерское, сапожное, кожевенное, переплетное, портняжное, пекарное, беловшейное, шляпное, шапочное, парикмахерское...

Жить новониколаевцы старались на свой лад, имели собственную гордость и столицам не подражали, а соперничали с ними, как, например, было с кинематографом — он появился здесь сразу же после Москвы и Санкт-Петербурга. Наличие железнодорожной станция и паровой пристани, через которые переваливались на восток и на запад миллионы пудов сибирского хлеба, способствовало небывалому строительству мельниц, и новониколаевские мукомолы уже снисходительно относились к наградам Нижегородской ярмарки: им куда более приятно было получить золотую медаль и почетный крест из Брюсселя, с международной выставки. Отсюда же отправлялись на запад специальные вагоны-ледники со знаменитым сибирским маслом, они добегали до Ревеля, а дальше, морским путем, продолжали путешествие до Англии и Дании, где привередливые европейцы лишь прищелкивали языками, ощущая оригинальный вкус, который давало разнотравье Барабинской степи...

Все в городе кипело, бурлило и не останавливалось ни на единый миг.

В магазинах купцов Фоменко, Маштакова и Жернакова торговали самым разным товаром; в электротeatре «Товарищество» на Базарной площади ставили вторую часть «Отверженных» Виктора Гюго; в Коммерческом клубе шли с огромным успехом концерты знаменитой певицы Александры Ильмановой; врач Иволин лечил болезни глазные, женские, хирургические и внутренние; госпожа Хавкина распродавала по фабричной цене случайно приобретенные граммофон и пластинки; в Мещанском обществе отказали в причислении в мещане девице Спирюковой, 37 лет, а у господина Косолапова, проживавшего на Спасской улице, похищено было со двора дома разного рода белье в мерзлом виде на сумму 25 рублей и покраденное не разыскано; на складе лесопильного завода предлагали не только пиленные материалы и строевые бревна всех размеров, но и носки — брак по пониженной цене, а также сосновые и березовые квартирные дрова...

Всюду — жизнь в городе, разноликая, как и судьба человеческая.





4. «Глаза, проникающие в душу...»

«Среднего роста, стройная, в синем форменном платье с рюшами. При виде гимназисток Павла Алексеевна улыбалась, на реверанс отвечала наклоном головы, беседу вела тихим, мягким голосом», — вот такой запомнилась Павла Алексеевна Смирнова гимназистке Э. З. Шамовской, которая со временем станет известным в городе врачом-невропатологом.

А вот еще одно свидетельство: «Удивительны были в ней всегда прямая осанка, добрые, внимательные глаза, проникающие в душу, голос, который она никогда не повышала».

И вот, пожалуй, все, если не считать воспоминаний З. М. Сиряченко, о которых речь впереди.

Обидно...

Перелистав и прочитав сотни страниц документов, писем, прошений, циркуляров, актов, где едва ли не в каждом втором упоминается ее фамилия, я так и не смог найти подробных сведений о начальнице Первой Ново-Николаевской гимназии. Казалось бы, она присутствует везде, в самых мелких нюансах гимназической жизни — и одновременно остается в тени.

Но сейчас мне почему-то думается, что в этом есть своя закономерность. Как человек, который полностью отдается делу своей жизни и служит ему не за страх, а за совесть, Павла Алексеевна лишена была болезненного честолюбия. Самым важным для нее оставалось всегда лишь одно — ее гимназия, а все остальное, похоже, имело второстепенное значение.

И все-таки документы помогают нам составить своеобразный «портрет» этой незаурядной женщины, помогают почувствовать ее мудрость, упорство и немалый дипломатический такт. Поэтому обратимся к документам, которые порою бывают очень красноречивыми.

В 1916 году в департамент народного просвещения была представлена так называемая «опросная карточка», своего рода официальный документ гимназии. Его стоит процитировать.

«1. Название среднего учебного заведения.

— Ново-Николаевская Первая женская гимназия ведомства Министерства Народного Просвещения.

2. Местонахождение.

— Западно-Сибирский учебный округ, Томская губерния, город Ново-Николаевск.

3. На основании какого устава, штата и закона существует.

— Частное учебное заведение 1 разряда, учрежденное П. А. Смирновой, преобразовано в гимназию 1 августа 1910 года на точном основании Положения 24 мая 1870 года, ныне действует по закону 3 июля 1916 года.

4. Помещение.

— Помещение наемное с платою по 5 000 рублей в год за счет сумм, полученных за правоучение.

5. Источники содержания.

— Из казны: по параграфу 7 статьи 6 — 2 500 рублей.

Из казны: по параграфу 10 статьи 1 — 1 500 рублей.

Из городских средств — 2 500 рублей.

И из платы за правоучение (сумма не указана. — М. Щ.).

5. Число классов основных и дополнительных.

— Основных классов семь и один (VIII) дополнительный.

6. Число приготовительных классов.

— Приготовительных классов один, но из двух отделений — старшего и младшего.

7. Число учащихся.

— Число учащихся (с I по VIII классы) 280.

8. Кто состоит директором, инспектором, начальницей.

— Начальницей гимназии состоит Павла Алексеевна Смирнова, утвержденная в этой должности с 22 ноября 1910 года. По образованию — окончила курсы в Самарском епархиальном училище с званием домашней учительницы».



Это не просто очередная казенная справка в бесконечном ряду бумажной отчетности, это, если задуматься, венец той огромной деятельности, которой Павла Алексеевна отдавала все свои силы. И документы, опять же красноречиво, об этом рассказывают. Уже звучало слово «правоучение». Оно означало, что обучение в гимназии было платное. Но Павла Алексеевна предпринимала немалые усилия, чтобы помочь бедным ученицам в этой оплате за правоучение, а то и вовсе освободить от нее. Да и как она могла поступать иначе, когда, например, читала вот такие письма...

«Сиротский суд имеет честь ходатайствовать пред Попечительным Советом, не найдет ли он возможным освободить сироту, дочь умершего мещанина города Ново-Николаевска Тимофея Андреева Суковатова — Анну, от взноса платы за правоучение ее во 2-м классе женской гимназии, в настоящем 1911—1912 учебном году. В опеке покойного Тимофея Суковатова хотя и имеется домик, но он служит квартирой опекуние Екатерине Гавриловой Суковатовой с ее тремя малолетними детьми, из которых самая старшая Анна, 12 лет. Сама же опекуница Екатерина Суковатова женщина уже пожилая и, в добавок, больна хроническим ревматизмом. Средства на пропитание зарабатывает стиркой белья.»

Продолжение этого «сиротского письма» находится в «Журнале Ново-Николаевской городской Думы», в котором под № 193 значится следующий вопрос: «Рассмотрение заявления об освобождении от платы за правоучение в женской гимназии, учрежденной П. А. Смирновой». И далее обозначена суть вопроса.

«Городской Думе доложено: от П. А. Смирновой поступило в Городскую Управу заявление следующего содержания: имею честь довести до сведения Городской Управы, что, по примеру прошлых лет, в будущем учебном году мною решено освободить от платы за правоучение 10 учениц гимназии и 2 (учениц. — М. Ц.) подготовительных классов...»

Дальше начинается длинная дискуссия, записанная на нескольких страницах. Как и ныне, на все требуется «статья бюджета», особое постановление, но главный аргумент — денег в казне мало. Выступает Михаил Павлович Востоков, подробно рассказывает о нуждах гимназии, и вот, наконец, итог: «Выслушав и обсудив доложенное, Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: препроводить все поступившие в Городскую Думу заявления об отмене платы за правоучение на благоусмотрение Попечительного Совета гимназии П. А. Смирновой...» Но самое главное: в списке учениц, освобождаемых от платы, значится — Суковатова Анна Тимофеевна.

Хозяйственные заботы и хлопоты, огромное количество бумажной переписки, преподаватели, гимназистки, отцы города, чиновники учебного округа — все это присутствовало каждый день в деятельности Павлы Алексеевны, и со всем этим многообразием она, как не трудно догадаться, справлялась вполне успешно.

А кто же были ее соратники и помощники, ведь одному человеку, даже при наличии больших способностей, просто не по силам было бы «вытянуть» этот груз, именуемый гимназией. Сохранилась часть списка на 1916 год, в котором перечислены классные надзирательницы, а также члены Попечительного Совета. Давайте познакомимся...

«Классная надзирательница Екатерина Гавриловна Чуikliна. Православная. Окончила VIII классов Ново-Николаевской женской гимназии с званием домашней учительницы. Дочь чиновника. Год рождения — 1895. Девушка.»

Классная надзирательница Елена Михайловна Пузакова. Православная. Окончила Томское епархиальное женское училище с званием домашней учительницы. Дочь священника. Год рождения — 1890. Девушка.»

Классная надзирательница Александра Антоновна Ледяшова. Православная. Окончила VIII классов Томской Марининской женской гимназии с званием домашней учительницы. 24-х лет. Девушка.»

Классная надзирательница Анна Прохоровна Кирпичникова, урожденная Лобастова. Православная. Окончила VIII классов Ново-Николаевской женской гимназии с званием домашней учительницы. Год рождения — 1896. Замужняя.»

Председатель Попечительного Совета — врач Михаил Павлович Востоков, православный, окончил медицинский факультет Императорского Томского университета.»

Член Попечительного Совета — Адольф Исидорович Монасевич, директор Новониколаевского отделения Сибирского банка, православный.»



Член Попечительного Совета — Иван Климентьевич Пименов, директор Ново-Николаевского отделения Русско-Азиатского банка, православный.

Список этот, напомним еще раз, не полный, более подробный мы находим в «Сведениях для Памятной книги по Западно-Сибирскому учебному округу» от 25 марта 1916 года. После краткой справки по истории гимназии следует, собственно, сам список, который начинается с Начальницы, Павлы Алексеевны Смирновой, сведения здесь о ней те же самые, какие уже были приведены выше, с одним лишь существенным дополнением: в графе о семейном положении указано — «Деввица». Иными словами, у Павлы Алексеевны не было семьи, судя по всему, ее семьей была гимназия. А вот и сам список.

«Законоучитель священник Тимофей Илларионович Лазурин. Православный. Окончил Томскую губернскую мужскую гимназию. По выходе со второго курса медицинского факультета Томского Императорского университета выдержал экзамен по богословским наукам при Томской духовной семинарии. Год рождения — 1883. Женатый.

Учительница русского языка Августа Ивановна Никольская. Православная. Окончила Томское епархиальное училище с званием домашней учительницы. Дочь священника. Год рождения — 1876. Деввица.

Учительница словесности и педагогики Клавдия Андреевна Порапонова. Православная. Окончила VIII классов Мариинской Томской женской гимназии с званием домашней учительницы и Высшие женские курсы в Киеве по историко-филологическому отделению. Дочь войскового старшины. Год рождения — 1891. Деввица.

Учительница словесности и истории Клавдия Сергеевна Полянская. Православная. Окончила Красноярское епархиальное женское училище и Петроградские Высшие женские курсы по историко-филологическому отделению. Год рождения — 1873. Деввица.

Преподаватель математики, не имеющий чина, Владимир Никитич Холкин. Православный. Окончил полный курс Омской мужской гимназии и три года состоял студентом Томского Технологического Института. Имеет звание домашнего учителя с правом преподавать математику. Год рождения — 1882. Женат.

Учительница естественной истории и географии Александра Александровна Мальнева, урожденная Тихомирова. Православная. Окончила Ставропольское епархиальное женское училище с званием домашней учительницы и Петроградские Высшие женские курсы Лохвацкой-Скалон. Дочь протоиерея. Год рождения — 1884. Замужняя.

Преподаватель гигиены Иван Иванович Абдранг. Православный. Окончил медицинский факультет Казанского университета со званием врача. Год рождения — 1866. (Семейное положение не указано. — *М. Ц.*)

Учительница французского языка Александра Ильинична Алексеева. Православная. Окончила VII классов Усачевско-Чернявского женского училища Императорского Человеколюбивого Общества с званием домашней учительницы. Год рождения — 1890. Деввица.

Учительница немецкого языка Мария Фридриховна Рамман. Лютеранского вероисповедания. Окончила VIII классов в Рижской женской гимназии с званием домашней учительницы и выдержала экзамен в Испытательном Комитете Московского учебного округа на звание домашней учительницы немецкого языка. Год рождения — 1884. Деввица.

Учительница рукоделия Надежда Алексеевна Петрова. Православная. Окончила VIII классов Томской Мариинской женской гимназии. Выдержала экзамен в испытательной комиссии при той же гимназии на звание учительницы рукоделия в женских гимназиях. Год рождения — 1885. Деввица.

Учительница приготовительного класса Домникия Ивановна Кулик (урожденная Каминская). Православная. Окончила Черниговское епархиальное женское училище с званием домашней учительницы. (Год рождения и семейное положение не указаны. — *М. Ц.*)

Учительница приготовительного класса Лидия Павловна Лапшина. Православная. Окончила VIII классов Ново-Николаевской женской гимназии с званием домашней учительницы. Дочь мещанина. Год рождения — 1894. Деввица.

Преподаватель пения и имеющий чин Пантолеон Иванович Юроев. Православный. Окончил Томскую Духовную семинарию и пять лет состоял студентом юридического факультета Томского Императорского университета, но курса не окончил. Переведен на IV курс Петроградских летних Регентско-Учительских курсов, учрежденных С. В. Смоленским. Сын протоиерея. Год рождения — 1872. Холост.

Список этот, правда, тоже далеко не полный, дает вполне реальную характеристику тех, кто работал в гимназии. Во-первых, все учителя и преподаватели были людьми образованными, иные из них получали образование в столице, во-вторых, здесь широко представлена «география» Империи, а в-третьих, мы уже видим свои, собственные «кадры», получившие образование именно в стенах Ново-Николаевской гимназии. Иными словами, Павла Алексеевна подходила к формированию учительского и преподавательского состава внимательно и тщательно, случайных людей на службу она не принимала. И еще одно обстоятельство — подавляющее большинство подчиненных Павлы Алексеевны были значительно ее моложе, и поэтому Начальница должна была еще и своих коллег аккуратно и деликатно наставлять «на путь истинный», быть для них не просто Начальницей, но и советчицей.

Наверное, Павла Алексеевна прекрасно понимала, что гимназия — это, прежде всего, люди. И она старалась сделать все, чтобы люди эти оставались на высоте нравственности и подвижничества.

Она умела «утихомиривать страсти». Вот рассматривается на очередном заседании Педагогического Совета, казалось бы, рутинный вопрос — «О принятии в число учениц V класса Осиповой и Чернышевой». Но «вопрос этот вызвал продолжительный обмен мнений». Дело в том, что класс переполнен, и преподаватель математики В. Н. Холкин выступает против принятия еще двух учениц, его поддерживают преподаватель математики Д. И. Камаев и преподавательница словесности К. С. Полянская. К ним присоединяются другие преподаватели, прямо-таки «бунт на корабле». В аргументах преподавателей есть своя правда: из-за переполненности классов очень трудно охватить своим вниманием всех учениц, нарушается учебный процесс и качество усвоения материала гимназистками. Но Павла Алексеевна приводит свои доводы: «...Начальница гимназии считает, что две ученицы, принятые сверх нормы, не могут представить больших затруднений, тем более что обе кандидатки... очень способны и будут хорошими и примерными ученицами...» Она мягко, но настойчиво убеждает: нельзя закрывать двери перед одаренными девочками.

Решается вопрос общим голосованием, или, как тогда говорили, баллотировкой. В результате этой самой «баллотировки» появляется решение Педагогического Совета: «Возбудить ходатайство перед Г. Попечителем Округа о разрешении принять Осипову и Чернышеву в число учениц V класса».

На основании сохранившихся документов можно сделать еще один вывод: каждый важный вопрос, касающийся улучшения деятельности гимназии, Павла Алексеевна старалась сделать вопросом общегородским, как бы сейчас сказали, «привлечь к нему общественное внимание». И очень часто это ей удавалось. Нужен гимназии телефон? Конечно, нужен. Но средств на его установку, как всегда, не хватает. Павла Алексеевна обращается к городу. И город отзывается. В разделе «Городская хроника» газеты «Народная летопись» читаем: «На установку телефона в женской гимназии поступили: от Н. А. Ипполитова 1 р. 50 к., К. Н. Лапиной 1 р. 60 к., М. П. Востокова 1 р., Д. Л. Нахимсон 1 р., А. М. Луканина 3 р., Н. П. Литвинова 3 р.».

Современный читатель может воскликнуть: «Суммы-то мизерные!» Да, суммы невеликие, но, сложенные вместе, они в конечном итоге и составят необходимое количество средств, нужных для установки телефона, который вскоре появится в гимназии.

Надо было обладать немалым моральным авторитетом, чтобы люди отзывались на твои просьбы. Павла Алексеевна таким авторитетом обладала, и многие ее начинания находили в Ново-Николаевске понимание и участие. Обратимся еще раз к газете «Народная летопись» за 1909 год. И приведем с небольшими сокращениями одну заметку.

«Об общеобразовательных экскурсиях. Частная женская гимназия госпожи Смирновой, как мы слышали, проектирует экскурсию в Мариинск. Проект в высшей степени симпатичный: значение подобных экскурсий в образовательном отношении настолько достаточно освещено в педагогической литературе, что говорить о нем нет нужды...





...Ново-Николаевск не имеет еще школьных обществ, тем не менее, хочется верить, что городская интеллигенция примет живейшее участие в устройстве той же экскурсии, проектируемой гимназией госпожи Смирновой. В той или иной форме, тем или иным путем — постановкой ли спектакля, путем ли подписки — общество дает гимназии возможность взять как можно больше учениц в экскурсию. И пусть экскурсия гимназисток будет началом постоянных общеобразовательных экскурсий для учащихся новониколаевских школ».

Есть подвиги громкие, яркие, совершенные в душевном порыве в краткие мгновения, а есть подвиги тихие, растянутые на долгие годы, на множество дней, наполненных повседневыми заботами и переживаниями. Подвиг Павлы Алексеевны был именно тихим, растянутым на пятнадцать с лишним лет, и самое печальное заключается в том, что награда и особых почестей за этот подвиг не последовало. Последовало совсем иное. Но не будем пока забегать вперед...

А город жил...

Он набирался сил, расправлял плечи и становился все многолюдней и оживленней. Особенно на Николаевском проспекте, где по праздничным дням летели во множестве, в зависимости от погоды, рессорные коляски или легкие санки и гремел пугающий крик: «Поберегись!» Любили новониколаевцы, как и все русские люди, быструю езду — прав был Николай Васильевич Гоголь. И вот уже во время масленицы «для наблюдения за правильным конным движением по Николаевскому проспекту учреждены два полицейских поста». Надо же за порядком следить, иначе никак нельзя — безобразие получается!

Правда, истины ради, необходимо признать, что за конным транспортом и в другие дни следили, не только в праздничные. Особенно усердствовал полицмейстер Висман, который был настоящей грозой для городских извозчиков. Преследовал их за грязный внешний вид, за ругань, за плохое состояние упряжи и беспощадно отбирал у них номерные знаки. А без знака не имеешь права заниматься извозным промыслом. Вот и боялись...

Порядок полицмейстер Висман наводил сурово и жестко. Разыскивал воров, разоблачал фальшивомонетчиков, переодевшись, сам пробирался в воровские притоны, где и накрывал «уголовный элемент» с поличным. Всем хорош был служака, да попутал и его бес лукавый и любовь к деньгам. Разрешил тайно содержать больше сотни публичных домов, взимая с них дань, и бесславно погорел на этом деле, закончив свою служебную карьеру в арестантских ротах.

А уж «уголовный элемент» в Ново-Николаевске, в который устремлялось множество самого разного пестрого народа, был, прямо надо признать, отборный и изобретательный. На бегу подметки отрывали! И даже мировых судей не боялись. Вот вам в подтверждение скромная газетная заметка: «Полицейским чиновником г. Курницким был задержан каинский [7] мещанин Герш Израелис, похитивший из прихожей камеры мирового судьи 7-го участка принадлежавшую крестьянке Ирине Сидоровой шаль, оставленную в прихожей во время допроса. Израелис заключен под стражу».

И рядом с уголовной хроникой — удивительные примеры честности и порядочности. Чего стоит хотя бы вот это объявление, напечатанное в газете: «От Н. П. Литвинова. 8 или 9 января в магазин пришел мальчик 7—8 лет и попросил перочинный ножик; подали просимое, оказалось, у мальчика не достает денег. Тогда он оставил 28 коп. денег на прилавке и, сказав, что остальные принесет, ушел, не взявши ни ножа, ни денег. Прошу родителей получить оставленное. Владелец магазина Литвинов».

Только за одно это объявление стоит уважать Николая Павловича, первого книготорговца и книгоиздателя Ново-Николаевска, который оставил значительный след в истории города.

А еще в то время был любимым горожанами цирк на конной площади, где проводились даже международные чемпионаты французской борьбы. Зрителей завлекали в цирк изощренно и с «бонусами», о чем извещала в 1910 году на первой полосе газета «Обская жизнь»: «В воскресенье дано будет праздничное из 14 лучших отборных номеров циркового репертуара представление! Дамы — бесплатно, то есть каждый мужчина, взявший билет на места или галерею, имеет право провести с собой одну даму бесплатно».

Ну и какой кавалер откажется провести свою даму бесплатно?!

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Михаил Павлович Востоков (1871–1949) — из семьи православного священника, выпускник Императорского Томского университета, врач.
2. Улица Асинкритовская — ныне улица Чаплыгина.
3. Улица Кузнецкая — ныне улица Ленина.
4. Улица Гондатти — ныне улица Урицкого.
5. В дореволюционных гимназиях не было деления на классы «а», «б», «в», а имелись классы «основные» и «параллельные», и между ними не существовало никакой разницы.
6. Дневник священника 51-го драгунского Черниговского Ее Императорского Высочества Великой Княгини Елисаветы Феодоровны полка Митрофана Васильевича Сребрянского, с момента отправления его в Маньчжурию 11 июня 1904 года по день возвращения в г. Орел 2 июня 1906 года. С-Петербург, 1906.
7. Каинск — нынешний город Куйбышев Новосибирской области.



Алла НОВИКОВА-СТРОГАНОВА

ВОЗНЕСТИ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО: ПРОЩАЛЬНАЯ ПОВЕСТЬ Н.С. ЛЕСКОВА «ЗАЯЧИЙ РЕМИЗ»

Повесть Николая Семёновича Лескова (1831 — 1895) «Заячий ремиз» (1894) — одно из наиболее загадочных, зашифрованных произведений русской классической литературы. «В повести есть “деликатная материя”, — писал Лесков, — но всё, что щекотливо, очень тщательно маскировано и умышленно запутано. Колорит малороссийский и сумасшедший» [1].

Это последнее лесковское творение осталось при жизни писателя не изданным. В феврале 1895 г. (за несколько дней до кончины Лескова) М. М. Стасюлевич — редактор журнала «Вестник Европы», — убоявшись цензуры, отказался печатать повесть, извиняясь перед автором его же остроумной шуткой, позаимствованной из «Заячьего ремиза»: «можно очень самому обремениться <...> подвергнуться участи “разгневанного налива” <...> и непременно попадёте в архиерейскую уху» [2].

«Лебединая песнь» писателя вылилась под его пером в вековую мечту русского национального сознания о чудесной *жар-птице*. В фольклоре эта сказочная птица олицетворяет волшебное заступничество. В повести Лескова мифопоэтический образ жар-птицы представлен в новом — христианском — контексте понимания и является выражением авторской ценностно-мировоззренческой позиции.

Повесть по-прежнему завораживает, притягивает внимание, ей посвящаются обстоятельные статьи [3], однако ни одна из них пока не исчерпала религиозно-нравственной и философской глубины лесковского текста. Основанный на Евангелии, он, по сути, неисчерпаем и открывает перед читателями всё новые и новые возможности для интерпретации и сотворчества. О новозаветной

неисчерпаемости глубоко писал архиепископ Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), называвший Лескова в ряду первых классиков, чей «чистый разум» повенчан «с глубиной сердца <...> единством воли и откровенней»: «Евангелие не есть только идеальная истина для всякого мира, но и личное, всякий раз неповторимое слово, письмо Бога Живого всякому человеку в мире, — письмо, прочитываемое человеком лишь в меру его духовного сознания» [4].

«Заячий ремиз» впервые был издан в 1917 году — «в эти абсолютно нелитературные времена». Д. Философов сравнил выход повести в предисловии к ней с «белоснежным пшеничным хлебом русской литературы», который получили голодные физически и духовно читатели; «загробный голос Лескова прозвучал со страниц “Нивы” как призывный колокол» [5].

Важен также первый отклик А. Измайлова: «“Заячий ремиз” — одно из самых больных мест старика Лескова. Написал он его любовно, с огромным захватом, с великолепною своею сочностью <...> Идилличность тона и — рядом — сколько выстраданной злобы Лескова на ложное знание, которое никому не нужно, на старый подлейший режим, когда готовы были упечь учительницу в каталажку за цитаты из Евангелия; на добровольных присяжных сыщиков, готовых продать мир за орден, падающий на перси» [6].

Смысл заглавия повести, которое самому автору казалось «то резким, то как будто малопонятным», Лесков в письме к редактору «Вестника Европы» объяснил следующим образом: «“Заячий ремиз”, то есть юродство, в которое садятся “зайцы, им же бе камень прибежище”» (XI, 606). К разгад-

ке таинственного названия, возможно, приближают строки письма Лескова к его приёмному сыну Б. М. Бубнову <середина сентября 1891 г.>: «<...> “мнимый покой”. “Заяц обманчивый сон!..” Именно всё это “заячий сон”, с одним закрытым глазом и хлопающими ушами от страха утратить всё, чем владеешь» (IX, 501).

Писатель обращается здесь к фольклорно-мифологической образности: к распространённому представлению о том, что заяц имеет настолько чуткий сон, что спит с открытыми глазами. «Заячий сон» становится воплощением страха и трусости. Кроме того, заячья боязливость объясняется поверьем о том, что у зайца маленькое сердце: «Бог вылепил ему слишком длинные уши, а на сердце глины не хватило» [7].

Далее в том же письме Лесков развивает мифологический образ «заячьего сердца» в ключе христианской антропологии: созданный «по образу и подобию», человек призван преодолеть в себе животное начало, укрепиться духовно, не роняя в себе «образ Божий», который есть не только *дар*, но и *задание* человеку: «Кажу нам, что есть крепкого, — за что можно удержаться, не делаясь жертвой случайностей и чужих прихотей, часто как раз рассчитанных на то, чтобы понизить в тебе “Сына человеческого”, которого ты обязан “вознести”, и других к тому же склонить, и убедить, и “укрепить слабеющие руки”» (IX, 501). Думается, что письмо это, написанное по иному поводу, глубоко иллюстрирует концепцию «Заячьего ремиза».

Сатирическая сторона произведения: когда герою только и остаётся, что «скрыться» в своём частном сумасшествии от всеобщей невменяемости и безумия общественного устройства, — а также всё, что ведёт к расчеловечиванию, «оболваниванию» Оноприя Перегуда, достаточно глубоко изучены. Важнее сосредоточить основное внимание на противоположно направленном изменении «натуры» героя: на пути его возвращения от «оболванивания» к *истинному человеку*», то есть божественному началу, внутреннему свету, скрытому тенью «телесного болвана», «пониженному», «жесточайше уменьтоженному» (IX, 502). Однако в герое живо сознание необходимости отыскать и «вознести» «невидимую и приносущую силу и Божество того человека, коего все наши болваны суть аки бы зеркаловидные тени» (IX, 501).

Не только эпиграф, взятый из «Диалога, или разглагола о древнем мире» Григория Сквороды (1722 — 1794), но и другие христианские идеи этого украинского философа художественно воплотил Лесков в своей повес-

ти. Основная из них: «надо идти и тащить вперед своего “телесного болвана”» (IX, 589), — то есть не позволять телесному, материальному, животному началу взять верх над «истинным» — духовным — человеком.

Получив чин в социальной иерархии чинов, будучи направлен в родное украинское село Перегуды в качестве станового пристава, Оноприй Перегуд поначалу пытался в своей полицейской практике выявить истину «по облегчённому способу» — при помощи тетрадки «Чин во явление истинны», рекомендованной для допросов подозреваемых и составленной таким образом, чтобы даже невинный при таком допросе внутренне устрасался и был «готов сказать: “Виноваг”» (IX, 536).

Перегуд фактически занимает ту должность, которая требует вершить «суд правый», однако, будучи сам безмерно далёк от уразумения истины, он пользуется неправыми полицейскими уловками, юридической казуистикой: «Вот эта — пожалуйста — вам юристика!» (IX, 537). Такая «юристика» ещё более усугубляет всеобщую несправедливость и отдаляет от познания истины. «Болван» Перегуд принимает непосредственное участие в процессе «оболванивания» социально-нравственных основ жизни. При этом совесть его не мучит, он считает себя образцовым блюстителем порядка и являет образец внутреннего и внешнего самодовольства. Статный, дородный становой самолюбиво восклицает: «Процвете моя плоть, а нечестивый погибнет!» (IX, 536).

Лишь к финалу повествования герой осознал, что истина является не по официальному прописному «чину» и не в тот момент, когда кто-то немедленно захотел её открыть. Истина без всяких «чинов» приходит всегда в своё время, и Перегуду она приоткрывается как раз тогда, когда он все свои чины потерял, очутившись в сумасшедшем доме.

Однако если в начале своей государственной службы Перегуд ещё имел человеческий облик хотя бы внешне: «был в процветении румяный и полный» (IX, 536), — то, поддавшись искушению службистского честолюбия, окончательно этот облик утратил, превратившись внешне и внутренне в чудовище почти inferнального плана.

Заразившись хронической «инфекцией» государственной политики — «ловитвой потрясателей основ», что «троны шатают», — Оноприй Перегуд перерождается: внутренняя метаморфоза отражается и на внешнем уровне (не раз проходит мотив зеркального отражения — «зеркаловидной тени», — заявленный в философском эпиграфе): «у меня вид в лице моём пере-

менился <...> и стали у меня, як у тых, очи як свещи потухлы, а зубы обнажены... Тпфу, какое препоганство!» (IX, 546).

Перегуд, ужаснувшийся своему отражению, видит в зеркале именно то, о чём предупреждал когда-то его родителей, решающих судьбу сына, умница-архиерей. Это образ колоритный, привлекательный, симпатичный и близкий самому Лескову: «Быв по натуре своей одновременно богослов и реалист, архиерей созерцаний не обожал <...>, а всегда охотно зворочал с философского спора на существенные надобности» (IX, 521). Священник наставляет: «Ещё что за удовольствие определять сына в ловитчики! <...> “Се стражи адовныя, стоящие яко аспиды: очеса их яко свещи потухлы и зубы обнажены”» (IX, 522). Жуткий образ «адова стража» из библейской Книги Еноха настойчиво повторяется на протяжении всей истории маниакальной одержимости героя подозрительностью, шпионством, доносами, погонями за мнимыми «сицилистами» и «потрясователями основ».

Важно отметить, что портретная деталь «зубы обнажены» не только атрибут библейского чудовища-аспида — «адова стража», но и зоологическая черта животного облика зайца. В поверьях распространены представления о зайце как существе опасном и связанном с нечистой силой. Перебежавший дорогу заяц сулит несчастье. Известны также былички о зайце-оборотне, наделённом демоническими свойствами, который «бросается под ноги, заманивает в чащу, преследует человека или исчезает в вихре, с шумом, хохотом или зловонием» [8]. Именно таков Перегуд в его погоне за «потрясователями».

Так подтекст повести не только снова отсылает к её названию, но и выполняет функцию трансформации фольклорных и христианских мотивов в идейно-художественной структуре повествования.

С христианской темой непосредственно связан эстетический аспект. В контексте выраженных в «Заячем ремизе» представлений о прекрасном и безобразном важно подчеркнуть мысль В. И. Ильина, высказанную в его статье о Лескове: «Бог — источник прекрасных форм; быть безбожным — это не только значит быть безобразным, это значит умножать вокруг себя безобразия» [9].

Перегуд в прямом смысле лишается своей человеческой сущности, окончательно сходит с ума, когда выясняется, что «дерзновеннейший потрясователь» — его собственный кучер-орловец Теренька. «О, Боже мій милій! А кто же был я? Вот только это и есть неизвестно» (IX, 581), — горестно сетует потерявший свою личность герой повести.

Свет истины потух для него. Неслучайно настойчиво повторяется портретная деталь — реалистическая и метафорическая одновременно: очи, «яко свещи потухлы». «Светильник для тела есть око, — наставляет Христос в Нагорной проповеди. — Итак, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло; Если же око твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно» (Мф. 6: 22-23).

Перегуд-становой, погрузившийся во тьму духовную, безмерно далёк от того мальчика — церковного певчего, посвящённого в стихари, — каким он был, когда «перед всеми посередь дни свечою стоял и светил» (IX, 523). Теперь он утрачивает божественный свет «истинного человека», окончательно превращаясь в телесного «болвана», тёмную «зерцаловидную» тень.

В эпизоде с молодой учительницей — «подозрительной» Юлией Семёновной («коса ей урезана, и в очках, а научена на все познания в Петербургской педагогии» (IX, 551)) — Перегуд, дабы разузнать, что скрывают тёмные очки, просит позволения посмотреть в её «окуляры» и ведёт себя почти как в крыловской басне «Мартышка и очки». В подтексте произведения возникает новое зоологическое уподобление — с гримасничающей обезьяной.

Перегуд начисто лишается своего прежнего духовного опыта, забывает Священное Писание, которому был учён у архиерея, и попадает в преглупейшее положение, когда пытается «вывести на чистую воду» стриженую, в «окулярах» Юлию Семёновну, заставляя девушку написать о том, что она думает о богатстве и бедности. Её записи, не узнав в них текстов Нового Завета: «забота века сего и обольщение богатства заглушают Слово, и оно бывает бесплодно» (Мф. 13: 22); «Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды?» (Иак. 2: 6) — становой отсылает начальству как донос.

«Вот наименее несчастнейший человек, который охотился за чужими “волосами”, а явился сам острижен. Какое смешное и жалкое состояние, и сколь подло то, что их до этого доводят» (IX, 582), — таково резюме автора.

Уже будучи в сумасшедшем доме, Перегуд верно трактует своё прежнее безумие, объясняя его причины «гордыней», «ненасытной жадной славы» и «безмернейшим честолюбием» (IX, 543). Другими словами — «он впал в искушение» (IX, 538), забыв слова молитвы Христовой: «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого».

Показатель духовного выздоровления — освобождения героя из сетей «бесовского наущения» (лова «потрясователя»), он сам был пойман и запутан в «сети», подобно при-

снопамятному «огорчённому налимму») — следующая самооценка Перегуда: «когда я <...> вспоминаю об этих безумных мечтах моих, то не поверите, а мне делается ужасно!» (IX, 543). Импульс к освобождению из ужасающих бесовских сетей способствует торжеству истинного человека.

«Цыпленок зачинается в яйце тогда, когда оно портится» (IX, 585), — этим замечанием философа Григория Сковороды проясняется процесс, происходящий в герое: пусть он уже не годится для прежней «социальной» жизни, зато в духе его «поднимается лучшее» (IX, 585). В доме для умалишенных на грани безумия и мудрости Перегуд, наконец, начинает путь приближения к истине. Теперь он избавился от цивилизации, от общественной жизни, в которой всё было скрыто мраком, перемешано (точнее — *помешано*). Герой постигает добро и зло в чистом виде. У него «вырастают крылья», и по ночам он «улетает отсюда “в болото” и там высиживает среди цочек цаплины яйца, из которых непременно должны выйти жар-птицы» (IX, 588).

Некоторые исследователи трактуют этот метафорический образ как тезис «о рождении новых идей и явлений в лоне старого отживающего мира. <...> Прекрасные и благородные мысли должны озарить человеческую жизнь высоким нравственным светом, подобно жар-птице, издавна символизирующей в народном сознании счастье и благополучие» [10]. Другие склонны рассматривать образ жар-птицы в мифологическом плане, «так как именно огонь одухотворяет мир» [11].

Однако эпизод на «болоте» не поддается столь однозначным и прямой линией истолкованиям. Неслучайно Лесков, предлагая «Заячий ремиз» для публикации в журнале «Русская мысль», предупреждал о том, что в повести всё «тщательно маскировано» (XI, 599).

Следует иметь в виду, что писатель и его герой великолепно знают фольклор, окружены им как элементом духовной и бытовой атмосферы. «В устных преданиях, — отмечал Лесков, — <...> всегда сильно и ярко обозначается настроение умов, вкусов и фантазии людей данного времени и данной местности», «в младенческой наивности» есть «оригинальность и проницательность народного ума и чуткость чувства» [12].

На первый взгляд, было бы достаточно простого указания на прасовую фольклорного образа и связанных с ним мотивов. Однако в повести Лескова имеет место процесс творческого усвоения и созидательной переработки фольклорного материала в свете религиозно-нравственных представлений писателя.

Мифопоэтическая парадигма образа жар-птицы включает в себя целый комплекс семантических и художественных мотивировок. Устойчивая роль жар-птицы в славянском фольклоре — служить чудесной помощницей, доброй волшебной силой, побеждающей потусторонние силы противников рода человеческого, разрушающей враждебное человеку пространство. В эстетике чудесного золотой окрас оперения жар-птицы — величина постоянная — и это не только синоним огненности. Этот неперменный атрибут связан с тем, что «птица прилетает из другого, (“тридесатого царства”), откуда происходит всё, что окрашено в золотой цвет» [13]. Это «золотое», «иное царство» в народном сознании, помимо чудесного, имеет также социально-бытовое наполнение: символизирует безбедную жизнь, материальный достаток. Именно из золотых чертогов происходят «свинка — золотая щетинка, утка — золотые пёрышки, золоторогий олень и золоторывый конь» [14]. В сказках «золото фигурирует так часто, так ярко, в таких разнообразных формах, что можно с полным правом назвать это тридесатое царство золотым царством» [15], — указывал В.Я. Пропп.

В мифологическом ракурсе золотой цвет соотносится с солнечным светом, постулируется связь «иног царства, небывалого государства» с небесной сферой. Жар-птица — небожительница. Слепительное сияние, исходящее от каждого её пера, наполняет жизнь человека ярким светом, прогоняет тьму, всегда сопряженную в народном представлении с нечистой силой. Золотое светоносное оперение небесной обитательницы «золотого царства» в христианском контексте может быть соотнесено с евангельским откровением о «золотом граде» Небесном Иерусалиме, уготованном для праведных, в котором «отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» (Откр. 21: 4). Символично, что «ночи там не будет»; «спасенные народы будут ходить во свете Его» (Откр. 21: 24, 25).

Так фольклорный образ представлен в более многообразном переплетении с нефольклорным материалом, допускает возможности лирико-смыслового «сцепления» с христианским контекстом. Жар-птица символизирует божественный свет, вознесение к небу. «Жар» не только золотое сияние и свечение, но и жар неостывшего сердца — этого центра в православной антропологии, куда сведены все помыслы и чувства человека, устремлённого к чуду, к Богу. Неслучайно поэтому в «Заячем ремизе» настойчиво проявляется мечта о жар-птице как о

чём-то недостижимо прекрасном. И если в сказке этот образ — плод народной фантазии и вымысла, то в повести Лескова он связан с глубокой верой героя. Сама возможность чуда сомнению не подвергается. Фольклорные образы переосмыслены и христиански актуализированы писателем.

Существуют инварианты русской сказки о поисках жар-птицы. В лесковской повести представлен новый оригинальный вариант. Герой стремится обрести жар-птицу, пытаясь высидеть на болоте цаплины яйца. Каким бы безумным ни показалось, на первый взгляд, это действие, всё же оно имеет под собой реальную почву — фольклорно-этнографическую основу. В. И. Даль упоминал о народном обычае раздавать «самосидные яйца»: «Самосидные яйца раздаются по паре во все крестьянские дворы, и бабы обязаны высидеть и представить за них цыплят» [16].

Лесков представляет собственную модификацию этнографического источника. В числе первых, кто высиживает цаплины яйца, учительница Юлия Семёновна: это и женское её призвание — дать жизнь новому существу, и убежденность в необходимости зарождения совершенных форм жизни. Прекрасная жар-птица должна явиться как духовное и эстетическое откровение «золотого Небесного града», стать посредницей между землей и небом, совместить разные пространственно-временные пласты реального и идеального миров.

Юлия Семёновна и Оноприй Перегуд не одиноки: «там нас много знакомых, — сообщает герой, — и все стараются вывести жар-птицы, только пока ещё не выходят» (IX, 588). «Не выходят» потому, что герои в своём «мудром безумии» упускают из виду важнейшее, недалёковидно полагая, что из смрадного тёмного болота — то есть мира грешного, населённого людьми животного плана, духовно неразвитыми телесными «болванами» — сможет родиться иная реальность — жар-птица — знак райского сада, золотой чудо-страны, светящегося Небесного града. Этого произойти не может ввиду того, что желающие обрести жар-птицу не Творцы и даже не праведники. Они одержимы гордыней — «матерью всех грехов» в православной аскетике. Слово 23 «Лествицы» преподобного Иоанна Лествичника направлено против «безумной гордости»: «Гордость есть отвержение от Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, матерья осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгниание помощи Божией, предтеча умоисступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилище, причина немилости

сердца, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судья, противница Богу, корень хулы» [17].

От той же гордыни — стремление высидеть жар-птицу из яиц цапли. Тем более — что эта птица в специальном зоологическом труде «Жизнь животных по А. Э. Брему» характеризуется как «злбная и жадная» [18], памятливая на обиду; яйца её только и можно отыскать на болоте.

Истина открывается Перегуду: жар-птицы не появляются «потому, что в нас много гордости» (IX, 588). Духовное прозрение ведёт героя далее — к евангельской правде о том, что из несовершенного, греховного не может зародиться нечто совершенное. Люди пока бесконечно далеки от обожения, от заповеди Христовой: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть» (Мф. 5: 48). Но по гордыне своей многие мнят себя будущими творцами чудесных «жар-птиц». Однако «высидеть», духовно переродить «цаплины яйца» в «жар-птицу» одному человеку без Божьей помощи не под силу.

В повести несколько раз цитируется древнеримский поэт Овидий, запрещавший людям «“пожирать своих кормильцев”, а люди не слышат и не видят» (IX, 590). В обществе все «пожирают» друг друга, также и «цаплиным яйцом», в котором уже материализовано начало жизни, человек хочет просто воспользоваться для пропитания своего «телесного болвана», а не «высиживать» нечто духовно высшее: «Жар-птица не зачинается, когда все сами хотят цаплины яйца съесть» (IX, 589).

Перегуд видит «цивилизацию» в сатанинском коловращении «игры с болванами», социальными ролями, масками: «Для чего все очами бочут, а устами гогочут, и меняются, як луна, и беспокоятся, як сатана?» (IX, 589). Всеобщее лицемерие, бесовское лицедейство, замкнутый порочный круг обмана отразился в Перегудовой «грамматике», которая только внешне кажется бредом сумасшедшего: «я хожу по ковру, и я хожу, пока вру, и ты ходишь, пока врёшь, и он ходит, пока врёт, и мы ходим, пока врём, и они ходят, пока врут... Пожалей всех, Господи, пожалей!» (IX, 589).

Здесь звучит прямое обращение к Богу — *молитва за всех*, характерная для многих художественных творений Лескова («Запечатленный Ангел», «Очарованный странник», «На краю света» и др.). Писатель-христианин считает, что все достойны Божьей милости и жалости: одни страдают от сознания своей греховности; другие тоже по своему страдают, потому что не видают о собственном несовершенстве.

Приобщившись к этой истине, Перегуд «победил смерть» духовно. «*Посему мы не унываем, — говорит апостол Павел, — но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется*» (2Кор. 4: 16). Этот евангельский текст проливает свет на «загадку» прощальной повести Лескова.

Картина Апокалипсиса: «И взял Ангел кадильницу, и наполнил её огнём с жертвенника, и поверг на землю; и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение» (Откр. 8: 5) — развёрнута в эпилоге «Заячьего ремиза» в сцене грозовой «воробьиной ночи».

Согласно народным поверьям, «воробьиная ночь» с сильной грозой и зарницами — время разгула нечистой силы. Это природное явление осмыслялось в мифологическом сознании также и как время, когда удары грома и блеск молнии уничтожают нечистую силу [19]. Под пером Лескова эта картина выливается в христианско-философское обобщение, обретает поистине универсальный, космический масштаб «небесной битвы» между добром и злом.

Громადнейшие литеры «Глаголь» и «Добро», вырезанные Перегудом, осветились «страшным великолепием» грозы и отразились повсюду — «овамо и семо». Две эти отдельно начертанные буквы сливаются в повелительный призыв: «Глаголь добро», то есть «Возвещай добро». Тем самым одновременно выражено требование неустанной борьбы со злом.

Так в последнем произведении «мастера» метафорически исполняется мечта самого Лескова — писателя-проповедника добра и истины, преследуемого цензурой: настоящее изобретение не печатный станок Гуттенберга, ибо он «не может бороться с запрещениями», а то, «которому ничто не может помешать светить на весь мир <...> Он всё напечатает прямо по небу» (IX, 590), на котором мечутся птицы в «воробьиной ночи».

Образы птиц связаны не только с представлением о небесной сфере и далёком пространстве. Одновременно в народном сознании они символизируют души умерших. Атрибутика смерти постепенно нарастает к финалу повествования. Но без смерти не бывает и воскресения.

Оноприй Перегуд, «в мудром безумии которого есть и поучение, и завещание, и пророчество о временах грядущих» [20], постигнув истину, уже не может оставаться на грешной земле, он покидает земную юдоль — тут же совершает переход «в шатры Симовы», в «иное царство» — «Небесный град», царство Истины. Он переходит в иное качество, иное — духовное — измерение.

В прощальной своей повести Лесков на новом духовном и эстетическом уровне подвёл итоги темам и проблемам, которые он разрабатывал на протяжении всего писательского пути. Духовное прозрение героя «Заячьего ремиза» знаменует и обостренную духовную зоркость самого автора в финале его творчества. Так, Лесков переосмысливает некоторые свои религиозно-нравственные представления: в частности, убеждение в том, что дело «честного писателя — слушать тому, чтобы Царство Божие настало на земле как можно скорее и всесовершеннее» [21]. Царство Божие невозможно на земле, ибо, как сказано в Евангелии: «Царство Мое не от мира сего» (Ин. 18: 36).

Важная цель позднего творчества Лескова — подготовка человека к выходу в другую жизнь. «Всё чувствую, как будто ухожу...» — говорил писатель в одном из поздних писем [22]. Происходит «раскрытие сердца, просветление духа, отверзание разумения» [23]. Со смертью героя не заканчивается жизнь, он «красторён уже в других и в мире, а смерть-успение совершает свой вечный виток как смерть перед воскресением, уход перед возвращением, отчётливо смыкая конец с назревающим началом» [24], — так поясняется семантика мотива «ухода». Поистине: «*Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное*» (Еккл. 3: 1, 2).

Так завершается «томление духа» и происходит его освобождение. Сворачивается паломничество человека к своему священному предназначению: «Им же образом желает елень на источнике водные, сице желает душа моя ко Богу крепкому, Богу, благодаявшему мне» (VIII, 91), — Псалтырь по успешному в лесковском «*рассказе кстати*» «Интересные мужичины» (1885) мог бы увенчать последнее земное творение писателя — итог его религиозно-нравственных раздумий протяжённостью в жизнь.

Незадолго перед тем, как самому оставить надетую на него на земле, как говорил Лесков, «кожаную ризу», писатель размышлял о «*высокой правде*» Божьего суда: «совершится над всяким усопшим суд нелицеприятный и праведный, по такой высокой правде, о которой мы при здешнем разуме понятия не имеем» [25]. Ностальгия по «миру духовному» внушала Лескову веру в бессмертие души. Он приводил евангельский эпизод воскрешения Христом дочери Иаира: когда шли к дому, встречный проговорил, что она уже умерла, но «Иисус, услышав это, сказал ему: *“Не бойся, только веруй, и спасена будет”*» (Лк. 8: 50).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. — М.: Гослитиздат, 1956—1958. — Т. XI. — С. 599—600. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
2. Цит. по: Лесков Н. С. Собр. соч.: В 3-х т. — М.: Худож. лит., 1988. — Т. 3. — С. 646.
3. См.: Левандовский Л. И. К творческой истории повести «Заячий ремиз» // Русская литература. — 1971. — № 4. Исследованию лесковской повести посвящена серия работ О. В. Анкудиновой: Анкудинова О. В. Лесков и Сковорода (К вопросу об идейном смысле повести Лескова «Заячий ремиз») // Вопросы русской литературы. — Вып. 1 (121). — Львов, 1973. — С. 71—78; Анкудинова О. В. Проблема национальной жизни в повести Лескова «Заячий ремиз» // Науч. труды Курского гос. пед. ин-та. — Т. 76 (169). — Курск: КГПИ, 1977. — С. 93—106; Анкудинова О. В. Сюжетно-композиционное своеобразие повести Н. С. Лескова «Заячий ремиз» // Творчество Н. С. Лескова: Науч. труды. — Т. 213. — Курск: КГПИ, 1980. — С. 24—40; Анкудинова О. В. К вопросу о поэтике повести Н. С. Лескова «Заячий ремиз» // Русская литература. — 1981. — № 3. — С. 150—153.
4. Иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. Избранное. — Петрозаводск: Святой остров, 1992. — С. 493.
5. Философов Д. Пшеничный хлеб // Нива. — 1917. — №№ 41—43. — 28 октября.
6. Измайлов А. <Отзыв о повести Н. С. Лескова «Заячий ремиз»> // Петроградский листок. — 1917. — 8 октября.
7. Славянская мифология: Энциклопедический словарь. — М.: Эллис Лак, 1995. — С. 192.
8. Там же. — С. 191.
9. Ильин В. И. Стилизация и стиль. Н. С. Лесков // Эссе о русской культуре. — СПб.: Акрополь, 1997. — С. 147.
10. Анкудинова О. В. Идейно-творческие искания Н. С. Лескова 90-х годов: Дис. ... канд. филол. наук. — Харьков, 1975. — С. 164.
11. Телегин С. М. Мифологическая ситуация в рассказе Н. С. Лескова «Заячий ремиз» / / Классическая филология на современном этапе. — М.: Наследие, 1996. — С. 234.
12. Русские писатели о литературном труде: В 4-х т. — Л., 1955. — Т. 3. — С. 210—211.
13. Славянская мифология: Энциклопедический словарь. — М.: Эллис Лак, 1995. — С. 180.
14. См.: Афанасьев А. Н. Русские народные сказки. — М., 1938. — Т. 2. — С. 59—64.
15. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. — Л.: ЛГУ, 1946. — С. 264.
16. Цит. по: Русская литература и фольклор (первая половина XIX века). — Л.: Наука, 1976. — С. 350—351.
17. Иоанн Лествичник. Лествица. — СПб.: Фонд «Благовест», 1996. — С. 156.
18. Цит. по: Аникин В. П. Русская народная сказка. — М.: Просвещение, 1977. — С. 74.
19. См.: Славянская мифология: Энциклопедический словарь. — М.: Эллис Лак, 1995. — С. 115.
20. Афонин Л. Н. Слово о Лескове // Творчество Н. С. Лескова: Науч. труды. — Т. 76 (169). — Курск: КГПИ, 1977. — С. 7.
21. Лесков Н. С. <Заметка о литературе>. Публикация А. Романенко // В мире Лескова. — М.: Сов. писатель, 1983. — С. 365.
22. Цит. по: Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2-х т. — М.: Худож. лит., 1984. — Т. 2. — С. 468.
23. Там же.
24. Макарова Е. А. Старообрядческая культура в эстетическом сознании Н.С. Лескова: Автореф. ... канд. филол. наук. — Томск, 1992. — С. 20.
25. Цит. по: Лесков А. Н. — Указ. соч. — Т. 2. — С. 467.

ЯЗЫКИ СТИХАЮЩЕГО ШТОРМА

*...то сокровенно-неразменное, за что нас любят
умно презирать и обожают страстно ненавидеть.*

Александр РАДАШКЕВИЧ

I.

Эпиграф этот из верлибра «Риторический триптих» поэта и автора «Сибирских огней», проживающего уже долгие годы в Европе, то в Париже, то в Праге. Радашкевич весьма точно и выразительно передаёт в этой вещи отношение определённой публики (и эмигрантской, и западной) к России и к её уверенности в собственной правоте, то есть к тому, что некоторые называют отсутствием рефлексии: «Есенин слишком задушевен, Чайковский — тьфу! — сентиментален, ваш Пушкин — гадко романтичен, а Достоевский — мерзко православный, Толстой — до отвращения народен. И ваша рабская Россия ещё воображает, что чего-то стоит». Это, разумеется, монолог-обобщение, но воспроизведённый на основании много раз слышанного, артикулированного тысячеустно. Более того, не в европах, а уже в самом Отечестве я неоднократно имел несчастье читать подобное, самое близкое, что приходит на память — это откровения Чубайса об ужасе и омерзении после прочтения Достоевского и ФБ-посты его кореша Альфреда Коха (весь видимый и невидимый спектр ненависти к стране, где его лишили руля и корыта). Но они хоть, слава Богу, не поэты...

Итак, вопрос. Может ли русская поэзия сегодня быть вселенско-русскоязычной, то есть отдельной от России, её пространства, культуры, духа, исторической памяти? Может ли обитать лишь в некоем языковом коконе, автономно? Или, страшно сказать, даже в противостоянии, во вражде к метрополии?

Мой опыт редактора и стихотворца колебимо и однозначно утверждает — нет. Без вариантов: нет и ещё раз нет!

А вот что касается того, где может жить и творить русский поэт, и кто он по крови,

по пятой графе, это, доложу вам, не имеет ровно никакого значения. Как писала недавно, начитавшись экстремистской литературы, мусульманка-отроковица, тоже ослеплённая ненавистью к России: «А ваш Пушкин вообще негр!» Да, и мы этим гордимся.

Едва ли не лучший на сегодня поэт русского зарубежья Бахыт Кенжеев всю жизнь мотается по планете, в силу своей профессии переводчика, по корням оставаясь чистокровным казаком, а по духу и лирическому дыханию — неотъемлемо нашим, потому он и любим в пределах бывшей империи и за её пределами.

* * *

**И забывчив я стал, и не слишком толков,
только помню: не плачь, не жалей,
пронеси поскорее хмельных облаков
над печальной отчизной моей,
и поставь мне вина голубого на стол,
чтобы я, от судьбы вдалеке,
в воскресенье проснулся
под южным крестом
в невеликом одном городке,
дождался рассвета, и вскрикивал: «Вон
первый луч!» Чтобы плыл вместо слов
угловатый, седеющий перезвон
католических колоколов.
Разве даром небесный меня казначей
на бульжную площадь зовет
перед храмом, где нищий,
лишенный очей,
малоросскую песню поет?**

Вполне допускаю, что кто-то криво усмехнётся, но — в моём представлении — поэт сразу лишается дара и права творить, отрёкшись от родителей и лжесвидетельствуя (четвёртая и девятая заповеди), ибо Родина и Бог только и определяют черёд его слов и

являются скрепами в здании стиха, который ни на чём ином и не держится. Винить землю, тебя породившую, даже если она была в силу исторического детерминизма тоталитарной империей, говоря тем языком, контрпродуктивно. А попросту — глупо. Как писал ныне, увы, покойный и похороненный где-то во Святой Земле Денис Новиков — родная конура ни при чём, даже если ты сукин сын:

* * *

**До радостного утра иль утра
(здесь ударенье ставится двояко)
спокойно спи, родная конура, —
тебя прощает человек-собака.
Я понцу изъян в себе самом,
я недовольства вылижу причину
и дикий лай переложу в псалом,
как подобает сукиному сыну.**

Кстати сказать, постоянный автор «Сибирских огней» Равиль Бухараев, годовщину ухода которого мы со скорбью отмечали месяц назад, тоже ни много ни мало, а 15 лет отработал штатным сотрудником BBC, но ни устно, ни письменно, а уж тем более в стихах я от него ни разу не слышал слова уничижительного в адрес родных палестин — Татарии либо России. Именно поэтому он сегодня в Казани — классик, да и в русской литературе и поэзии оставил весьма заметный след.

**Боже, пошли мне радости —
светлой и задарма,
Чтобы, пугаясь правды,
я не искал ярма.**

Его созидательная миротворящая энергия проявлялась во всём, особенно меня восхитила опубликованная в «СО» в сентябре 2004 года его работа «Иисус в исламе» — настолько виртуозно и деликатно Равиль прошёл по лезвию бритвы, как бы демонстрируя, что гармоничное сосуществование православной державы и Татарии имеет под собой веское основание, поскольку Иисус как Мессия-Христос мусульманством не отрицается.

Ещё одна поэтесса, вошедшая в золотой фонд авторов «СО», Елена Игнатова, уже почти четверть века проживающая в Израиле, не мыслит себя вне Ленинграда-Петербурга и вне России. А уж она-то, заставшая в молодости пожилую Анну Ахматову, которую в рассказе «Опасные знакомства» называет «величавой, как Екатерина II», и бескомпромиссного, как олищеворение чести, Сергея Довлатова, — она-то доподлинно зна-

ет цену резкому суждению. И в особенности в стихах знает меру сокровенного и заповедного. Прошлое тоже уязвимо, поэт как никто прозревает взаимосвязь времён.

* * *

**Вы мне ворожите, родные города —
там созревает жизнь, как семечки,
тверда —
ты — Вязьма сладкая,
ты — брошенный Саратов,
где солнечные дни и пыльные закаты,
где я не поселюсь, наверно, никогда.**

**В который раз мне видится, как дед,
надев очки, листает книгу рода
(он умер до войны), он ищет след
моей судьбы — но нет меня, но нет!
Я пустотой страницы много лет
бреду, как по пустыне в дни исхода.**

Для нашего журнала, в особенности для его поэтического раздела, не существует границ. Об этом самым явственным образом свидетельствует получившая «Серебряного Дельвига» антология «Поэты “Сибирских огней”. Век XXI». Помимо всей России, от Питера до Владивостока, наши авторы обитают повсюду, где русский язык имеет свои обиталища. Одно лишь перечисление даст тому наглядную иллюстрацию: Станислав Минаков, Александр Кабанов, Владимир Алейников (Украина); Андрей Грицман (США); Александр Руденко (Болгария); Даниил Чкония и Лариса Щиголь (Германия); Лидия Григорьева (Лондон); многие поэты Беларуси (выходил даже отдельный номер, посвященный белорусской литературе). Но вера и верность Слову и Отечеству вкупе с талантом остаются нашими главными требованиями, не иначе. Вот это и есть в моём представлении реальное евразийство: «Взятую когда-то для прокорма/ нам тысячелетие спустя/ языки стихающего шторма/ возвращают гальку, шелестя», — писал мне Юрий Кублановский в стихотворение «Евразийское».

Да, океан русского языка всё перемелет...

II.

На декабрьской встрече со студентами Дагестанского университета в Махачкале, где собрались в основном молодые поэты и писатели, мне предварительно вручили подшивку местного молодёжного литературного журнала «Гений», и в том числе № 6, в котором было опубликовано письмо Бори-

са Пастернака юному поэту Марку Ватагину, написанное 12 декабря 1955 года, то есть пятьдесят семь лет назад, в ответ на просьбу оценить его стихи.

Познакомившись со стихами из «Гения» и сопоставив уровень стихотворчества Марка Ватагина в образцах, предоставленных Пастернаку летом 1955-го года, с массивом текстов, опубликованных в шести номерах журнала «Гений», я перед студентами и авторами журнала с величайшим прискорбием вынужден был констатировать, что разница определённо вырисовывается не просто в пользу стихов полувековой давности, ситуация куда более тревожна и постыдна. Увы, уровень мастерства, грамотности, владения лирическим сюжетом, русским языком (элементарно!), рифмой, ритмом и пр. арсеналом стихотворных приёмов с очевидностью явлен в представленных стихотворных сочинениях как крайне, ужасающе низкий. Ниже плинтуса, за которым уже, вероятно, и похоронена полусказочная гимназическая Ойкумена речи русской!

Единственно, что можно было сказать в утешение собравшимся: это не региональный провал, не дагестанско-графоманская окраина, это явление общероссийское, как говорят нынче — «тренд».

Всё, что произошло за последнюю четверть века — вполне сравнимо с погребением Атлантиды, аполлонический храм поэзии в медийном пространстве сровняли с землёй, а само занятие сделали общедоступным, как отхожее место.

Если современная Америка вся по уши и под завязку заполнена негритянским рэпом, то у нас в ходу кричалки Пусси Райот и более 300 тысяч стихосочинителей на стихи.ru и прочих подобных сайтах. Говорят, что это не плохо, что столь массовое творчество не может нести в себе ничего дурного. Соглашусь, но лишь в том случае, если массовому сознанию будут с определённой регулярностью демонстрироваться эталонные образцы русской поэзии. А в школе введут нечто подобное старому гимназическому курсу, где один только список тем сочинений ввергает в священный трепет: «Замирание нашего сада осенью», «Река в лунную ночь», «Встреча войска, возвратившегося из похода», «История постройки дома и разведения при нем сада...», «Слово как источник счастья» и пр.

Но вернёмся к Пастернаку и его письму. Вот что он пишет о поэтах своего времени, то есть середины 50-х: «...мне хотелось бы, чтобы их было как можно меньше, но чтобы по возможности был один, очень

большой, а стихотворчества или даже поэзии как вида занятий, пусть даже “бог вдохновенного” — многих или для многих — не существовало». То есть не существовало вовсе! Надо понимать, что тогда партийные стихотворные агитки, социально-бытовые, гигиенические, производственные, противопожарные, за технику безопасности и пр. и пр. писали в массовом порядке, это называлось литературной халтурой и неплохо оплачивалось. Муза, в момент написания Пастернаком письма, давно оставила послушание велению Божию, утратила величавость прекрасного и все нити духовной связи с Небесами. Именно на этом настаивает Борис Леонидович, помянув слово «поэт» в крайне уничижительном смысле, даже с оттенком презрительности: «*Это слово (поэт) очень годится на обёртку к туалетному мылу...*» То есть поэт — не более чем упаковка для гигиенических средств. Утилитарная функция для промывки-прочистки мозгов советских масс, для формирования правильного сознания для следования моральному кодексу, да-да, тому самому!

Пастернак был дореволюционного замеса, поэтому куда лучше других понимал, что кодекс строителя коммунизма есть лишь исковерканный вариант 10-ти заповедей, из которых постарались тщательным образом выхолостить идею Бога.

И тут возникает мостик прямой аналогии между коммунистическим диктатом и диктатом современной массовой культуры. Однако, увы, не в пользу современности сие сравнение и параллель. Общество потребления тоже использует стихотворные тексты в утилитарных и рекламно-гигиенических целях, однако качество сих виршей просто дичайшее.

Но есть в письме Пастернака одно загадочное место. Вот оно:

«Даже в случае совершенно бессмертных, божественных текстов, как, например, пушкинские, всего важнее отбор, окончательно утвердивший эту данную строчку или страницу из сотни иных возможных. Этот отбор производит не вкус, не гений автора, а тайная побочная, никогда в начале не известная, всегда с опозданием распознаваемая сила, видимость безусловности скрывающаяся произвол автора, без чего он запутался бы в безмерной свободе своих возможностей...»

Но слово сказано! Итак: сила...

Будем последовательны. Отбросим, ничтоже сумняшеся, все околэпитеты, далее, согласимся с Борисом Леонидовичем, что понятие «гений» не вполне подходит для

нашего навыка-умения единственно возможного выбора единственно возможного Слова. Согласились!

И тогда?! А тогда надо признать, что творящий, создающий тексты-художества, в нашем случае — стихи с раз и навсегда свыше данным порядком слов, эту данность в себе прозревает, у него есть некая Связь с тем, Кто задаёт этот самый черёд-порядок.

Примеры имеются.

Утверждаю, что единственно возможным черёд был ведом самарскому поэту Михаилу Анищенко, чья книга «Песни слепого дождя» вышла в поэтической библиотеке «Сибирских огней» в конце 2011 года. Сердце Художника осознаётся поэтом Анищенко как горящее воронье гнездо на закате, как идеальное в своей пронзительной тоске место обитания смерти. И надо сказать, мысли о смерти и мысли о Родине для него — словно два брата-беспризорника, что с невыразимым укором заглядывают в окно нашего каждодневного суетного существования.

Ещё один уникальный поэт из Галича Виктор Лапшин (1944 — 2010), избранное которого «Русская свеча» вышло в нашей библиотеке через год после ухода поэта. Порядок слов в его поэзии тоже строго неизменяем — вследствие удивительного целомудрия, бескомпромиссной и беспощадной правдивости Лапшина по отношению в первую голову к самому себе и, как продолжение, к своему Отечеству.

И, как мне представляется, далеко-далеко не случайно, что ключевое для последних абзацев моего эссе слово «черёд» стало названием полнокровной и дивной книги Ма-

рины Кудимовой, вышедшей недавно всё в той же поэтической библиотеке журнала «Сибирские огни». Знающий черёд — сам обладает частицей этого Дара и способен безошибочно определять порядок чередования фонем, слов и смыслов...

Слово неразменно. Сокровенная тайна остаётся тайной.

* * *

**Где говорят на русском языке,
Там я и буду пить своё саке,
А также араку, вино и брагу,
Поскольку для меня для дурака
Господь не создал лучше языка,
Не затворил целебную корчагу...**

(самоцитата)

P.S. Подумал, вот ведь, Елена Игнатова в своём стихотворении вспоминает исход, это когда после 10 казней египетских богоизбранный народ бежал под предводительством Моисея и жреца Аарона через Чермное море, а потом ещё год пребывал в Синайской пустыне, прежде чем попасть в землю обетованную. Мы тоже с Первой мировой и революции находимся ровно век в состоянии исхода. И тоже в силу целого ряда чудес оказались-таки спасёнными, а не уничтоженными под корень. Кто нас вёл? Слово русское пророческое, одухотворённое смыслами, напроць, однако, отрицаемыми гордецами-отступниками. И вот ещё. Если бы Моисея упрекнули в отсутствии рефлексии, что бы он ответил вопрошавшему? И кто мог такое спросить? Только тот, кого называют противником и клеветником...



ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ: «ЧУГУННЫЙ ГОЛОС, НЕЖНЫЙ ГОЛОС МОЙ»

27 ноября 2012 г. история отмерила четыре десятилетия со дня кончины уроженца волынского Луцка, русского поэта Ярослава Смелякова. 2013 г. — дата покруглей, 100-летие со дня рождения!

Ему, в самом деле, повезло больше, чем его друзьям-поэтам Павлу Васильеву и Борису Корнилову; где похоронены они — не знает никто. Васильев был расстрелян в 1937 г., Корнилов умер в лагере под Нарымом в 1938 г. Срок они получали втроем, «три мальчика, три козыря бубновых, три витязя российского стиха», но лишь один из этой троицы, Ярослав Смеляков, хоть и трижды отсидевший, продержался до 1972 г.

Корнилов подарил Смелякову свою книгу с надписью «Ярослав! Какие мы все-таки славяне!» На что тот через четыре десятилетия ответил характерно: «Советские славяне».

Нью-йоркский харьковец Юрий Милославский, впечатлившийся смеляковскими железными катренами, должно быть, еще на литстудии у Бориса Чичибабина, поделился с нами (его очерк готовится к 100-летию Смелякова): «На нем особенным образом проявилась вся условность количественного измерения культурного времени. Ярослав Васильевич умер, не добрав месяца до шестого десятка. А представлялся таким грозно-чудаковатым пьющим старцем-мудрецом, — даже тем, кому он годился всего-то в старшие братья, этак с разницей в возрасте лет на десять-пятнадцать. О нем писали стихи, о нем рассказывали уважительно-смешные анекдоты. У Ф. Чуева в одной из

ранних книг, к примеру, находим следующее: «Я приехал в Москву, я пошел к Смелякову. Он сидел в кабинете в осеннем пальто. Он стихи перечитывал, как участковый, и свирепо милел, если нравилось что». Все это весьма показательно. Смелякову — поэту и понимающему поэзии — знали цену и те, кто его любил, и те, кто буквально ненавидел. Таковых встречал лично».

Вот другое суждение. «Эпоха родила нескольких замечательных поэтов: Заболоцкого, Твардовского, Мартынова, Слуцкого, Павла Васильева, — говорит Станислав Куняев в статье «Терновый венец» (1997). — Но Ярослав Смеляков отличался от них всех какой-то особой, совершенно истовой, почти религиозной верой в правоту возникающей на глазах новой жизни. Его поэтический пафос был по своей природе и цельности родственен пафосу древнегреческих поэтов, заложивших основы героического и трагического ощущения человеческой истории, с ее дохристианскими понятиями рока, личной судьбы и античного хора».

* * *

Известно, что Василий, отец Ярослава, был весовщиком на железнодорожной станции, мать — домохозяйкой. О той жизни у Смелякова читаем:

**Я родился в уездном городке
и до сих пор с любовью вспоминаю
убогий домик, выстроенный с краю
проулка, выходящего к реке.**

**Мне голос детства памятен и слышен.
Хранятся смутно в памяти моей
гуденье липы и цветенье вишен,
торговцев крик и ржанье лошадей.**

Первая мировая война перечеркнула прежнюю жизнь семьи и Отечества. Из прифронтового волынского Луцка семья уехала в Воронеж, на родину матери, где Ярослав пошел в начальную школу. Потом, по кончине супруга, Ольга Васильевна Смелякова отправила одиннадцатилетнего Ярослава в семилетку в Москву, к его брату с сестрой, учившимся в университете.

Смеляков читал и читал сизмальства Лермонтова, затем Есенина. Стихи начал писать лет с десяти. Приветивших его Эдуарда Багрицкого и Михаила Светлова счел своими учителями. Немудрено: это были кумиры тогдашней молодежи, мастера поэтического цеха новой страны — Советов.

Истопник, дворник, помощник снабженца. Чаще всего — безработный на бирже труда. Но все же получил путевку в полиграфическую фабрично-заводскую школу имени Ильича. Так что свою первую книгу «Работа и любовь» (1932) Смеляков, уже будучи, по-булгаковски говоря, «полиграф полиграфычем», набирал и верстал собственноручно.

И вообще, на удивленье: книги у него начали выходить одна за другой. Слышен сильный, талантливый звук в первом же опубликованном М. Светловым смеляковском стихотворении (журнал «Октябрь», 1931): «...И домна, накормленная рудой, по плану удваивает удой...»

Он не мог мыслить иначе, ведь так думали миллионы:

**Стремительно катится лава.
Прорублена в проблеск клинка
Посмертная Блюхера слава
И мертвая жизнь Колчака.**

Плоско? Одномерно? Все ведь теперь видится ровно наоборот? Нет? Смеляков (читай — весь СССР) прав? А кто и когда сможет посмотреть на тот наш ужас стереоскопично? Может, в этом и есть весь вопрос и русской смуты, похоже, не прекращавшейся за 400 лет ни на секунду, а лишь скрывавшейся, словно невидимый огонь в торфе.

Потом, в 1938-м, он мыслил с таким же молодым остервенением, и тоже согласно с большинством:

**Будь же проклята ложь тухачевских,
якиров,
Восьмерых уничтоженных нами имен.**

Ох! Сегодня нам уже понятно, что Гражданская война продолжалась, но переместилась на уровень элит. Прозорливцам все было ясно — на духовном плане — уже тогда. «Погибшая Россия не спасется в вашей взаимогрызне от отчаянности», — так, кажется, писал в своих заметках к последнему слову на суде в 1922 г. священномученик Вениамин, Митрополит Петроградский и Гдовский, вскоре расстрелянный мерзавцами и помраченными.

* * *

В 1934 г. Смеляков был принят в Союз писателей СССР, тогда же и собравшийся на первый съезд. А 14 июня того же года сразу в четырех газетах — «Правде», «Известиях», «Литературной газете» и «Литературном Ленинграде» — прямо-таки залпом грянула публикация М. Горького «Литературные забавы», в которой цитируется письмо некоего «партийца»: «Несомненны чуждые влияния на самую талантливую часть молодежи. Конкретно: на характеристике молодого поэта Яр. Смелякова все более и более отражаются личные качества поэта Павла Васильева. Нет ничего грязнее этого осколка буржуазно-литературной богемы. Политически (это не ново знающим творчество Павла Васильева) это враг. Но известно, что со Смеляковым, Долматовским и некоторыми другими молодыми поэтами Васильев дружен, и мне понятно, почему от Смелякова редко не пахнет водкой, и в тоне Смелякова начинают доминировать нотки анархо-индивидуалистической самовлюбленности, и поведение Смелякова все менее и менее становится комсомольским. Прочтите новую книгу Смелякова. Это скажет вам больше (не забывайте, что я формулирую сейчас не только узнанное, но и почувствованное)».

Смеляков был арестован 22 декабря 1934 г. Следователь сказал ему на допросе: «Что же, ты надеялся, мы оставим тебя на свободе? Позабудем, какие слова о тебе и твоём друге Павле Васильеве сказаны в статье Горького? Не выйдет!». И — «за участие в контрреволюционной группе» поэт был приговорен к трем годам исправительно-трудовых лагерей.

Первая «отсидка» Смелякова оказалась не очень долгой. Он ударно работал в тюрьме бригадиром, был выпущен досрочно в начале 1937 г. и переведен воспитанником трудовой коммуны № 2 НКВД, располагавшейся на территории подмосковного Никола-Угрешского монастыря, закрытого безбожной властью в 1925 г., а основанного в

1380 г. Дмитрием Донским в честь победы над Мамаем. На том месте Святому Благоверному князю, ведшему рать к Куликову полю, явилась икона Николая Чудотворца, и князь сказал: «Сия вся угреша сердце мое» («Это всё согрело сердце моё»).

Опальный Смеляков стал в Угреше ответственным секретарем новой газеты «Дзержинец».

В 1930-х г. у Смелякова случился роман с Маргаритой Алигер, посещавшей литобъединение вместе с ним, С. Михалковым, Л. Ошаниным. Интересна история с кольцом, подаренным поэтессе Смеляковым (массивное серебряное — череп с двумя скрещенными костями). Ярослав сказал Маргарите, что пока она кольцо будет носить, с ним, Ярославом, ничего плохого не произойдет. По словам Лидии Либединой, которой Алигер рассказала эту историю уже после смерти Смелякова, каждый раз, когда кольцо снималось с руки и терялось, с Ярославом приключалась беда. В пересказе Е. Егоровой финал этой мистически-заговораживающей истории звучит так: «Перед последним арестом Смелякова в 1951 г. кольцо надломилось и потом 20 лет пролежало в столе среди бумаг, но в день похорон поэта Маргарита нашла его целым, хотя сама в ремонт не сдавала...»

Перед войной молодой поэт написал цикл «Крымские стихи», публиковался в «Молодой гвардии», «Литгазете», «Красной нови»... В ноябре 1939 г. был призван в армию Ухтомским райвоенкоматом, уцелел в Финской «незнаменитой» войне, вернулся в Москву весной 1940 г. и был принят на работу в аппарат Союза писателей.

В 1941 г. Смелякова из резерва призвали в армию, зачислили рядовым во Вторую легкострелковую бригаду. Служил на Северном и Карельском фронтах. Ходили слухи о его гибели. Е. Долматовский написал трагическое стихотворение, посвященное его памяти. Лишь Алигер верила, что Смеляков жив: вернувшись из эвакуации зимой 1942 г., она неожиданно нашла дома кольцо, подаренное Смеляковым, которое куда-то задевалось в ее квартире перед отъездом в октябре 1941 г. А Смеляков — очень быстро попал со своей частью в окружение и финский плен, каторжно работал на хозяина, обращавшегося с узниками крайне жестоко.

«Я вовсе не был у рейхстага и по Берлину не ходил», — сокрушенно писал он. А смог еще и так: «И мертвых негленные очи, победные очи солдат, как звезды сквозь облако ночи на нас, не мерцают, глядят...»

Этих мощных стихов Смелякова уже никто не отменит («Судья», 1942):

**Упал на пашне у высотки
суровый мальчишка из Москвы;
и тихо сдвинулась пилотка
с пробитой пулей головы.**

**Не глядя на беззвездный купол
и чуя веянье конца,
он пашню бережно ощупал
руками быстрыми слепца.**

**И, уходя в страну иную
от мест родных невдалеке,
он землю теплую, сырую
зажал в коснеющей руке.**

**Горсть отвоеванной России
он захотел на память взять,
и не сумели мы, живые,
те пальцы мертвые разжать.**

**Мы так его похоронили —
в его военной красоте —
в большой торжественной могиле
на взятой утром высоте.**

**И если правда будет время,
когда людей на Страшный суд
из всех земель, с грехами всеми,
трикратно трубы призовут,—**

**предстанет за столом судейским
не бог с туманной бородой,
а паренек красноармейский
пред потрясенною толпой,**

**держа в своей ладони правой,
помятой немцами в бою,
не символы небесной славы,
а землю русскую свою.**

<...>

**И будет самой высшей мерой,
какою мерить нас могли,
в ладони юношеской серой
та горсть тяжелая земли.**

Наблюдение критика Л. Аннинского: «По возрасту и настрою Смеляков, конечно, должен был бы стать поэтом войны — не окопно-солдатской, какую донесли до нас поэты из поколения смертников, а войны, осмысленной стратегически и эпически, — какую описали дождавшиеся своего часа Твардовский и Симонов».

Кстати говоря, с «раскулаченным» братом Александра Твардовского Иваном Смеляков сидел.

А в победном 1945-м Смеляков написал
каменные строки «Мое поколение»:

**Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал.**

**Я стал не большим, а огромным —
попробуй тягаться со мной!
Как Башни Терпения, домы
стоят за мою спиной.**

<...>

**Я стал не большим, а великим,
раздумые лежит на челе,
как утром небесные блики
на выпуклой голой земле.**

* * *

Вторая «ходка» Смелякова в советское заключение была прямоком из финского плена, в 1944 г. Через два года вышел, но на Москву для него был наложен запрет. Пришлось работать в многотиражке на подмосковной угольной шахте. В Москву ездил украдкой, в ней не ночевал. Принято считать, что первые послевоенные годы провел в Электростали. Но Е. Егорова утверждает, что имеются свидетельства о прибытии его по этапу в Сталиногорск (ныне Новомосковск Тульской обл.).

Собрата вытащил из забвения К. Симонов, и в 1948 г. вышла книга Смелякова «Кремлевские ели», собравшая до- и послевоенные стихи. Это, однако, спровоцировало в печати острую критику, дескать, сочинитель лишь внешне оптимистичен, а по сути — «всегда о смерти».

Ну, а где две «ходки», там и три. В 1951 г. кто-то написал донос о застольной беседе, состоявшейся дома у Смелякова. Статья 58-я Уголовного кодекса: 25 лет лагерей. Так в судьбу поэта вошло Заполярье, отнявшее немало здоровья, что и сказалось на жизненном ресурсе. «В казенной шапке, лагерном бушлате, полученном в интинской стороне, без пуговиц, но с черною печатью, поставленной чекистом на спине», — таким был тогда Ярослав Смеляков, лагерный номер Л-222.

С женой Евдокией Васильевной, с которой прожил два года, Смеляков развелся еще в преддверии ареста, чтобы не подвергать опасности репрессий. Его 74-летняя мать, потрясенная посадками сына, скончалась в Москве в 1952 г.

Как не отметить — пронзительное с самого начала, с первых строф:

**Вот опять ты мне вспомнилась, мама,
и глаза твои, полные слез,
и знакомая с детства панاما
на венке поредевших волос.**

<...>

**Все стволы, что по русским стреляли,
все осколки чужих батарей
неизменно в тебя попадали,
застревали в одежде твоей...**

<...>

Интересно, кто-нибудь спел эти строки? Или они и есть сама песня, не нуждающаяся в дополнительном мелическом оформлении? А ведь много у нас еще не спетых стихов!

В приполярной Инте зек Смеляков добывал доломит. Не переставая, как полагают, и как следует из его стихов, верить в советскую власть, считая «перегибы» частностями.

В 1952 г. в лагере он писал («Мы не рабы»):

**Как же случилось, что я,
запевала-поэт,
стал — погляди на меня —
бессловесным рабом?
Не в чужеземном пределе,
а в отчем краю,
не на плантациях дальних,
а в нашей стране,
в грязной одежде раба на разводе стою,
номер раба у меня на согбенной спине.**

Амнистия, без реабилитации, пришла в 1955 г. Спустя десятилетие он писал о влетевшей к нему в окно птичке, ставшей предвестницей освобождения. «Воробышек»:

**До Двадцатого до съезда
жили мы по простоте —
безо всякого отъезда
в дальнем городе Инте.**

Вроде — простонародный, частушечный хорей. Эдакое продолжение Тёркина. Без упоминания — как жили, почему именно там жили. Всё в подтексте. Блестящее исполнение. Великий звук. Л. Аннинский отмечает: «Вроде бы ложился путь Смелякову в лагерную поэзию... но он не стал и поэтом Гулага. Ни как Анна Баркова, вынесшая из зазеркалья поэтическую антивселенную, ни как Николай Заболоцкий, “Стариками” своими пронзивший в 1957 г. советскую лирику, ни как Анатолий Жигулин, привезший из

Бутугычага “Полярные цветы”. Не стал “воробышек”, возвестивший Смелякову конец срока, таким же поэтическим символом эпохи Оттепели, как “бурундучок”, отпущенный на волю Жигулиным».

* * *

Одно из поразительнейших стихотворений Смелякова-сидельца — «Шинель».

**Когда метет за окнами метель,
сияньем снега озаряя мир,
мне в камеру бросает конвоир
солдатскую ушанку и шинель.**

<...>

**Но я ее хватаю на лету,
в глазах моих от радости темно.
Еще хранит казенное сукно
недавнюю людскую теплоту.**

**Безвестный узник, сын моей земли,
как дух сомненья ты вошел сюда,
и мысли заключенные прожгли
прокладку шапки этой навсегда.**

<...>

**Вдвоем мы не боимся ничего,
вдвоем мы сможем мир завоевать,
и если будут вешать одного,
другой придет его поцеловать.**

Ого! Это уж точно не стихи атеиста, а уже того человека, который в стихотворении «Анна Ахматова» говорит о прощении с ней:

**Не позабылося покуда
и, надо думать, навсегда,
как мы встречали Вас оттуда
и провожали Вас туда.**

<...>

**И все стояли виновато
и непривычно вдоль икон —
без полномочий делегаты
от старых питерских сторон.**

**По завещанью, как по визе,
гудя на весь лампадный зал,
сам протодьякон в светлой ризе
Вам отпущенье возглашал.**

К смеляковским вершинам я отнес бы и «Слепца»:

<...>

**Зияют смутные глазницы
лица военного того.**

**Как лунной ночью у волчицы,
туда, где лампочка теснится,
лицо протянуто его.**

<...>

**Идет слепец с лицом радара,
беззвучно, так же как живет,
как будто нового удара
из темноты все время ждет.**

Лишь изредка, неохотно, по настойчивым просьбам близких Смеляков рассказывал о годах в плену и в советских лагерях, признавался, что его очень беспокоила разлука с матерью, ее страдания и лишения. «А что до меня самого, то это все ерунда, были бы чернила да то, что этими чернилами можно писать, ведь моим истинным увлечением всегда были и будут одни стихи, и хорошее стихотворение делает меня счастливым вопреки всему остальному».

Да, лишь после кончины, спустя многие годы, были опубликованы стихи, написанные Смеляковым в лагере, в 1953 г.:

**Когда встречаются этапы
Вдоль по дороге снеговой,
Овчарки рвутся с жарким храпом
И злее бегают конвой...**

«Однако лично пропахавший круги ада, Смеляков не остался в памяти поэзии человеком этого ада. А остался — поэтом рая, грядущего чаемого рая, поэтом той комсомолки, которую растила (и вырастила) для себя жившая мечтами о будущем Советская власть». (Л. Аннинский).

**Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,
но красное пламя косынки
всегда освещало ее...**

— писал Смеляков о «делегатке» в сороковые годы, как видим, уже тогда набрав колючего, но и жертвенного вселенского воздуха в легкие. Настолько порожденного жжением бытия, что указывать тут на «профессионализм», «мастерство» как-то и неловко. И, по сути — сила жжения такова, что на задний план уходит политическая злоба дня, «красный» пафос, в коем мы все выросли. Кто-то вспомнил в связи с этими строками А. Платонова. Добавлю в этот ряд К. Петрова-Водкина. А может, даже и Д. Шостаковича.

Потом Смеляков скажет с нестираемой правдой прямо о кладбище паровозов — ясно, но и метафорически:

**Больше не раскалятся
ваши колосники.
Мамонты пятилеток
сбили свои клыки...**

<...>

**Градусники разбиты:
циферки да стекло —
мертвым не нужно мерить,
есть ли у них тепло.**

* * *

Вторая семья, созданная Смеляковым с поэтессой и переводчицей Татьяной Стрешневой, была счастливой: вместе с супругой он как родного воспитывал ее сына от первого брака.

В 1959 г. вышел поэтический сборник Смелякова «Разговор о главном». Пришли слава и официальные должности: член Правления СП СССР с 1967 г., Правления СП РСФСР с 1970 г., Председатель поэтической секции СП СССР. И высокие официальные награды: Государственная премия СССР (1967) — за цикл стихов «День России», (1968) — за комсомольскую поэму «Молодые люди» и стихи, «воспевающие любовь советской молодежи к Родине, партии, народу». Удостоен был и трех орденов. Новая власть словно оправдываясь за лишения, причиненные всему поколению.

Показательно для его необыденной натуры: в период «разоблачения культа личности» Сталина, в 1964 г. Смеляков, вроде бы неожиданно, написал стихотворение о могиле отца народов.

**На главной площади страны,
невдалеке от Спасской башни,
под сенью каменной стены
лежит в могиле вождь вчерашний.**

**Над местом, где закопан он
без ритуалов и рыданий,
нет наклонившихся знамен
и нет скорбящих изваяний,**

**ни обелиска, ни креста,
ни караульного солдата —
лишь только голая плита
и две решающие даты,**

**да чья-то женская рука
с томящей нежностью и силой
два безымянные цветка
к его надгробью положила.**

Как так? Это написал сиделец, с десятилетним стажем Гулага?

Сто раз могу соглашаться с обличительной прокламацией моего земляка Чичибабина, тоже пятилетие отпахавшего в лагерях; в его стихах порой слышатся мне переключки со Смеляковым — и интонации, а то и темы. «Я на неправду чертом ринусь, / Не уступлю в бою со старым, / Но как тут быть, когда внутри нас / Не умер Сталин?» — пафосно пишет Чичибабин («Клянусь на знамени веселом», 1959). Но отчего щемит сердце от последней смеляковской строфы про женскую руку «с томящей нежностью и силой», отчего эти «два безымянные цветка» побуждают вспомнить также Могилу неизвестного («безымянного») солдата, с 1966 г. появившуюся за углом Кремлевской стены, у которой покоится И. Сталин?

«Власть отвратительна, как руки брадобрея», — сказал страдалец Мандельштам, канувший в ту же бездну, что и несчастные Клюев, Васильев, Корнилов и многие другие. Но не отвратительней ли мы, в своем постыдном коллективном — ничтожном, плебейском — порыве, когда единым ртом кричим вождям «Осанна!», а потом, с такой же самозабвенной страстью, попираем их?

* * *

Смеляков — мастер символических перечней, соединенных в тройки, — замечает внимательный критик. «Тебе служили, комсомолия, в начале первой пятилетки / простая койка, голый стол, нагие доски табуретки...»

Любовная лирика? Извольте! Стихотворение про «Любку», с которого началась «взрывная слава комсомольского поэта Ярослава Смелякова»:

**Посредине лета
Высыхают губы.
Отойдем в сторонку,
Сядем на диван.
Вспомним, погорюем,
Сядем, моя Люба.
Сядем, посмеемся,
Любка Фейгельман!**

**Мне передавали,
Что ты загуляла —
Лаковые туфли,
Брошка, перманент.
Что с тобой гуляет
розовый, бывалый,
двадцатитрехлетний
транспортный студент...**

Наблюдение точное: уголовная «Мурка» тут слышится явственно. Как и более позднее, почти фольклорное, сработанное стилизатором: «Нинка, как картинка, с фра-

ером гребет, / Дай мне, Сеня, финку, я пойду вперед...» Вот где уже не до смеха, прямоком в бандитские 1990-е, без выхода из них, на «Радио-шансон», гремящее в каждой маршрутке: «Шо же ты, зараза, хвост нам привела / лучше бы ты сразу, падла, померла!» Куда там смеляковскому пронзительному романтизму в этих «погорюем» и «по-смеемся» с Любкой Фейгельман!

А это, увы, актуально у нас всегда:

**Отечество событиями богато:
ведь сколько раз, не сомневаясь, шли
отец — на сына, младший брат —
на брата
во имя братства будущей земли.**

И когда смотришь в Интернете или по ТВ на лицо некоего «удальца», а потом переводишь взор на портрет, как говорят, его прабабки Землячки (Розалия Самойловна Землячка, урожденная Залкинд, по мужу Самойлова), красного кровавого палача в Крыму в 1920—1921 гг., то ощущаешь неистребимую революционную преемственность. И как тут не вспомнить горькое стихотворение прозревшего Смелякова «Жидовка» (1963), кем-то стыдливо потом переименованное в толерантное «Курсистка» — «о революционной фурии, которая ставила к стенке врагов революции, а потом сама угодила в Гулаг, отсидела срок и теперь получает старушечью партпенсию, пронзая собеседую очередь непреклонным стальным взглядом» (Л. Аннинский).

Оно страшно своей исторической, аскетически обнаженной правдой. И это уже совсем не про еврейскую девушку Любку Фейгельман.

**Прокламация и забастовка,
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.**

**Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая не мать, не жена —
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.**

Во избежание неких упреков — приведем источник: цитируем по известному изданию «Строфы века. Антология русской поэзии» (1995), составленному Е. Евтушенко.

Кто сказал «антисемитизм»? Такого теплого, родственного до Смелякова никто не говорил (поэту Антокольскому): «Здравствуй, Павел Григорьевич, древнерусский еврей!»

Но в 1987-м первая строфа была опубликована в несколько иной редакции, лживо уводящей совсем в иные истоки:

**Казематы жандармского сыска,
Пересылки огромной страны.
В девятнадцатом стала курсистка
Комиссаркой гражданской войны.**

«Землячка» ли, «жидовка» ли — расстрельщицы, садистки, однако сам автор — где же?

Вона как Смеляков обращался к Пушкину:

**Мы твоих убийц не позабыли:
в зимний день, под заревом небес,
мы царю России возвратили
пулю, что послал в тебя Дантес.**

**Вся Отчизна в праздничном цветенье.
Словно песня, льется вешний свет,
Здравствуй, Пушкин! Здравствуй,
добрый гений!
С днем рожденья, дорогой поэт!**

Гений, конечно же, добрый (строфа звучит самопародийно), но жуть большевицкой пули, «возвращенной» не только Царю, но и всей Царской семье, и ее окружению, по-прежнему пронизывает всех нас, а не только «среди миллионов чисел остальных его судьбы и жизни единицу».

* * *

Популярность Смелякова в последнее десятилетие жизни была огромна. Изобильно выходили и переиздавались однотомники и двухтомники избранных стихотворений (1957, 1961, 1964, 1967, 1970), «Строгая любовь» (1957, 1967), «Работа и любовь» (1960, 1963), «Разговор о главном» (1959), «Золотой запас» (1962), «Хорошая девочка Лида» (1963), «Милые красавицы России» (1966), «Роза Таджикистана» (1966), «Товарищ комсомол» (1968).

Для многих (тогда вся страна была читающей) стали памятными строки «Если я заболел, к врачам обращаться не стану...», певшиеся и бардами — Юрием Визбором, Владимиром Высоцким, Аркадием Северным.

Или — стихотворение «Хорошая девочка Лида», которое, конечно, хоть и прорвалось окончательно в массы при посредстве гайдаевского фильма «Операция Ы» про обаятельного Шурика, но и до того было на устах у молодежи. Меня всегда занимало: почему режиссер Л. Гайдай (совместно со сценаристами или сам?) включил его в сюжет, да еще и дав героине имя Лида? Настолько нравилось или это был некий продуманный шаг навстречу зрителю?

Стихотворение, почти на той же волне, что и тексты Э. Асадова, в каком-то перво-

зданном порыве превосмогающее эстетический примитив, завершается, быть может, и безыскусной, но пронзительной строфой (признаюсь: мне эта строфа нравится; но долго и безнадежно придется объяснять — чем именно):

**Пусть будут ночами светиться
над снами твоими, Москва,
на синих небесных страницах
красивые эти слова.**

Романтично. Но поэт-москвич Дмитрий Сухарев поделился со мной в недавнем письме: «Запомнилось, как он однажды сказал, что не мог бы, хоть зарежь, поставить в своем стихотворении слово “мечта”. В этом, может быть, некоторый ключ к его поэтике, которая пленяет не столько даже фантастической свежестью эпитетов, сколько тем, что земная».

Смеляков много ездил по стране, переводил с украинского, белорусского и других языков народов СССР.

Скончался 27 ноября 1972 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 7). Тогда вышли и посмертные издания Смелякова: «Мое поколение» (1973), «Служба времени» (1975), собрание сочинений в 3-х томах (1977—1978) и др. Во второй половине 1980-х стали публиковаться его лагерные стихотворения.

* * *

Почитаем-послушаем (Смелякова, как и всех больших русских поэтов, следует читать вслух) программное, так сказать, сочинение «Памятник».

**Приснилось мне, что я чугунным стал.
Мне двигаться мешает пьедестал.**

<...>

**Как поздний свет из темного окна,
я на тебя гляжу из чугуна.**

**Недаром ведь торжественный металл
мое лицо и руки повторял.**

**Недаром скульптор в статую вложил
все, что я значил и зачем я жил.**

**И я сойду с блестящей высоты
на землю ту, где обитаешь ты.**

**Приблизюсь прямо к счастью своему,
рукой чугунной тихо обниму.**

**На выпуклые грозные глаза
вдруг набежит чугунная слеза.**

**И ты услышишь в парке под Москвой
чугунный голос, нежный голос мой.**

Это выросло, может, и из пушкинского «Каменного гостя». А из самих смеляковских строк в известной мере вырос чугунный сын — с чугунной слезой, с чугунным же нежным голосом. Юрий Кузнецов.

Кузнецов интонационно слышится и здесь, в стихотворении, обращенном к женщине («Ты все молодисься. Все хочешь...»), об ускользающем, неотменимо уходящем времени: «Глаза, устремленные жадно. / Часов механический бой. / То время шумит беспощадно / над бедной твоей головой».

Почти о том же, но совсем по-другому — в смеляковском стихотворении «Пирсомани»:

**У меня теперь сберкнижка —
я бы выдал вам заем.
Слишком поздно, поздно слишком
мы друг друга узнаем.**

Эту интонацию услышим и у замечательного поэта-фронтовика Александра Межирова, который, как и Чичибабин, был ровно на десять лет моложе Смелякова.

Смеляков стремился, по его же словам, «сквозь затор косяязычья пробиться к людям», но удавалось это, как водится, далеко не всегда.

Товарищ Смелякова поэт А. Макаров говорил: «Вот порой сетуют, что у нас нет поэтов таких, какие были в XIX веке, как Фет или Тютчев. Да только ведь повторение невозможно — другой век, другие люди. И нас время одарило большими поэтами. Ярослав открывает очень важную часть души нашего современника. <...> Ни понять, ни оценить мы этого часто не умеем».

Однако критик В. Дементьев оценил: «Его лучшие строфы написаны на высокогорном уровне».

В Новомосковском историко-художественном музее теперь имеется экспозиция, посвященная Ярославу Смелякову: фото, черновики стихов сталинаторского периода, личные вещи, книги учеников и друзей с дарственными надписями.

Скромно? А много ли вообще остается после поэта — в литературном, а если угодно, духовном смысле? И. Бродский насчитал у Тютчева, кажется, четырнадцать хороших стихотворений, причем задумчиво проговорился, что это очень много. С. Куняев насчитал у Смелякова «тридцать-сорок стихотворений, но таких, у которых вечная жизнь». Согласимся: это, в самом деле, очень много.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ХОРОШЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ

Вяткин Г. А. Собрание сочинений: В 5 т. — Омск, 2012. Т. 5 (доп.) Поэзия. Проза. Пьесы. Публицистика и критика. Письма. Статьи о творчестве Г.А. Вяткина.

Должен ли тот, кто возьмет в руки этот аккуратный том в небесно-синей обложке, знать об «основном» пятитомном собрании сочинений Георгия Вяткина, т. е. прочесть его? Ответ не так очевиден, как кажется. Этот второй (дополнительный) 5-й том устроен так, что, знакомясь с ним, можно получить представление о творчестве писателя в сжатом виде. Просто в пятитомнике поэзия, проза, очерки и публицистика, критика, письма разделены по «своим» томам, а здесь все это присутствует в одной 530-страничной книге.

Разумеется, произведения этого тома не «избранное», но мало отличаются от произведений пятитомника, где могли бы с успехом оказаться, но по каким-то причинам не вошли туда, оставшись «неучтенными». Были ли это последствия саморедактуры автора, заданные объемы книг или они просто затерялись в море периодики, неясно. Известно одно, что рукописные автографы, например, поэтических сборников не сохранились, и они составлялись автором из напечатанных в газетах — «Сибирский вестник», «Сибирская жизнь», «Сибирские отголоски», «Нива», «Русская мысль», «Журнал для всех» — стихов. Отсюда и «дополнительность» публикуемых здесь стихов: печатались они в тех же газетах и в то же время, но остались «за бортом». Так что и по этим стихам можно составить представление о творческом пути Вяткина, только, так сказать, в ускоренном темпе, как если бы «киноленту» пятитомника прокрутить с пятикратно превышенной скоростью.

Начинает раздел поэзии (как и всю книгу) самое первое стихотворение 14-летнего поэта «Не грусти, утомленный страданием...» (1900 г.) с ярко выраженными следами ученичества у Надсона. Тут и «измученный тяжелой борьбой», и «страдающие братья», которых автор призывает ободрить

любовью и оживить надеждой. Но здесь же, в этих подражательных опытах видно стремление юного поэта преодолеть уныние, часто условно-поэтическое, и рвануться «к небесам», к иным темам и мотивам. К иному исходу, чем у тяжелобольного и рано умершего Надсона, к иному пути, чем у Достоевского, чью философию страдания он также исповедовал, к обретению иного языка и стиля, чем у Бальмонта, от красотостей которого Вяткин, горячий его поклонник, долго потом освобождался.

Тут бы и прочесть читателю рецензии на ранние сборники Вяткина 1900—1910-х гг., где есть немало точного и справедливого. Например, Ада Чумаченко, рецензируя сборник «Под северным небом» (1912), сожалела «об излишней, пожалуй, красавости, которой порою грешит поэт». Подлинный же Вяткин — это «искренность, интимность, благословляющая улыбка и светлая, осиянная внутренним светом, грусть». Узнать это мнение соратницы Вяткина, входившей, как и он, в московскую лит. группу «Среда», можно не тут же, а в конце книги, в разделе «Статьи о творчестве Г. Вяткина». С одной стороны, это неудобство, проистекающее из распределения материалов книги по разделам, а не по хронологии. С другой стороны, это побудит читателя перелистать страницы, вернуться к прочитанным произведениям. А то и вообще к 1-му тому собрания сочинений со всем его аппаратом справок, ссылок, комментариев, которых так не хватает этому дополнительному тому. И там он узнает, что Вяткин был в начале XX века лучшим поэтом Сибири. По отзыву В. Бахметьева (будущего известного прозаика) на тот же сборник, помещенного в новониколаевской газете «Обская жизнь», Вяткин один «как был, так и остается» «приятным исключением среди косноязычных сибирских поэтов».

Но именно к началу 1910-х годов он достигает той поэтической зрелости, когда дерзает обращаться на равных к старшим коллегам, пародируя их. Как в пародии-шарже на П. Драверта, поэта-ученого: «В моем венце — жемчужное сияние, / И бирюзы акварийный цвет, / И халцедона сине молча-

ние, / И янтаря и оникса расцвет. // Алдан, Виллой, Кемпеделяй и Лена, / Ихтиозавр и чайка — любви мне равно...» О возросшем уровне не только мастерства (пародия предпологает усвоение чужого творчества уже не ученическое, а критическое), но и сибирского самосознания, говорит стихотворение, посвященное самому Г. Потанину: «Своей науки жрец бесстрастный / И своего народа сын, / Не знаем, кто в тебе прекрасней: / Ученый или гражданин. // Народных благ ревнитель вечный, / Во имя этих ценных благ / Над всей Сибирью бесконечной / Ты вскинул свой призывный флаг...» («Ветерану»).

Эти и другие стихи по конкретным адресам и поводам имеют не только эстетическую — как пример преодоления балломонтизмов при сохранении символистской музыкальности, — но и историко-литературную значимость. О том, что Вяткин чтит уже сложившуюся традицию сибирской поэзии, говорит стихотворение «Дорогой памяти первого сибирского поэта И. В. Оммулевского (26 декабря 1883 г. — 26 декабря 1908 г.)». А вот факт, отмеченный самим автором в заголовке его стиха: «На открытие высших женских курсов в Сибири (стихотворение, прочитанное автором на сибирском вечере 26 октября)» 1910 г. Отметим и другой «факт» — стойкий интерес писателя к «женской теме» в литературе. Женщина для Вяткина не только частая героиня его произведений, «объект» (а иногда и «субъект») его лит. рефлексий, но и способ отношения к миру. Это точка зрения, на которую Вяткин часто встает, создавая произведения о несправедливостях, насилии, поругании красоты, разрушении культуры, царившие как до, так и после революции. В этом можно убедиться, знакомясь не только с прозой, но и публицистической и лит. критикой писателя.

Поэтический же раздел этого тома демонстрирует вехи эволюции, вернее, революции Вяткина-поэта. В 1918—1919 гг. его муза резко меняется вместе самим поэтом: не приняв победу большевиков, он переезжает из Москвы в Сибирь, на службу к А. Колчаку, в Управление Совета министров, на работу в должности зав. бюро обзоров печати. И по должности, и по убеждениям Вяткин призывал разрушить «красный Вавилон» большевистской власти, ибо «А Красный Дьявол пыток хочет, / А Красный дьявол зло хохочет, / Ступив на грудь ее (родины. — В. Я.) пятой!» В полном соответствии с колчаковско-белогвардейской пропагандой, он писал: «Там один многоликий Иуда / Полонил миллионы людей». А через год, в

1920-м — поворот на 180 градусов, и в стихе «Гимн армии труда» читаем: «Выше голову, товарищ, / Нам великий жребий дан: / Свет и волю / Несть на долю / Пролетариям всех стран». И это буквально встык с «колчаковскими» стихами: составители тома не захотели пожалеть читателя. Таковы издержки построения дополнительных томов с их резкими сближениями произведений разных периодов творчества писателя. Без каких-либо «отбивок», пробелов, комментариев, слишком уж скупых в этом издании. Из которых читатель узнал бы, что Вяткин, «принудительно эвакуированный» вместе с колчаковцами в Иркутск, был там арестован в мае 1920 г., «чистосердечно раскаялся в своей литературной агитации против большевиков» и после трехмесячного ареста был освобожден. Это цитаты из вступительной статьи к пятитомнику М. Штерн, Е. Петровой и Ю. Зародовой о жизни и творчестве Вяткина в томе 1-м. Том дополнительный, без хотя бы кратких сведений о биографии и творчестве, выглядит сиротливо. Все-таки семь лет прошло с момента выхода в свет собрания сочинений, и не всегда сразу найдешь его.

А поэтический раздел завершают стихи о детях, вольно или невольно служившие одушиной для писателей-«попутчиков», каким Вяткин стал в 20-е гг., и дореволюционные переводы Г. Гейне, Ф. Рюккерта, Т. Готье, Дж. Леопарди, Сюлли-Прюдома, Р. Тагора, возвращающие в «нежный» период его творчества. За ними — архисоветские сатирические, 1920-м годом датированные, заставляющие читателя резко вздрагивать от таких перепадов поэтики: «Нам мундиры не нужны, / Мы горды собою / Да единственной звездой: / Красною звездою» («Буржуазная птичка»); «Буря деревцо примет, / Солнышко приправит, / Делегатка все поймет, / Бабыю жизнь направит» («Частушки про делегатку»).

По тем же законам смены эпох и стилей развивалась и проза Вяткина, в которой он, однако, не был столь успешен. И хотя в 1911 г. он входил в «молодой кружок» лит. группы «Среда» вместе с И. Буниным, В. Вересаевым, И. Шмелевым, знакомится с А. Серафимовичем и Б. Зайцевым, а в 1912 г. получает премию Всероссийского лит. конкурса им. Гоголя за лучший рассказ, такой же популярности в прозе не приобретает. Сам Вяткин чувствует, что достиг бы большего, если бы ушел из газет, прежде всего томских, где сотрудничал до революции, если бы «вырвался из газетного племени», как писал

Вересаеву в 1912 г. Но сделать это ему так и не удалось. И на рассказах писателя так и осталась печать эскизности, словно недополоченности, а влияния Чехова, Бунина и Зайцева оказались непреодоленными (или непреодолимыми?). Если ко всему этому добавить лирическую туманность и обрывочность символистской и социальные мотивы «народнической» прозы, ее романтико-революционный пафос, то цельное впечатление от рассказов и «эскизов» (которых в томе едва ли не больше «обычных» рассказов) Вяткина вряд ли можно составить. Такую — «малую» — прозу можно лишь почувствовать на слух, как музыку, ощутить ее мотив, настроение, особое сочетание минора и мажора, глубокой грусти и столь же сильной любви, вернее, желания любить.

С этой точки зрения и можно говорить, что суть прозы, как и стихов Вяткина — женская. Ибо только женщина может жить настроениями, «сердцем». Мужчины у писателя тоже женственны, не отличаясь силой, характером, волей. Это интеллигенты, часто художники, молодые люди из дворянской или университетской среды (студенты, ученые, политики). Рассказы 1900-х гг., в основном «эскизы», именно такие, «настроенческие»: «Асины слезы», «Чего не понимала Дарья», «Интимная беседа». В последнем вернувшись из ссылки революционерка Наташа убеждает свою младшую сестру Аню, не отказываясь от революционной борьбы («ты пойдешь и будешь работать»), «любить себя в высшем значении этого слова», т. е. любить «всех других». Эмоциональность, трудно совмещающаяся с долгом, рассудочностью, преобладает и в рассказах 1910-х гг. «Как же можно без счастья?» — с такой мыслью умирает заключенный в тюрьме революционер, не выдержав разлуки со своей девушкой. Остальное в тексте — бодрая риторика о строительстве царства свободы и справедливости — лишь дань идеалам, стремлению «осерьезнить» святую тему, уравновесить полюса души и духа.

Как и в «основном» собрании сочинений, особенно мрачны рассказы-очерки о тяжелой жизни семей из социальных «низов». Так, в «Начале одной жизни» (1912) вечно пьяный отец ежедневно избивает своих детей. Больно щемит сердце, когда читаешь, как трехлетняя Адя, выйдя из дома, «протянула к солнцу ручонки и, жмурясь, засмеялась», а отец ударил ее со словами: «Ишь ты, тварь! Тоже... смеется!» Словно на весах иногда взвешиваешь, сколько сурового реализма и очеркизма, сколько лирики и риторики

в ином рассказе Вяткина. В «Холодном дне» (1913), где есть отголоски Л. Андреева и И. Бунина, высокого ранга чиновник Данило-Барский получает в день своего юбилея письмо от сына, полностью развенчивающего прожитую отцом жизнь. «А что ты вкусил от тех радостей (мысли, культуры, искусства и поэзии. — В. Я.), от этой красоты («творчества и борьбы», «богатств природы». — В. Я.)?.. Жизнь твоя — холодный, бесцветный день».

Меньше хочется «взвешивать», если героями рассказа являются художник, юная девушка и их любовь (не всегда, правда, взаимная). И только повторяемость схемы — художник присутствует в рассказах «Интимный разговор», «Семь минут восьмого», «Божья свеча» — снижает их художественный эффект. Впрочем, может, это еще одна особенность «дополнительных» томов в собраниях сочинений, где соседствуют произведения по принципу их «неуточности»? Наверное, Вяткин бы вышел, в конце концов, к своей оригинальной теме и манере даже и в кругу этого жизненного «материала», как уже выходил в «Рассыпанных лепестках» (1916), где от лица легкомысленно влюбленной героини очень живо рассказывается о ее декадентской («блаженное безумие») любви к одному «человеку творческой мысли», если бы не роковые годы. На сломе эпох и манер Вяткина-прозаика выручают дети (рассказ «Митькин ренессанс», 1918 г., о судьбе мальчика, чуть не ставшего игрушкой в руках избалованной барышни) и «делегатки» (рассказ «Пелагин огород», 1926 г., о предприимчивых народных избранниках, заработавших на общественные сепаратор и маслобойку плодами коллективного огорода), к ним примыкает другой рассказ-агитка «Пашка и другие» (1931) о вреде мечтаний про «вечный двигатель» и пользе умелой организации колхозных бригад в борьбе за урожай. Собственно, теперь это принадлежит уже не литературе, а ее истории.

И не перестаешь сожалеть, что уверенно развивавшийся талант поэта и прозаика сломала революция и гражданская война. Ибо талант Вяткина особый — тонкий, хрупкий, «женский», которому противопоказаны катаклизмы внешние, тем более смена строя и всего уклада жизни. Внутренние же только стимулировали его творчество. Очевидно, что встреча и первый брак в 1915 г. с Капитолиной Юргановой отразились в пьесе «Вечный канун». По крайней мере там в числе главных героев фигурирует Капелька,

уменьшительно-ласкательное от «Капитолина». Именно так называл свою жену Вяткин (см., например, письмо к Вересаеву). В 1922 г. она, расставшись с мужем, уехала в Петроград, но сохранила эту пьесу в личном архиве, переданном затем в Пушкинский дом. Таким образом, пьесу мы можем датировать концом 1910-х гг., тем более что в комментариях не попытались указать дату хотя бы приблизительно. И тем более что действие в пьесе происходит летом 1917 г.

Грядущая революция не сулит героям «Вечного кануна» ничего хорошего: «Революция в России не может быть не страшной», — говорит эмигрант Буравчик. Другой эмигрант Кравцов, неискренний революционер, слабохарактерный, даже порочный, крадучись, убегает с родины, прикрываясь «двойственностью как трагедией». Другой слабый мужчина пьесы — молодой контуженый подпоручик Дима стреляется и от мучительных кошмаров, и от неразделенной любви к Татьяне Николаевне, брошенной жене Кравцова. В финале — подлинно вяткинском! — две женщины, Капелька и Кравцова мечтают о светлом будущем, как в рассказах писателя. Но именно Капелька произносит заглавные слова о «вечном кануне», который есть у каждого поколения борцов за это будущее. Она же произносит монолог в народническом духе кануна 20 века: «Пробьет час, и человек преодолет зверя, и чьи-нибудь светлые руки навсегда водрузят на земле белое знамя молодости, чистоты, радости непорочной». А пока — тоска, ожидание, надежда — «вечные кануны».

Пьеса получилась хоть и большой, форматной — в 4-х действиях, но весьма статичной, подвижной одним «сюжетом» — любви/нелюви. Димы к Татьяне Николаевне, Татьяны Николаевны к мужу, Капельки — к эфемерному будущему. Среди других персонажей интереснее брат Кравцовой Басаргин, врач госпиталя для раненых; но лишь по контрасту, как тип трезвого реалиста среди неисправимых романтиков. Видимо, Вяткин серьезно готовил пьесу к постановке, так как в ее тексте есть «Указания для актеров», и только Октябрьская революция и гражданская война нарушили планы. Из раздела статей о творчестве Вяткина мы узнаем, что писать пьесы он начал, когда ему не было и двадцати. Первая пьеса «Бескрылые» даже была поставлена в Томске в 1904 г. и признана анонимным рецензентом «слабой». Тем не менее он пересказал ее содержание и упомянул, что «театр был полон» и «г. Вяткина

вызывали несколько раз, из чего можно заключить, что его пьеса так или иначе заслуживает внимания». Есть тут отклик «М. Г.» и на другую пьесу Вяткина «Жертва утренняя (Memento vivere)» (1912). Согласно краткому пересказу рецензента, она весьма похожа на публикуемую в книге пьесу «Порванные струны» (1908), а также на уже упомянутый нами рассказ «Интимная беседа» (1906) о возвращении больной ссыльной Наташи. Коллизия у всех трех произведений одна — благословение умирающей революционеркой ее молодой сестры на «личную жизнь»: «В погоне за светлыми идеалами жизни не надо забывать свое личное “Я”...», — цитирует «Жертву...» М. Г. В комментариях говорится, что «текст пьесы утрачен». И не говорится, однако, что можно с уверенностью утверждать, что «Порванные струны» — ранний вариант «Жертвы утренней». Очевидно, этот сюжет, ситуации, героини были особенно дороги Вяткину, если он неоднократно возвращался к нему.

Но этого светлого будущего ни в литературе, ни в жизни дожидаться было никому не суждено. В советское время Вяткин вернулся к газетно-журнальной работе: писал в газетах «Советская Сибирь» и «Рабочий путь», журналах «Красная сибирячка» и «Товарищ», журнал «Сибирь» (1925—26) даже редактировал, а в «Сибирских огнях» был сначала (после переезда в Новосибирск из Омска в 1925 г.) техническим редактором, а затем лит. консультантом. Здесь же печатал поэзию (например, поэму «Сказ о Ермаковом походе»), прозу (рассказы, роман «Открытыми глазами»), выпустил книгу рассказов «Вчера» (1933). Но основную массу написанного составили журналистские публикации — очерки, репортажи, заметки об очагах культуры: библиотеках, кинотеатрах и театрах, о печати и книгоиздательстве, детских домах, науке и о просвещении в целом. Как пишут авторы предисловия к собранию сочинений, «новая власть укреплялась. И писатель все более и более понимал, что это — неизбежность, которую следует принять. Принять, потому что единственная возможность включиться в преодоление хаоса и разрухи — способствовать социалистическому строительству».

Пример — публикация в доп. томе обзора печати «Литература и наука в Омске» (1924): «Вот и вся омская литература...», — с грустью подытоживает Вяткин, не насчитав и десятка имен писателей и ученых. Да и то некоторые из них, «попутчики», замкнуты «в рамки своей корпорации», а то и своих

кабинетов (например, П. Драверт). В заметке «Искусство без “хозяина”» (1927) Вяткин ужасается «беспардонной халтуре», царящей не только в деревне, но даже в городе. Например, сообщает о «профессоре несуществующего московского театрального университета Николае Луганском», выступающем с докладами на тему о «смысловом ядре женского тела», причем «доклад сопровождается сильным балетом несравненной Клио Луганской, после которого состоятся прения», цитирует он афишу.

Вяткин мог возмущаться, негодовать, призывать бороться с подобными вопиющими фактами. Но он не был борцом по своему «смысловому ядру». Ибо еще в 1902 году написал: «Я не смелый боец, страстно рвущийся в бой, / Не безумец великий, не вещий пророк; / Я измученный бурей орел молодой, / Я печальный осенний листок» Его эпоха, питавшая его лирическую, «женственную» натуру, миновала в 1918 году. Сформировавшись как поэт и прозаик в начале 20 века, он уже не мог значительно эволюционировать, разве что ломать себя. Оставались «смежные» жанры, и среди них лит. критика, где можно было во всей своей полноте показать самозабвенную любовь к литературе и искусству, и особенно к театру: не зря в юности он даже готовился стать актером. И без того солидный объем его наследия в этом жанре — почти 400-страничный 4-й том собрания сочинений — дополняют более чем 100 страниц 5-го дополнительного тома.

Главное из этого массива, конечно, дореволюционные статьи и рецензии, где Вяткин обнаруживает немалую чуткость к рецензируемому писателю, проникновение в суть его творчества, дает глубокие, точные оценки. Особенно близким по духу писателям. Например, о писателе И. Новикове (статья 1911 г.) пишет, что он «чужд всякой остроты, он спокоен, тих, над ним хорошо отдыхать... после Вербицкой и Нагродской... ужасов и проклятий Л. Андреева... небылиц Сологуба, мертвечины Арцыбашева, после безнадежно изломанного Винниченки...» Немало страниц его критики посвящено в 5-м томе сибирякам. При этом Вяткин не склонен, как можно было судить, исходя из его «мягкого» творчества, затушевывать недостатки и безудержно хвалить. Так, в А. Сорокине Вяткин отмечает «умственную риторику и огромную претенциозность» (1912), о Н. Наумове: «Он, строго говоря, не художник, а только бытописатель» (1913), в любовной лирике П. Драверта «много фальши, позировки, вычурности, много дешевой кра-

сивости и очень мало красоты» (1913). И только в творчестве А. Новоселова (1918), признанного вскоре классиком сибирской литературы, Вяткин увидел глубину, сложность и ту многогранность, когда недостатки можно трактовать и как достоинства: «Зачастую в нем спорили поэт, публицист и этнограф, чаще всего первый и последний». Но все искупала «воля к жизни, любовь к земле, солнцу, свободе, радости», его «здоровая натура...откликнулась прежде всего на эти зовы живой жизни».

В этой достаточно объемной для «миниаютюриста» Вяткина статье можно увидеть подспудные мысли и о себе, о своем творчестве. Но после перелома 1920-го писать приходилось о чужом. Замечает он, главным образом, женщин — первую книгу Л. Сейфуллиной («литературное событие, большая радость», статья 1923 г.), А. Караваеву и ее первый исторический роман («первый социально-исторический роман Сибири, созданный подлинным художником слова», 1925). Пишет две большие статьи, словно в контраст друг другу, об И. Тачалове (1930), для которого жуткая, черная сторона жизни стала не только биографией, но и основой творчества, и 33-страничная статья-исследование «Женщина и ребенок в поэзии» (1935), на обширном материале, от В. Энгельса, Гомера и Назона до О. Берггольц, С. Обрадовича и Б. Брехта. Поразительная эрудиция Вяткина, цитирующего таких редких поэтов, как «примыкавшая к модернистам М. Моравская» или М. Шагинян, «тепло и целомудренно» изображающая «картину родов, едва ли не единственную в лирике», могла бы придать статье больше глубины, побудить к более тонким формулировкам и выводам. Но для середины 30-х гг. сгодился и такой: «...Мы не сомневаемся, что, может быть, в ближайшее время страна счастливых матерей и детей отразится в нашей литературе ярко и многогранно».

Для самого Вяткина советская литература так и осталась terra incognita, как ни пытался он к ней принадлежать. Особенно в романе «Открытыми глазами» (1936). Не поверило ему и НКВД, скоростречно арестовавшее, обвинившее в «участии в контрреволюционной организации “Трудовая крестьянская партия” и контрреволюционной деятельности» («связь с Болдыревым; осведомленность о готовящемся восстании...; обработка и вербовка кулаков; сбор информации о политическом настроении в деревне») и расстрелявшее 8 января 1938 г. И, может быть, правильно, что 5-й доп. том

заканчивается счастливо — восторженными отзывами крестьян алтайской коммуны «Майское утро» о «Сказе о Ермаковом походе» и примечанием к стенограмме обсуждения его инициатора А. Топорова: «“Сказ о Ермаковом походе” я читал коммунарам три раза, и они готовы были слушать еще тридцать раз!» Ему же принадлежит краткий словесный портрет Вяткина, ценный свежестью впечатления: «Встретившись с Георгием Андреевичем в Сибкрайиздате и поговорив с ним, я невольно вспомнил каллиграфию его писем. Она точно отражала внутренний и внешний облик поэта. Во всей его фигуре, костюме, чертах лица и интонации голоса выделась и чувствовалась интеллигентность и неотразимая приятность...»

Таким, человеком из другой эпохи, по ошибке занесенным в эпоху чуждую, враждебную, но в которой он смог жить и творить еще семнадцать лет, нам запомнится Вяткин, существенные черты к лит. портрету которо-

го и добавляет нам это 5-й доп. том. Материалы в нем даны, может быть, недостаточно систематично, в чем-то пестро — такова специфика всех дополняющих собрания сочинений томов. Но в этом есть и своя прелесть, ибо сказано современником Вяткина Пастернаком: «И чем случайней, тем вернее...» Но мы говорим спасибо этой действительно *новой* книге Вяткина за глоток экологически чистого воздуха, иной литературы и языка, которые мы, снисходительно улыбаясь, могли бы назвать милыми наивностями, а то и скучными банальностями. Но такие, например, строки: «Пусть сиянье луны, как небесная ласка струится...» — не старомодная архаика, а потерянный поэтический рай.

И еще эта книга — немалый труд энтузиастов и знатоков творчества Георгия Андреевича Вяткина, в числе которых и его внук А. Зубарев — несомненно, является важным вкладом в изучение наследия писателя и всей сибиряны в целом.

Владимир ЯРАНЦЕВ

БЛОК-ПОСТ АЛЕКСАНДРА ЛЕЙФЕРА

Лейфер А. Блог-пост, или Кровь событий. — Омск: ИД «Наука», 2012

Как же был прав Лев Николаевич Толстой, когда писал больше столетия назад: «Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения. Будет совместно сочинять про какого-нибудь вымышленного Ивана Ивановича или Марью Петровну. Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случалось наблюдать в жизни».

Новый сборник омского прозаика, публициста, журналиста Александра Лейфера относится именно к таким книгам. В нём автор рассказывает о самой жизни, о том «значительном и интересном», что довелось пережить и прочувствовать ему самому; о тех событиях, свидетелем которых был; о тех людях, с которыми общался; о городе и стране, где он живёт...

В эссе «Голубые глаза лошади» (вместо предисловия) автор пишет о появлении сборника: «В прошлом году неожиданно стал не кем-нибудь, а ... блогером. Пришли вдруг из

администрации рекламно-информационного агентства “Омск-Пресс” и предложили: пишите, мол, для нашего сайта раз в неделю пар тройку страниц — о чём хотите. Об окружающей нас жизни-жестянке... О культурной, в частности, её составляющей. О выходящих книжках... Или вспоминайте что-нибудь...»

Наверное, многие пользователи Интернета читали записи А. Лейфера в блоге автора на «Омск-Прессе», но книга есть книга! Одно дело — читать с монитора компьютера, когда написанное всё же воспринимается в контексте «информационного агентства», злободневной информации; другое дело — то же эссе, вошедшее в общее повествование, «отлежавшееся, отстоявшееся» и превратившееся из «информации», выказанного сегодня и сейчас мнения и впечатления в нечто иное — кусочек времени, истории, жизни. Да, большое спасибо надо сказать «Омск-Прессу», что подвигли А. Лейфера к написанию этих очерков и эссе, как это по-современному говорится — «постов»! Ведь, возможно, многие из них и не увидели бы свет, лежали бы в «закромах памяти» автора, оставались памятью старых фотографий, газетных вырезок, дорогих сердцу книг... Как бы то ни было, сборник вышел! Автор выражает искреннюю благодар-

ность тем, кто помог ему в выпуске книги, а читатели к нему присоединяются, потому что это подарок не автору, а им.

Открывается новая книга А. Лейфера гербом города и надписью «К 300-летию Омска». Действительно, к юбилею города это очень подходящее издание. История Омска — на каждой странице. Какие имена: Достоевский, Антон Сорокин, Тимофей Белозёров, Аркадий Кутилов... Из современных омских писателей, со многими из которых автор дружил (увы, уже очень многих нет в живых) и имена которых Александр Лейфер не даёт забыть читателям 21-го века: Вильям Озолин, Виктор Утков, Михаил Машиновский, Эдмунд Шик, Геннадий Гаврилов, Борис Гвоздев, Елена Миронова-Злотина... Это такая панорама литературной жизни Омска конца двадцатого века! Кроме этого, есть «посты», посвящённые теперь уже классикам: Александру Вампилову, Белле Ахмадулиной... Есть замечательное эссе о Хемингуэе («Марлин»). Есть горькая реплика «Крапивное семя» в адрес чиновников, не решающих вопрос об увековечивании памяти замечательного красноярского поэта, драматурга, писателя Романа Солнцева. Панорама литературных портретов постепенно выходит далеко за омские границы, но и этим связана с историей города — личностью самого автора. И в этом особая привлекательность очерков и эссе Лейфера, ведь они не умозрительны, не «общие»: любой герой связан с его личными событиями, чувствами, встречами, переживаниями, и именно от этого «Блог-пост» читается с таким интересом!

Вот певец Жан Татлян — ну какое он отношение имеет к Омску? Да, автор был на его концерте в 1967 году... Но такое щемящее эссе «Осенний свет» появилось благодаря этому имени, такая в нём атмосфера Омска конца шестидесятых, чувства и поступки людей того времени, молодость и безрассудство... Всё это, как поётся в старой песне, «наша с тобой биография»...

Есть, конечно, очерки, и впрямую посвящённые истории города, например, такой, с говорящим названием: «Нефтяники обожаю!» (Этот район Омска возник благодаря строительству нефтезавода, судьба многих тысяч омичей, в том числе и автора, связана с «городком нефтяников».) И биография самого автора — коренного омича, которой открывается книга; и биографии его родителей — выпускницы знаменитого Худпрома имени Врубеля З. В. Болотовой и зас-

луженного учителя Э. Я. Лейфера; и фантастические жизненные дороги деда — В. В. Болотова, который в годы первой мировой был в немецком плену, но сумел вернуться в родной Омск — это всё непрядимые страницы общей истории города и страны, которые волнуют душу и сердце неравнодушного читателя.

Будет ли интересна новая книга А. Лейфера «не омичам», читателям других регионов и других стран? Несомненно. Во-первых, потому, что темы в ней поднимаются не ситуационные, а вечные. Во-вторых... Об этом очень хорошо сказал известный молодой современный писатель Захар Прилепин на 25-й Московской Международной книжной выставке-ярмарке. На вопрос о том, должна ли быть политизированная современная литература, Захар ответил, что «литература должна быть не политизированной, а “местечковой” в лучшем смысле этого слова. Самая главная и самая интересная литература та, которая описывает людей и события определённого места!»

Не снижает ли художественного уровня эссе обязательное наличие информационного повода, необходимого для публикации на сайте «Омск-Пресс» (громкое общественное событие или выход новой книги, памятный день или юбилей коллеги по перу и т. п.)? Как раз наоборот! Это только придаёт ощущение жизни, биения живого пульса времени. Не зря второе название книги — «Кровь событий», то есть не поверхностный вид, а «внутри», смысл происходящего...

Разговаривала недавно по телефону с общим знакомым: слышал, мол, Александр Эрахмиэлович новую книгу выпустил, «Блог-пост» называется? Он спрашивает: «О войне?» Я удивилась: «Почему о войне? О мире... О современности, о литературе, об истории... О жизни, в общем...» Потом поняла реакцию. Название на слух воспринимается как «Блок-пост». Очень символично. Что такое блок-пост? Как поясняют словари — «заградительный контрольно-пропускной пункт, способный самостоятельно держать круговую оборону». Он и держит. Оборону против бездуховности и пошлости, равнодушия и беспамятства. И очень хочется верить, что те, кто прочитает эту книгу, присоединятся к автору, станут единомышленниками, войдут в братство его «блок-поста», и «заградительный пункт» станет от этого мощней и непобедимей... А если таких «блок-постов» будет всё больше — авось и выстоим.

Ольга ГРИГОРЬЕВА

ВОЛНУЕТ И ОБЪЕМЛЕТ

Резник Вера. Малая проза. — СПб.: Геликон Плюс, 2012

Так и называется эта небольшая книжка, незатейливо — «Малая проза». Не ждите, мол, каких-нибудь там эпопей, романов, трактатов и прочих глобальностей. Честно обозначен жанр. Для простодушного читателя (и для издателя тож).

Как делит простой человек жанры? Ну, роман — это большой текст, авторских листов — не менее двенадцати, страниц — до шестисот и более. Рассказ таким огромным быть не может, и даже повесть — не может. А чем повесть отличается от рассказа, не знают даже редакторы толстых журналов. Про эссе — вообще молчок. Кое-кто просто поводит правой рукой и всё.

Короче, это совсем небольшая книжка. «Малая проза». Но... когда вчитаешься — открывается печальный и тревожный мир русского семейного романа. Вот хотя бы это — «Ария из 114-й кантаты». Сюжет такой: рассказчица сбегает из городской квартиры от летней жары и ремонта под благовидным предлогом срочной работы в старый родственник дом, стоящий по Николаевской железной дороге. Принадлежал некогда дом дальнему деду, начальнику участка этой самой железной дороги, почетному гражданину города Твери.

По дому бродят тени былых обитателей, смотрят со старинных портретов, не всегда одобрительно, кое-кто исподлобья, напряженным наследственным пронзительным взглядом: «значительные, исполненные необыкновенного достоинства лики». Постепенно всё более оживают со своими историями, анекдотами, снами. Шелестят ворохом справок, писем, фотографий. Ужасно отвлекают, мешают работе.

Неожиданно автор вскрикивает: «О, Господи, зачем только взялась, это не поэт, это шею себе свернуть... И в доме сыро и надымлено: протопила печки, позабыв, что бывает, когда их долго не топишь».

В этом месте читатель, погрузившийся было в события давних лет, в жизнь всех этих полковников и подполковников медицинской службы, выпускников Дерптского университета, ветеринаров, специалистов по металлу, известных путешественников и профессоров, слегка вздрагивает, впадает в краткую оторопь, а потом вспоминает, что работа у автора такая: перевод сонетов Хорхе Гильена, родился в 1893, умер в 1985.

По мере чтения начинаешь понимать, что в этом повествовании каждая буква и

даже цифра имеет смысл. И это обрамление в виде стихов испанского поэта-долгожителя, а также небесной арии из 114-й кантаты Баха, исполняемой неописуемым голосом И. С.: «В долине слез, как тень, блуждая...» — тоже не напрасно.

Блуждания во времени переплетаются самым прихотливым образом, и не всегда возвратно-поступательным манером. От аудиенции у государя императора известного родственника, писателя и путешественника, Арсеньева (помните: «Дерсу Узала»?), от переписанного красивым пером «Интернационала» в украшенном розочками девичьем дневнике приближаемся вплотную к сорок восьмому году, к деревенскому господскому дому, куда «по призыву души и от греха подальше» (неужели молодые не поймут уже — от какого «греха») переехали потомки тех стариков, сами уже старики.

Очень уж стремительный текст.

Нет ничего лишнего, проходного, случайного. Густой, насыщенный раствор памяти, из которого выпадают волшебные кристаллы ушедшей жизни. Волшебные-то они волшебные, но чтобы рассказчица благоговела, так этого нет. Один лишь пронзительный взгляд (наследственный, как было сказано, от этих же стариков доставшийся) и внимание, и сострадание.

«...Помню свои первые приезды в этот дом в конце шестидесятых, я была потрясена не столько убожеством старческого быта, сколько ритуально бессмысленными застольными разговорами, смехотворно воспроизводившими светский этикет разговорами ни о чем».

Никаких особых загадок. Знакомый людям тех времен культ «речевой беспроblemности, всех и никого устраивающей, некогда питаемой страхом, а потом вошедшей в привычку». У кого она только — речевая беспроblemность — ни вошла в привычку. Можете не верить, но даже у самых просвещенных, интеллигентных и благородных. Ведь и я (Л. А.) помню и не в состоянии забыть слова любимой Н. М.: «Алешку, в общем, правильно посадили — болтал много». Речь шла о будущем академике, и в голову не приходило, что за какие-то слова наказывают тюрьмой тайной полиции (а три ха-ха не хотите, свобода слова? а мыслепреступление забыли?). Вот и у этих людей, у персонажей из «Арии...», внуков крепостных крестьян, очень, видимо, способных, достигших определенной состоятельности к началу того века, возникла в головах охранительная привычка. Именно их, уже просвещенных, духовно независимых, взяли и отправили назад в хлев

«в самый раз тогда, когда они пообвыклись с зеркалами, паркетами да умными книгами, но дело, конечно, было не в зеркалах и паркетах, а в медленном возвращении в себе достоинства...».

Куда что подевалось, унесенное холодным ветром. Что это за штука такая, духовная независимость? А достоинство — вредная вещь, его надо давить в первую очередь. Они засомневались: «...оказалось, что умственные интересы — дурной тон, воспитанность — это вина, которую надо избывать, да и всё то, чем они гордились, заслуживает осуждения». Беспощадна рассказчица к своим старикам, хоть и слезы на глазах: «И как всегда бывает, когда расправишься с тем, что некогда ценил, преисполняешься к изгнанному окончательной неприязнью». И вздохнув, добавляет: «на самом деле, я думаю, они чувствовали себя растерявшимися сиротами». Как тут не растеряться, попав в скверные времена и прожив их совсем неблагоприятной, а позже даже катастрофической жизнью. Да, вот так — умудрялись обходиться без общих выводов, приняв «от безвыходности вполне определенную позицию: ну раз не с кем разговаривать, надо о том, о чем им по силам, а об остальном, своём — молчать, вон, сколько народу так обходится». Им, т. н. народу, по силам: птички, ягоды, количество белых в нынешнем году по сравнению с предыдущим... Надо не выделяться из этого слоя, оставленного уже их родителями, разумеется, «отдельные индивидуумы дрянь и воры, но вообще народ свят». И никаких общих выводов.

Все эти короткие тексты — «Люди, собаки и внешняя природа», «Из жизни Петрова», «Дагерротипы» (разветвляющиеся на «Марфушу» и «Захватывающую радость»), «Добродушная Глаша» — по сути дела продолжение всё того же романа (который «Ария из 114 кантаты»). Все они соединены сюжетом, общей мыслью, голосом и чувством. И каждый из них волнует (как прекрасная поэзия; мне нравится такое определение настоящей поэзии: хорошие стихи волнуют, а плохие — нет). Причем, чувство не называется, оно возникает, ну, возможно, не совсем так, как удар кинжалом в темном переулке, совсем наоборот — накатывает медленно, как теплая волна неизъяснимой печали. Объемлет. Но это — читателя. А герои «Захватывающей радости» как раз при первой встрече обморочно бледнеют, столкнувшись взглядами, и прилагают «все силы к тому, чтобы, как того требовал общий знаменатель приличий, стереть с лица потрясенное выражение и восстановить себя в предшествующем виде».

Ну, вы понимаете, что произошло. Хорошо было Мастеру с его избранницей — их никто не видел. Здесь же на виду у всех представили дальнюю родственницу молодому доктору. И с ними случилось «вневременное мгновение такой глубочайшей интимности, какую Петру Петровичу и Марье Гавриловне никогда больше не выпало переживать». И тут же автор снижает пафос и комментирует: «Хотя, спрашивается, что такое из ряда вон можно взять да и увидеть в глазах?» Ну, нет же этому названия, и автор прекрасно знает, и вы тоже подозреваете, даже если и не пришлось пережить вам небесный покой семейного чаепития длиною в вечность на дачной веранде, а дом утопает в можжевельниках, дубах и сиренях, в яблонях и шатровых ивах.

А среди гостей дома можно встретить (и обомлеть) кого-нибудь из давних знакомцев. Вот, например, Кирилл Владимировича Таганцева (он физик был, физик, и на той же кафедре, на нашей кафедре, у академика Теренина — Л. А.). Так и вижу его сутулую фигуру в институтских коридорах, извиняющуюся улыбку, слышу забытую интеллигентскую речь. Батюшки святые! В двух шагах были дневники его деда сенатора Николая Таганцева, создателя первого русского уголовного кодекса и противника смертной казни, которые «Кируша» тщательно хранил и прятал. А мы были лишь переносчиками слухов о «таганцевском деле», и кем был его отец Владимир Таганцев. Это уж потом, чуть ли не в 90-е стало известно, что в августе 1921 года были расстреляны 107 человек (и поэт Николай Гумилев среди них, впрочем, по поэта мы знали со школьных лет).

«Нет, ни персидская сирень, ни ивы с можжевельниками никого ни от чего не спасли». И хлопоты сенатора, противника смертной казни, пропали втуне. Господа, вы — звери, зачем вы их погубили? Вы звери, господа!

Нельзя позволить им уйти бесследно, удержим их, спасем. Собственно этим и занимается автор (и вы вместе с ним), разбирая груды старых бумаг никому не нужного архива, тот самый не востребовавшийся запас, и пытаясь понять прошедшие скверные времена. У всех там мелькают родные тени. И отчего-то щемит сердце.

Ну а то, что на этих страницах расцветает прекрасная русская словесность и слова расставлены в высшей степени правильно, вы и без меня поймете.

Вот такая «Малая проза». Мал золотник, да дорог.

Людмила АГЕЕВА

О ЖУРНАЛАХ

Складчина. Литературный альманах.
— Омск: «Дюма Студия», 2012, № 2 (38).

Три публикации в этом номере альманаха объединены увлекательным сюжетом и присутствием героя, сильной личности, этот сюжет и порождающей. Рассказ бывшего спецназовца МВД Д. Линчевского о «зачистках» в чеченских аулах, может быть, и несколько искусственен (почему, например, нарядившиеся горцами бойцы говорят с боевиками по-русски, и те не настораживаются?), но в изображении горячки самой первой чеченской войны, ее живого пульса — текст рассказа в основном «разговорный», состоящий из реплик, — совершенно подлинный. Особенно эпилог, где, спустя полгода таких кровопролитных «зачисток», сибиряки узнают о Хасавюртовском мире. «Зачем мальчишек столько положили?» — спрашивают они начальников, и отвечать на этот вопрос невозможно и страшно. На другой войне, куда более долгой и страшной, особенно в 1941—42 гг., таких вопросов не возникало. Автора мемуаров «Через семь границ» М. Гребнева, попавшего в немецкий плен, «терзала одна мысль — бежать, бежать, во что бы то ни стало». Но как только герою это удалось, он из ада попал в рай — лагерь для беглых пленных и дезертиров в нейтральной Швеции, в этот удивительный оазис покоя среди ужасов войны. Такой она и весь прочий Запад остаются и поныне для россиян, для которых военное время будто по сию пору не закончилось.

Как на войне литературной, жил едва ли не всю жизнь и поэт В. Озолин, продолжение дневника которого «Записки потерпевшего» опубликовано в этом номере. И только потому, что на каждый факт или явление, и не только литературное, имел свое, часто весьма задиристое мнение. Горячо, например, защищал лит. статус Л. Мартынова как поэта, ни в чем не уступавшего Пастернаку, Маяковскому, Есенину, Мандельштаму, Багрицкому: «Они (Мартынов и Сельвинс-

кий. — В. Я.) — крупно! Остальные — звенья в цепи». Защищал и В. Шукшина, но от своего же суждения о «среднем литературном уровне» писателя, — тем, что ставил рядом с ним Астафьева, Распутина, Абрамова с их бескомпромиссным: «В литературе есть правда и есть неправда!.. И все». Правда, тут же заступался за приехавшего в Барнаул А. Вознесенского, от которого «местные нос загнули» (а он «работяга, поэт») и негодовал против «защитничков Расеи» в «перестроечном» 1989-м с их «жидо-масонскими заговорами». Словом, на войне как на войне. Искушает все эти «военные» выпадать то, что В. Озолин не был кабинетным книжником, а очень живым, деятельным человеком, жизне-, природо-, человеколюбом, сибирским «космополитом», жившем в Чите, Омске, Барнауле и считавшем литературу инобытием жизни, которую сам прожил ярко и быстро.

Начало века. Литературный и краеведческий журнал. Издание Томских писателей. 2012, № 4.

Роман Б. Климычева «Долина рычащего тигра» можно назвать безусловным фаворитом журнальных публикаций «Начала века» за весь год. Печатаясь с № 2 журнала, в этом номере он завершается ударно — самым большим фрагментом, вмещающая в себя рекордное количество исторических событий, фактов, персонажей, которых хватило бы еще на несколько романов. Такова уж была жизнь Мао Цзэдуна, главного героя произведения и всего многомиллионного Китая, что лидер такой страны просто обречен был на многолюдие взаимоотношений. А если учесть характер Мао — прирожденного лидера, философа, оратора, книгочея и поэта, женолюба и полководца, а также эпоху революций, гражданских войн и переворотов, то впечатление бурлящего котла усилится. Время «варило» людей такого масштаба (Сталин, Гитлер) или сами они делали эпоху, ска-

зять трудно. Зато видно, как хорошо «варить-ся» автору романа в таком бурном потоке людей и событий. Легко и непринужденно, будто сам был современником происходящего, Б. Климычев рассказывает о провинциальном детстве, школьном юношестве и боевой молодости Мао, его сражениях с гоминьдановцами и японцами, нелегкой дружбе со Сталиным и Хрущевым, вплоть до «культурной революции» и «банды четырех». Прделанная писателем великая, как Китайская стена, работа над огромным материалом, однако, не оставляет впечатления тяжелого подневольного труда. Виной всему — «легкое перо» автора, отточенное им в работе над циклом томских авантюрно-историческо-биографических романов, где Б. Климычеву «кунсткамерными» подробностями, занимательными происшествиями и анекдотами удавалось избежать отягощенности материалом, добавляя ходу, «газу» в быстходные двигатели своих произведений. Роман о Мао нагружен больше других его текстов историей, но больше тут и «занимательного». Например, о последнем маньчжурском императоре Пу И, которого Мао сделал садовником с зарплатой, или о том, как в 1944-м он хотел переименовать коммунистическую партию в «новодемократическую», чтобы сбить с толку американцев.

Но и сам Б. Климычев изобретателен в построении ажурной конструкции своего романа: посвятив немало страниц противостоянию советских и японских войск в 1938 г., о Великой Отечественной он написал всего одну фразу: «Гитлер сначала захватил немало территорий России, а затем увяз в них и был вдребезги разбит». Не обошелся автор и в этом «политическом» романе без героев-авантюристов, словно взятых из «томских» романов, — казака-маоиста Митрофана Лескина (он же Хао Фань) и гипнотизера-мошенника Аркадия Лунного. Звучит в этой романной симфонии голос и самого Б. Климычева: «В двенадцать лет я пошел на работу. Голодал, недосыпал, ходил в драной одежде... Я отдал Победе свое здоровье. Так кто же хочет сжечь меня... в атомном огне?» — спрашивает он военщину США, планировавшую тогда ядерную бомбардировку советских городов.

Есть в современной литературе писатель одного голоса, одного «Я», мастер соло-рассказа, а не романа. Ему, З. Прилепину, интервьюер журнала Ю. Татаренко дал высказаться от любимого первого лица, подзадоривая нескучными вопросами о «проблеме временной нехватки сюжетов» у писателя, о его книгах, выходящих («с большими

фотографиями автора», о «медиафере», затянувшей его «в свои сети», «маршах несогласных», в которых он участвует. Главное «Я» нашей литературы «00-х» реагировал соответственно, с заглавной буквы: «Я снова рассказываю (в своей новой книге) какие-то личные истории», «Я пишу книги и хочу, чтобы их читали», а «пиар — часть моей работы», «Я считаю: нужно заниматься *большим*, чем ты сам — только так можно изменить мир». Пока что писатель З. Прилепин только однажды занялся *большим*, чем он сам, написав книгу о Л. Леонове. Но и ту, как можно понять, «из вредности», «когда стали охаивать советских писателей». На том и стоит, видимо, русская литература и ее литераторы, пишущие вопреки: Климычев — разрухе-голодухе, Прилепин — «отечественным и западным либералам», Леонов — советской власти. Обычная же участь таких «вопрекистов», как правило, не столь благополучна, как затянутого медиасферой Прилепина: «Он был просто поэтом. / Но за это эпоха не узнала в нем поэта. / А он, не зная этой чепухи, / вдыхал эпоху, выдыхал стихи. / / Потом ушел. На середине вдоха. / Но и тогда не вздрогнула эпоха», — пишет автор номера поэт Л. Шелудько. Судьбы писателей различны, тем и жива наша, наверное, самая драматичная из мировых литератур литература и ее лит. журналы.

Огни Кузбасса. Журнал писателей России. Кемерово, 2012, № 6.

Юбилей — повод и причина показать лучшее, вспомнить старое, иногда в укор новому. Этот номер журнала перегружен юбилеями, главный из которых — 70-летие Кемеровской области, напомнившее о славных делах кузбассцев. О некоторых — в материалах о строительстве ГЭС в селе Горскино в 20-е гг. Л. Красильникова, творческой командировке по северным районам области поэтов Е. Буравлева, В. Баянова, В. Махалова и художника Н. Бурцева в 1973 г., о буднях и праздниках послевоенного детства О. Черкасовой, о первой странице «жизненной школы» в самоотчете А. Колкова — и рассказывает номер. При этом авторы и редакция готовы извиниться за «соцреализм», «некоторую приземленность, будничность стиля» (О. Черкасова) или за «эстетику сурового реализма» и «несколько устаревшие социологические схемы (кулаки плохие, бедняки хорошие, сознательные)» (редакционное предисловие к материалу Л. Красильникова) этих материалов.

Но, пожалуй, излишне, ибо повесть В. Коврижных, другого юбиляра номера, написана в лучших традициях производственной прозы 70-х гг. без нарочитости, стилизации и проч. В ней есть и детальное описание технологии пожарного дела, и герой Сергей Костромин, выносящий из огня ребенка, и перевоспитание живущего, «как по инструкции», начальника, и другой начальник, мудрый, хотя и «риторический», и внесемейная любовь, впрочем, далеко не заходящая. И даже призрак старого пожарного Федора Романовича, помогающего в экстремальных ситуациях выжить, спастись, вполне «реалистичен». И только молитва Сергея на могиле за упокой души призрака, мучавшегося из-за того, что не спас однажды своего недруга, к Царю Небесному и Всевышнему напоминает, что на дворе начало XXI века, несмотря на немудрящие стиль и язык. Можно найти в этой повести и архаичную советскость, и соцреалистические схемы, и нежелание следовать порокам и изыскам нынешних «топовых» прозаиков, но чего нельзя отрицать здесь, так это чистоты души и помыслов автора. Так видит, слышит, пишет это перо, нашедшее, а не позаимствовавшее у прошлого свой язык. И не надо «трогать» его лит. анализом и прочей критикой, как просил сам В. Коврижных не трогать его деревню среди всеобщих «перестроек в русском крае»: «Тешьтесь вы — Господи! — в вашем раю! — / Только не трожьте деревню мою», — пишет он в юбилейной подборке этого же номера.

Но вот что действительно жалко трогать каким-либо критическим инструментарием, так это хрупкие стихи С. Кековой,

каким-то чудом оказавшиеся в этом сурово-реалистическом номере журнала. Все эти чудеса «тихой» поэзии, с православным подтекстом: «тонкий свет зимних звезд», «души струящийся портрет», «ветвей семисвечник», «любви незримый ток», «епитрахиль небес» — как музыка или живопись, для чувств, для души. Как сказала сама поэтесса: «И не познавню, а благоговенью / врата души измученной открой». И, словно в контраст этой «тарковской» поэзии — С. Куняев с совершенно иным кредо. В публикации трех предисловий разных лет к сборникам стихов кузбасских поэтов он так напутствует молодого тогда Н. Колмогорова: «Лишь бы... не увлекла в свои осенние леса лирическая созерцательность». С. Куняеву по душе поэты «от мира сего», каким назвал он С. Донбая, т. е. погруженные «в стихию с первого до последнего дня земной жизни». Остается добавить, что С. Куняев еще один юбиляр, которого журнал чествует в этом номере. Многие сейчас в литературе построено на контрастах и демонстративной эклектике. Таков стиль эпохи и современных лит. журналов: юбилейные и прочие «датские» публикации для них — один из способов ориентации во времени и месте. Но вне этих смыслов и контекстов молодые кузбассцы так исповедуются в своих стихах: «Нет сил на тонкие интриги, / на жизнь в шахтерском городе» (О. Филатов). А то и вовсе: «Внутри НЕ себя я СЕБЯ обнаружил» (К. Стафиевский). И думай-гадай потом, где тут поэты «мира сего» или не сего. На то, впрочем, и лит. журналы, чтобы будоражить читателя и литературу, которой вреден всякий застой и безжизненность.

В. Я.



АВТОРЫ НОМЕРА

Аникина Ольга родилась в Новосибирске. Окончила Новосибирский Государственный медицинский университет. Кандидат медицинских наук. Автор поэтических книг «Первоцвет», «Соло трепетным смычком». В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в Москве.

Балков Ким Николаевич родился в 1937 г. в станице Большая Кудара Кяхтинского района Республики Бурятия. Окончил Иркутский государственный университет. Член Союза писателей России с 1971 года. Автор более двадцати книг прозы. Лауреат Государственной премии Бурятии. Живет в Иркутске.

Григорьева Ольга Николаевна родилась в Новосибирске в 1957 г. Окончила факультет журналистики Государственного университета имени С. М. Кирова (Алматы). Публикации в журналах «Знамя», «Наш современник», «Простор» (Алматы) и др. Автор нескольких поэтических сборников, книг для детей, издававшихся в Алматы, Омске, Павлодаре. Член Союза журналистов Казахстана и Союза российских писателей. Живёт в Павлодаре.

Дубиковская Мария — поэтесса, автор сборника юмористических стихотворений «Очень женское». Лауреат литературного конкурса им. Павла Васильева (Новосибирск, 2011 г.). Победитель конкурса «Поэтический экспромт» на 9-ом Волошинском фестивале (Коктебель, 2011 г.)

Кирилин Анатолий Владимирович родился в Барнауле в 1947 г. Автор семи прозаических книг, изданных в Барнауле и Москве. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Алтай» и др. Живет в Барнауле.

Новикова-Строганова Алла Анатольевна родилась в 1960 г. в г. Орел. Окончила Орловский государственный пединститут. Преподаватель русской литературы Орловского университета, доктор филологических наук, профессор. Публикуется в журналах «Филологические науки», «Вопросы литературы», «Русская речь», «Литература в школе», «Слово», «Вопросы филологии» и др. Автор трех монографий и более 300 работ о творчестве Лескова, Достоевского, Тургенева, Бунина. Живет в г. Орел.

Тихий Денис Георгиевич родился в 1974 г. в Волгограде. Учился в Волгоградском техническом университете, служил на

Черноморском флоте. Печатался в журналах «Меридиан» и «Кукумбер», в сборнике «Заповедник сказок». Живет в Волгограде, работает аудитором.

Царёв Игорь родился в 1955 году. Стихи публиковались в журнале «Новый берег» и интернет-изданиях. Лауреат международного поэтического конкурса «Серебряный стрелец», лауреат поэтического конкурса имени Николая Гумилёва «Заблудившийся трамвай». Член союза писателей России. В «Сибирских огнях» публикуется впервые. Живет в Москве.

Цунский Андрей родился в 1967 году в Петрозаводске. Член Союза писателей РФ. Автор сборника рассказов «Неприличные истории» и повести «Юбилей».

Шемшученко Владимир Иванович родился в 1956 году в Караганде. Окончил Киевский политехнический, Норильский индустриальный, а также Литературный институты. Работал в Заполярье и Казахстане. Автор нескольких поэтических книг. Член союза писателей России. Живет в г. Всеволожске Ленинградской области.

Шилова Ольга родилась 28 июня 1960 г. в г. Мещовске Калужской области. Работает художником-постановщиком народного театра. Автор поэтического сборника «Нетерпёж» (2011). В «Сибирских огнях» публикуется впервые.

Шмарак Роман Львович родился в 1971 г. Окончил филологический факультет Тульского государственного педагогического института. Доктор филологических наук, профессор кафедры лингвистики и перевода Тульского государственного университета. Член СП Москвы.

Щукин Михаил Николаевич родился в 1953 г. в с. Мереть Сузунского района Новосибирской области. Окончил Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР. С 1969 г. — литературный сотрудник сузунской районной газеты «Новая жизнь», новосибирской областной газеты «Советская Сибирь», собственный корреспондент журнала «Огонек» и газеты «Литературная Россия» по Сибири; с 1995 г. — главный редактор журнала «Сибирская горница». Автор 14 книг — романов, повестей, сборников рассказов. Лауреат премии Ленинского комсомола. Живет в Новосибирске.